

НОВЫЙ Журнал

109

*THE NEW
REVIEW*

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of August 12, 1970: Section 3685. Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—Oct. 2. 72.
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc.—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358; David Shub, Treasurer 355, 8th Ave., New York, N.Y. 10001.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. of copies each issue during preceding 12 months</i>	<i>Actual number of copies of single issue published nearest to filling date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	370	365
2. Mail Subscriptions	1165	1161
C. Total paid circulation	1535	1526
D. Free distribution by mail, carrier or other means		
1. Samples, complimentary, and other free copies	20	16
2. Copies distributed to news agents, but not sold	—	—
E. Total distribution (Sum of C and D)	1555	1542
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	45	58
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать первый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1972
Quarterly, No. 109
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Л. Ржевский</i> — Симпозиум	5
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	37
<i>И. Елагин</i> — Стихи	38
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	40
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	60
<i>Г. Газданов</i> — Переворот	62
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	82
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	83
<i>Г. Кочевницкий</i> — Период барокко и Иоганн Себастиан Бах	85
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	97
<i>В. Вейдле</i> — Музыка речи	99
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	132
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	135
<i>И. Чиннов</i> — Вспоминая Адамовича	136
<i>А. Раннит</i> — Стихи	147
<i>А. Величковский</i> — Стихи	148

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Г. Маквей</i> — Письма и записки С. Есенина	149
<i>Из дневников И. А. Бунина</i> (публ. М. Грин)	168
<i>Ю. Кротков</i> — КГБ в действии	183
<i>С. Кучеров</i> — Антисемитизм в дореволюционной России	200

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Ю. Глазов</i> — Что же такое демократическое движение в СССР?	216
<i>Р. Гуль</i> — Писатель и цензура в СССР	240
<i>Н. Андреев</i> — Мнимая тема	258

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Н. Андреев</i> — Б. И. Элькин	273
--	-----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Д. Анин</i> — Ленин и 1917 год	276
<i>А. Авторханов</i> — Ответ Д. Анину	281
<i>П. Ковалевский</i> — По поводу воспоминаний кн. И. Васильчикова	285
<i>Н. Зернов</i> — Письмо в редакцию	287

БИБЛИОГРАФИЯ: <i>О. Ильинский</i> . Н. Мандельштам. Вторая книга.	
<i>Ю. Сречинский</i> . Ж. и Р. Медведевы. Кто сумасшедший?	
<i>С. Крыжицкий</i> . Л. Чуковская. Спуск под воду. <i>Ю. Иваск</i> . З.	
Шаховская. Перед сном. <i>С. Крыжицкий</i> . А. Варди. Подкон-	
войный мир. <i>В. Перелешин</i> . Л. Алексеева. Время разлук. <i>Ю.</i>	
<i>Иваск</i> . В. Варшавский. Ожидание. <i>Книги для отзыва</i> . . .	
	288

СИМПОЗИУМ

Фантастическая — в общем — история, рассказанная почтенным М. М. Даблем, учителем чистописания.

1. О СЕБЕ, И КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Он, Сергей Сергеич, сперва хотел, чтобы я прямо перед его записывателем всё изложил, и уж уловитель свой, горку книг под него подложив, на меня наставил и всё щелкал чем-то вперед и назад, покуда я окончательно не взбунтовался: что я в самом деле за сказитель такой! Я и запинаясь, случается, и «мэкаю», и слóва подходящего подолгу ищу. Нет, говорю, милый друг, на бумаге изложить — изложу, если подгонять не станете, а для этой вашей фискальной машинки я устарел.

Он видит, что ничего со мной не поделаешь, — согласился.

Попросил только, чтобы непременно я в самых первых строках отрекомендовался: читателю-де важно знать, кто именно обо всем повествует. Думаю, что вовсе не важно, но — пожалуйста!

Дабль (могу сказать теперь, когда к концу подходит седьмой мой десяток) не подлинная моя фамилия. Когда в сорок первом захватили наше ополчение немцы, я конвоиру-фельдфебелю, который назначил меня в переводчики, этак назвался и тем как бы пустил жить по свету некую свою вторую ипостась. Побоялся повредить близким — ведь хоть и сражались мы, ополченцы, без оружия, но всё ж, как подтвердилось позднее, объявили всех нас, пленных, изменниками. Настоящая же моя фамилия весьма была по тогдашним порядкам опасна: нерусская тоже и, сверх того, как бы самым звоном своим многих смущала. Титул при ней стерли еще деды мои из либеральности, но, хоть и закопали мы всякие там генеалогические древа и грамоты, — всё равно в любой порядочной,

старой то есть, энциклопедии можно было прочесть про титул и про то, что один из наших предков корону носил и крестовым походом предводительствовал... Словом, так вот и прилипло это Дабль ко мне на все скитания, и в паспорт вошло.

Теперь — к самой бы истории, но Сергей Сергеича ради надо побольше о себе рассказать.

Захватила меня октябрьская катастрофа уже с аттестатом зрелости. В гражданскую драку, однако, не попал по здоровью, а в университет — по происхождению. Кончил первые подвернувшиеся под руку учительские курсы и лет на двадцать застрял в одной севернорусской чухломе педагогом. Сперва — в младших классах; а потом по заочным пособиям изучил письма, сиречь шрифты разные книг современных и древних и стал работать в чертежных всяких бюро и конструкторских — с надписями. Дальше — больше. Кончил заочно же институт и перед самой войной читал уже студентам отечественную палеографию. Ну-с, войну и перемещенности пропущу, а до недавнего переезда сюда, под Статую Свободы, преподавал в одной гимназии краснописание. Да, так нарочно и называю: краснописание, на том стою! посмотрите-ка на теперешние почерка — какая в них смута душевная, а то и просто мерзость отражена, у графологов волосы дыбом встают... Так если со стороны формы зайти — красоты почерка, хочу я сказать, — так, может, будет влиять и на душевное благолепие...

Не позабыть про Достоевского! Вся ведь специальность моя, о которой рассказываю, из одной его строчки вышла: «Смиранный игумен Пафнутий руку приложил». Помните: строчку эту князь Мышкин у генерала Епанчина на веленовой бумаге пишет, каллиграфически, полууставом и скорописями, и генерал приходит в восторг. Вот и я восхитился: как это верно найдено — это выражение душевной красоты и гармонии в зримой прелести рукописьма! И в самый этот роман влюбился я с юных лет без памяти и на всю жизнь. Какой притягательный и неотразимый образ человеческий выведен! Трагический, конечно, потому что на самом деле любить ближнего неосуществимо, но жалеть, жалеть! Жалость — не первая ли

спутница любви? «Я ее не любовью люблю, а жалостью», — говорит Мышкин. И все в романе этом узлы развязываются жалостью. Свидание, например, которое устраивает Аглая Епанчина, чтобы выбрал князь одну из соперниц: ее или Настасью Филипповну. И князь выбирает ту, которая понесчастнее. Или последний взять треугольник: в рогожинском мрачном доме, у трупа зарезанной. Два соперника: один в горячке, другой безумный, и когда горячечный вскидывается и кричит, безумный гладит его по волосам и щекам. Какой иносказ!! Кончились страсти — вождение, буйство, ревность, ненависть, угас сам рассудок, но осталась всё пережившая жалость!

К ней, к жалости, всю жизнь и приклонял я себя. Конечно, иной раз и по-нелепому, и покойная моя жена, у которой нрав... о покойниках, впрочем, aut bene, aut nihil... Нет, простаком, конечно, не был, но вслед за Достоевским почитал жалость первейшим свойством русской души, жалости в ней и революция истребить не могла — это литература там сейчас озверела, не народ наш...

Насчет этого постоянно с Сергей Сергеевичем спорим — тут он особенно всегда горячится и нетерпим. Эх, Сергей Сергеевич, позабыли вы, что сказано у блаженного Августина: «Праведный радуется справедливости». У вас же одно ожесточение на языке — колет, рубит, режет! А справедливость — она всегда под руку с беспристрастием, знаете сами... Да ведь вот и меня в рассказчики выбрали, хоть я и отмахивался, потому, что уверены: рассказывать стану нелицеприятно, без зубовного скрежета или клевет...

Ну вот по старчеству своему разболтался. Еще об одном хочу предварить: слог у меня старомодный. И это, пожалуй, уж и не от лет, но от вкуса: считаю, что *сказ*, как например, у Лескова, лучше всего дух нашего языка передает, и всякое, хоть бы и режущее современное ухо, слово, ежели оно народное, в сказовом складе уместно. Как говорил один замечательный сказитель наш и поэт, загубленный в сталинское время, «по-разному падает на слово свет из творческих тайников, и всё зависит от того, как оно берется с другим

словом за руку, чтобы войти в плавный и величавый словесный хоровод. Ведь в хороводе каждая девка красна, говорит народ. Потому-то все слова хороши, — нет слов плохих и слов хороших. Что с того, что подчас слово рябое, косоное — оно в хороводе сойдет, лишь бы только хоровод водился и на хороводном кругу запевал запевало; что с того, что в ряд станет старая старица — старый конь борозды не портит». Вот, наизусть эти строки выучил. Но, конечно, сам-то, может быть, со сказового слога-то и собьюсь — не взыщите!

А теперь — к главному.



Начало этой истории схоже с тем, как начинаются иные рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, которые очень люблю.

— Ну, Ватсон, — говорит Холмс, пряча в карман только что полученную телеграмму. — Не хотите ли отправиться вместе со мной в дальнее, но, вероятно, интересное для вас путешествие?

— Ну, М. М., — говорит Сергей Сергеич, раскуривая свою трубку (тоже схожесть, но, разумеется, только литературная), — не хотите ли слетать со мной в тридевятое царство, тридесятое государство на симпозиум по Достоевскому?

И началось... Потому что если вберет себе Сергей Сергеич что-либо в голову, то никаким клином не выбить; и чем больше резонов против, тем пуще ярится — вертится вокруг собственной своей оси, как бомба-лимонка: вот-вот взорвется!

— Бога вы не боитесь, — говорю ему. — Ну зачем мне лететь? Вы, знаю я, еще в молодых годах диссертацию о Достоевском писали и курс ведете, а я там причем?

— А это, кричит, не ваш у меня «Графологический комментарий к некоторым манускриптам Достоевского», с дарственной надписью? Его — что, английский король сочинил?

— Врачи, говорю, предписали нитроглицерин, чтобы не застревать на ходу, и совершенный покой.

— Вот и отдохнете маленько от самого беспокойного города в мире.

И всё-таки, думаю, ему бы меня не переупрямить, если б не странная одна маленькая причина и совпадение: подле заморского городка, где назначен был этот международный симпозиум, лежит монастырь, о котором слыхивал я еще в детстве. Был там полтысячелетие назад похоронен уже поминавшийся мною выше зачинатель нашего рода. Вдруг представилось мне, как, еще отрока, водил меня дед вдоль фамильных портретов; от бритого, в буклях и со звездой, позванного на службу Екатериной Второю, и, в седину времен, до брадатого, в латах, кистью руки в алмазной манжете на долгий меч опершись; позади — шафранного золота берег и бирюза. Самый он-то и был в этом монастыре погребен, до которого с детства летела мечта, а потом обескрылела — куды там! в другую обитель за эту мечту не угодить бы как раз — в Соловецкую!.. Да, а вот теперь, на закате лет, вдруг ожила, как судьбы перст и дар...

Ну, Сергей Сергеич, конечно, от послушания моего просветлел, бумажную всю возню на себя принял, в мелочи даже пустился — что с собой, чемодан какой... Визитные карточки велел заказать.

— Помилуйте, говорю. — Мне теперь визитную карточку на камне пора обдумывать. С последней датой...

— Ладно, — говорит, — закажу сам!

Пыхнул трубкой и выкатился.

2. О СЕРГЕИ СЕРГЕИЧЕ И — ПОКУДА ЛЕТИМ

Которые, вроде Сергей Сергеича, в самолете — как дома, вызывают во мне зависть и умиление. Сам я, когда лечу, напряжен и тревожен, словно мною — сказать поживописнее — из пушки выстрелили, и куда еще врежет: в тучу, в гору ли, в океан — неизвестно.

А Сергей Сергеич, двойной скотский напиток выхлебав и полюбезничав с проводницей, нагнул над подносом и вооружит вилкой разное мелкоузорчатое ёдово: мастер он закусить!

Покуда летим — еще несколько слов о нем.

Вторая его примета и самая главная — спорщик он! Фигурой словно бы и Санчо Панса, но душа Ламанческого рыцаря, и, как истинно русский, в схватках ли с подлинными врагами, с ветряными ли мельницами, равно упрям и готов на рожон. Предмет же, о чем поспорить, умеет сыскать и на совершенно пустом, казалось бы, месте. В споре же взрывают, трубку свою сосет рывками — искры из нее веером, как из дракона; просека его голая на кумполе побагровеет, остатний чубчик надо лбом — торчком, как антенна, и кажется, будто им он и ловит вывертыши свои и словечки, перец и аллюр своей речи, которую я у него так люблю. У самого у меня ум больше для размышлений, в разговоре запаздывает; у Сергей же Сергеича он стремительный и в кармане слова не ищет.

Без спора не обошлось у нас с ним и в этом полете. Необычный ведь вполне человек: сам из русаков образованнейших, но собратьев своих, российскую нашу интеллигенцию, клянет почем зря, всех собак исторических на нее вешает; сам эмигрант, как все мы здесь, русские, но на эмиграцию у него — постоянный наскок и задирательство. «В существе, говорит, нашего теперешнего эмигранта непременно какая-либо хлестаковщина, от Ноздрева что-нибудь или от Митрофанушки».

С этого и началось. Стал в списке участников этого симпозиума, на который летим, русские фамилии перебирать — и завелся...

— Р., например... Ну что в нем — от литературоведа? Как-то тиснул юбилейную статейку: «Идиот», видите ли, решительный промах Достоевского, а Макара Дежушкин — бесполезный болтун. Ну, про «Идиота» прочел, конечно, в советских источниках, а о «Бедных людях» это уж, верно, свое... Такая ведь разнесчастная вещь — литературоведение! Ведь вот не возьмется никто за аборт, если не гинеколог, а искромсать гениальный роман — для этого подготовки не требуется — все, мол, грамотные!..

— По-вашему, говорю ему, если не кончил филологического, так и суждения своего не иметь?

— Суждение суждению рознь. Этот ведь не просто суждение — поучать хочет! Лекции читает. Недавно случайно на одну заскочил, о Некрасове. Слышу, цитирует с кафедры: «Вьется алая лента красиво / в волосах твоих, черных как ночь». «Какая, говорит, поразительная простота эпитета: 'вьется *красиво*'! Преддверие акмеистической поэтики и парижской ноты». Я не вытерпел: «У Некрасова, говорю, лента «вьётся *игриво*» — вы бы всё-таки в текст заглянули!» С тех пор встречается меня — отворачивается. И не заступайтесь, не заступайтесь, пожалуйста! Кр-р-р-итик! Таких именно критиков Хемингуэй называл «вшами, ползающими по литературе...» Кто там еще? Ба! баронесса Эм! В Париже встречались. Ну, эта — с филологическим, из «навыюченных книгами», как говорил наш юбиляр. В немецком одном журнальчике напечатала труд: «Насекомые у Достоевского». Да, так и звучит в переводе, благо нет в живых Анны Григорьевны, которая могла б заступиться за мужа. Всех пособрала паразитов, пауков и козявок из романов и «Дневника» — в колонку; тут же контекст, звездочки пояснительные, сноски... И на три разбила секции: «ядовитые», «неядовитые» и «бытовые», хотя из школьной еще логики известно, что основа всяческого деления должна быть едина и сказать, например, что люди делятся на брюнетов, блондинов и дураков — неловко. О подобных ей, впрочем, у Достоевского где-то записано, что «приобрели много знаний не по уму, так что за недостатком ума и не знают, как с ними справиться». Выступит, конечно, и с докладом, ибо тщеславия у каждого дурня, говорят, ровно столько, сколько нехватает ему мозгов!

— Экий злоющий у вас язык! Почему бы ей и не выступить?

— Защищаете? Вот и Баратынский, помню, таких защищал. Писал:

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит...

Но бывают растения и ядовитые. В общем: каждый имеет право на глупость, однако пользоваться этим правом следует умеренно.

— Послушать вас — ни одного Достоевсковеда в эмиграции нет?

— Среди ныне живущих действительно, больше — «достоевскоеды», не от «ведати», то есть, но от «ясти»; Достоевского гложут они для рекламы и послужных листков — абы что-нибудь наукообразное накропать и предать тиснению... Графомания, впрочем, — бич эмиграции. «Всё, что было, всё, что мило» и прочее в этом роде — самый расхожий жанр.

— Будто уж самый расхожий?

— Ну, еще — письма в газетах: «Уважаемый г-н редактор! Не откажите поместить следующую поправку к статье историка Н.: ветряная оспа у генерала от инфантерии Тпрутнкевича-Фьютинговского была в возрасте не шести, как он утверждает, а семи с половиною лет».

— Значит, анафема людям за то, что у них — всё в прошлом? А между тем память, воспоминания у нас, стариков — единственное средство побеждать время и самую смерть как забвение; последнее — не только для личного блага, но для мира вообще... Итак: ни одного достойного автора в эмиграции не оказывается?

— Фр!.. Фр!... — и дым клубами. Перебираем с десятков имен. То есть перебираю я, Сергей же Сергеич... Знает он, на удивление, всех, даже и с личными, бытовыми подробностями, и приговорами прихлопывает каждого, как муху — хлопушкой.

— А — Х.? — называю одного из общих друзей, только что доставившего нас на аэродром.

— Ну, этот, пожалуй, исключение. Хотя — поглядите, какие опубликовал недавно стишата!

— Словом: «Один только и есть в городе порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья».

Приведя сию цитату, жду взрыва. Но мимо простреливает живописная проводница, Сергей Сергеич заказывает ей третий или четвертый «скач» и, в ожидании, задумывается. По-

глядываю на него сбоку: право же, в круглом этом лице, пухлых губах, невнятно посасывающих погасшую трубку, есть нечто даже младенческое. Отчасти он, конечно, напускает на себя эту свою беспощадность.

— Не хочу с вами спорить! — говорит он, принимая у проводницы стакан. — Вам вредно!

И на том спасибо...



Избежать, однако, спора, сидя рядом с Сергей Сергеевичем, так же невысказано, как, скажем, читать газету, облокотившись на муравейник, — схватываемся с ним еще много раз. Всё больше по поводу «мыслей навыворот», на которые промолчать — вроде как попустительствовать краже со взломом.

«Французский коньяк в отношении цивилизации гораздо значительнее французских революций!» — изрекает он в связи с отрицанием исторических «скачков». Или — об одном модном среди сторонников демократической анархии кандидате куда-то:

«Он, говорят, предложил новый режим в тюрьмах: арестантам следует давать отпуск домой с условием, что они не совершат каждый раз более одного изнасилования или убийства (смотря по специальности и чтобы не потерять квалификации). Говорят, получил множество одобрительных писем и обещаний поддержки на выборах».

Спор, наконец, из-за которого состоялся между нами настоящий разрыв, вышел из-за американок: «Единственный на свете тип женщины, которой хочется надавать пощечин!» — сказал он, и я отказался с ним разговаривать, покуда, высосав целых две трубки, он не повинился, что пересолил...

Потом, на промежуточной какой-то посадке, влезает в наш самолет некто с большим портфелем, русским носом грушею и складчатым мелким фасом. Выкручиваясь из шелкового дождевика, замечает нас и делает Сергей Сергеевичу ручкой.

— Тоже делегат на симпозиум. Из Африки. Россиянин по крови. Меня не терпит.

— За что бы?

— За то, верно, что его поспособнее, лозунг же наших

дней: «Дорогу бездарностям!» Сам он — из англизированных митрофанов. Полиглот. Достоевский таких называл «международными межеумками». Верно: дурень, болтающий на трех языках, — дурень трижды, потому что на каждом из них расписывается в дураках... О чем, бишь, доклад у него? Ага, вот: «Искусство цирка и Достоевский».

— Разве у Достоевского есть — о цирке? Что-то не помню.

— Не помню и я. Но для таких, как он, это ничего ведь не значит: лишь бы высунуться как-нибудь понеобычнее. Слышал, что объезжает с этой темой все цирковые дирекции. Ну, его, разумеется, в первый ряд и ужином кормят в надежде на рекламу в грядущем труде. Этаким литературный *обшмыга* — словцо Достоевского. Глядите: вытащил что-то из пузатого своего портфеля и изучает! Личико в морщинах, как куриная гузка, и большой глупый лоб; работа мысли мучительная, а — из ничего! И заметьте: всегда сугубо академический вид. «Человек с непрерывной ученой соплей на носу» — опять же по Достоевскому.

— Сами, верно, и сочинили.

— Только «ученой» прибавил, а остальное, ей-Богу, цитата. На симпозиуме будет непременно с кем-нибудь в очередь председательствовать.

— Да что вы на него так наускаиваете? Что он вам сделал?

— Не заступайтесь, ваше снисходительство (он меня часто так называет). Конечно, по Писанию: «Блажен, иже и скоты милует», но — правда же, не стоит!

Перейду, однако, ближе к происшествию главному.

3. В РОТОНДЕ

Крохотный катышек, подброшенный под язык, вырывает вас из лап дракона, пытающегося расплющить вас изнутри, и дает радостное мужество снова шагать по земле.

Это я — о снадобье против недуга, оставившего мне

всего один единственный день симпозиума из трех, на которые прилетели.

Остальные — сидел в длинном сарайчике из песчаника, прилепленном почти к самой скале, как некое членистоногое: в каждом коленце — лилипутная спальенка и салон с балкончиком, прямо над пляжем, лицом в океан.

Сидел и думал о том, что созерцание, способность к которому начисто утрачена прометеевским человеком, было действительно богатством людей Востока: созерцающий словно бы находил сам себя, растворяясь в своем созерцаемом — в этом вот, например, невесть куда отпрыгнувшем от меня горизонте с вертикальным мелком маяка и сизым контуром лайнера, — да, а прометеевец, напротив, только утрачивал себя в поисках огня, отнюдь не небесного...

А на ленточке пляжа, прямо перед глазами, какая полнота красок, искр и мельканий! Двое негрятят на песке у прибоя, и набегающая, шипящая вокруг гнутких их ног белая пена. Потопал к прибою кривоногий карапуз с детским ведерком. Поставил на песок. Волна подхватила ведерко и понесла прочь. Карапуз завизжал отчаянно.

Рыбаки выловили акулыша — гадкого, похожего на увеличенного во много раз головастика. Он долго буянил, покуда не тюкнули его черенком ножа по большой голове, к которой без промежутков прицеплен был двухпёрый, как два разведенных лезвия, хвост...



Акулыш странным образом откликнулся мне позже, когда Сергей Сергеич ткнул перстом в сторону коротышки с непомерно разросшейся, до блеску выбритой головой и сказал: Бом!

И после недоуменной паузы:

— Бом, один из двух делегатов на симпозиум с Большой земли. Говорит, будто из Комиссии по составлению словаря Достоевского.

Коротышка тут же поднялся из-за стола, за которым си-

дел, и подсеменял к долговязому господину в очках-телескопах и с седым бобриком надо лбом.

— Борис Иванович М., — сказал Сергей Сергеич. — Со-кращенно: Бим. Из тех же краев, и, по-видимому, Бом этот к нему приставлен. Книгу Бима о юбиляре вы наверное знаете. А сейчас услышите ее, так сказать, экспозе...

Мы и услышали. Но я забежал вперед и хочу теперь восстановить в своем рассказе порядок.

В ротонду пришли мы до начала еще заседания. Оно по какому-то случаю задерживалось. Длиннющий лаковый стол с белыми зигзагами листков и блокнотов резал ее пополам; по обе его стороны расхаживали, стояли и располагались в нишах делегаты.

Покуда Сергей Сергеич рассыпáлся в рукопожатиях (ухватка на знакомства у него редчайшая), я решил оглядеть этот зал, круглосветный, сооруженный в ранне-надцатом (уже успел позабыть, в каком именно) веке для балов и приемов: на подиуме, обведенном запретным шнуром, — коронованное, разлатое кресло. Лепной плафон, сливочного цвета колонны удивительно легкой «поступи», ниши-ложи с бархатным глубоким нутром. Пустой, он, должно быть, плыл, этот зал, как ковчег, в магнитных волнах средневековых заклятий и воспоминаний, и веяло в нем горьковатым дымком костров — инквизиторских или, может быть, только кухмистерских, на которых зажаривались целиком туши оленей, и слышалось шуршанье бальных торжественных роб и треск китового уса корсетов, сжимаемых в полумраке ниш. Сейчас же, как я уже говорил, разрезáл его стол, нелепый, как вырытая поперек цветника траншея, пятнали уродливые дорожные сумки авиационных компаний, плащи, кое-как брошенные на спинки стульев, — всё неблагообразие проезжей, привыкшей находиться где ни попало, не разбираясь, толпы.

А в галерее, соединявшей ротонду с внутренними покоями, открыл я стену портретов и среди них — того брадатого, в латах, которого знал как предка в сладкие годы своего отрочества. Мне чуть стыдно признаться, что эта встреча —

почти самое сильное из моих впечатлений от этой поездки (не считая встречи последней, о которой — в конце). Он был в рост, портрет — оригинал, вероятно, того, другого, закопанного в закоулке нашего московского двора: та же строгая стать, властная кисть руки в алмазной манжетке, опирающаяся на меч; тот же — шафрана и бирюзы — дальний фон. Никогда не страдал я пристрастием к генеалогическому своему древу, а тут вдруг, перед этим портретом, возник у меня к прошлому какой-то немисланный мостик, именно «немисланный», потому что не укладывался ни в какой разум и логику, а — в некое взволнованное оцепенение...

В таком и нашел меня Сергей Сергеич, недовольный и торопящийся, потому что в зале уже началось.

— Ба! — сказал он, прочитав под портретом дощечку. — У вас, оказывается, свиданье?

И, отступя на шаг, сложив по-наполеоновски руки:

— Фамильного сходства усмотреть не могу, но сцена в целом напоминает «блудного сына»: после пятисотлетней паузы потомок является к зачинателю рода. Боюсь только, жирного тельца не получится. «Что, вопрошает родоначальник, свершил ты великого за отпущенный смертным век? Как? ни одной хотя бы малейшей попытки освобождения Гроба Господня? Что? Около трех тысяч кое-как проверенных школьных тетрадок по чистописанию?!»

— У Чехова где-то, — включаюсь я в его тон, хотя и вопреки настроению, — у Чехова в каком-то рассказе предки с портретов говорят глазеющему на них продолжателю рода: «Выпороть бы тебя, братец!»

И потом мы спешим в зал. По дороге — и это необходимо упомянуть — Сергей Сергеич всучивает мне свой записыватель с вытянутым уже на шнурке микрофоном. «Я всё перемещаюсь, а у вас будет незаметно... Пожалуйста!» Я покорился нехотя, но теперь, пожалуй, и рад: только благодаря этой машинке удастся мне передать услышанное.



В зале тем временем происходил, оказывается, летучий митинг: как назвать ученое общество, в которое желали превратиться участники симпозиума: «Общество по изучению жизни и творчества» или «творчества и жизни»? Решали голосованием, но без порядка: «Когда поднимать руку: если за «творчество и жизнь» или если «против?» — спрашивал кто-то, и получалось (заметил Сергей Сергеич) похоже на сцену из «Бесов».

А засим продолжалось ожидание: очередной докладчик (это был Бим) всё еще запаздывал, и Сергей Сергеич от нечего делать взялся объяснять мне присутствующих, про иноземных — позевывая, а про земляков, как всегда, пристрастно и схватываясь за трубку.

— Их, земляков, тут пропасть, разных мастей, со всех волостей. Тот, например, у стола, с мейерхольдовской шевелюрой — редактор эмигрантского альманаха «Новости минувшего». Зубастый блондин рядом — публицист Лужин, золова арфа эмигрантской культурной жизни: откликается на каждый ветерок, не принимая ничего особенно близко к сердцу. Кто-то сложил на него эпиграмму:

Добрый ужин
людям нужен,
но не нужен
людям
Лужин...

— Да вы же, наверно, — прерываю его, — сами и сложили. А по мне статьи его весьма и весьма полезны.

— Ну и на здоровье!.. В том углу, видите, трое? Тоже эмигрантское наше соцветье. Тот, что повыше — искусствовед, «Византийские корни русской матрёшки» — так, кажется, называется его труд... Маленький подле него — Щ., докладчик «за всё», своего рода литературный тапёр — играет на любых именинах. Уже выступал тут вчера. В быту — злыдень. Пишет, говорят, уже много лет о Фоме Аквинском — боюсь, выйдет у него и Фома полуразбойником: больно уж

желчен... Ну-с, третий, поосанистей, не знаменит ничем, чурки бы на нем колоть, но торжественен и употребляется для представительства... Еще одна группка, видите — там, у окна, вокруг тощенькой дамы с выкрашенными синькой глазницами. Это недавние прыжки «оттуда». Ну, разумеется: «Наши встречи», «Наши впечатления», «Наши прогнозы...» Самоуверенность завиднейшая, как будто бы то, что сбежал попоздней, само по себе придает ума и таланта. Что? Несправедливо, по-вашему?

— Очень.

— Ладно, сменим пластинку! Вон на диване слева, этакой мадамой Рекамье — поэтесса Аглая Синус. Читать, я знаю, читали, но ведь не встречали живьём? Могу представить. Говорят, ничего не вкушает неделями, высиживая оригинальную рифму. В доме у нее будто такая система зеркал, что если посадить в кресло, скажем, дворника, то кажется, что слушателей целый батальон, и она им читает стихи. Про дворника я — без всяких намеков, потому что слышал от кого-то шёпотом, будто она — скрытый мужчина. И пишет про себя: «поэт». Напористость же в части саморекламы чудовищная — уже и в эти два дня успела себя воткнуть. В копиях стишки раздавала. Я одно прихватил — о творческой, так сказать, аскезе.

Он прочел:

Цветут питания,
текут петунии,
без глаз мерцания,
Перепетуями...

В крахмальных грядках
букет меню.
Настрой души своей
не изменю!

Пусть Фузиама
взорвется в твердь.
И в чреве — яма,
и в зёве — смердь!..

Пожито,
пожевано,
пбпито!
Вздыхать прикажете
по Европе-то?...

Ну, и тому подобное!

— Это, говорю ему, вы мне пародию, вижу, подсовываете? Я ее стихи знаю.

— Пародия, говорит, или оригинал — всё едино: язык-то птичий!



Бим, наконец, появился в сопровождении своего коротенького напарника, который, усевшись, долго вытирал красным платочком пот с бритой своей головы.

Машинка записала весь часовой доклад, но перескажу содержание вкратце с несколькими только цитатами.

Говорил Бим бойко, закидывая вверх узкое под седым бобриком лицо и как бы в некоем академическом трансе полужакрывая глаза; в местах обличительных — даже и с дрожанием в голосе. Места же обличительные, надо сказать, преобладали, и цель обозначилась сразу же. Цель, как определил потом Сергей Сергеич, была — представить Достоевского в четверть или даже осьмую подлинной величины, как бы в бинокль, повернутый линзами наоборот. Сообразно с этим выходило, что в Достоевском велик был лишь автор «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных», Достоевский же поздний, — сказал Бим, — отойдя от революционной интеллигенции, «поставил себя в драматическое положение, потому что отход этот обрекал его на творческое бесплодие».

— Это «Преступление и наказание» или «Карамазовы» — творческое «бесплодие?» — не стерпел Сергей Сергеич (впереди меня, весь в кольцах дыма), — и председатель (это был русского происхождения господин, писавший о Достоевском и цирке) звякнул в звоночек.

— Да, — подхватил словно бы и с воодушевлением Бим. — Можем ли мы ставить знак равенства между ранним и поздним творческими периодами? Нет, мы не можем этого делать! Достоевский — изобразитель и защитник человека в тисках буржуазно-помещичьего общества — вот тот Достоевский, которого мы возводим на пьедестал. «Преступление и наказание» — великий роман, но велик он не второстепенной, насквозь фальшивой темой религиозной морали, напротив: фанатизм религиозного проповедничества ослепил и оглушил автора, заставив его изобразить представителя русской студенческой молодежи в виде морального урода и отщепенца, что означало, конечно, клевету на эту молодежь. Нет, главное в этом романе — разоблачение бесчеловечности капиталистического общества, представленное в трагедии Мармеладова...»

— Трагедия Мармеладова — алкоголизм! — перебил снова Сергей Сергееч (я так и ждал, что перебьет: пепельный чуб вздыбился, из трубки искры). — Этого бедствия не удастся одолеть и в так называемом бесклассовом обществе, — досказал он, и колокольчик председателя брякнул снова. «Тс-с! тс-с-с!» — правда, не очень уверенно, принеслось от стола. Бим же на новую реплику не откликнулся, только напрянул голос, и слетающие со стенных усилителей слова приобрели жестяной призывок... Надо сказать, что с дальнейшим ходом доклада воздух в ротонде начал словно бы холодеть; легкие, как вздох, недоуменные «Ох-ох!» стали сквознячком проноситься по залу при иных особенно неожиданных «коленках» докладчика. Я приведу кое-какие из них.

— Тоже и в «Идиоте», — говорил Бим, — центральная тема — трагедия Настасьи Филипповны. Остальное погублено фальшивой религиозно-моралистической тенденцией и авторским реакционно-благодушным изображением пошлого общества. Роман измельчал, ушел в песок. Он колеблется, шатается, он стал трагической неудачей Достоевского...

— О-ох! — прошелестело по залу.

«Братья Карамазовы» получились неудачей тоже, будучи написаны, оказывается, «по прямому правительственному за-

казу». Почему-то не кто другой как Грушенька подверглась особенно безжалостному разносу Бима. «Есть ли основания, — восклицал он, — видеть в этом образе, как это делают иные западные литературоведы, мистические блуждания и столкновения Добра и Зла? Нет, для этого нет никаких оснований! Перед нами смазливая бойкая мешаночка, влюбленная как кошка в своего благородного зверя Митеньку, готовая за него в огонь и воду, в прошлом — любовница заезжего поляка, потом — купца-миллионера, выучившего ее зашибать деньгу. То есть просто — продувная... — нет, не произнесу не совсем салонного слова, вы добавите его сами...»

— Интересно, из какого класса гимназии выгнали его за красноречие? — обернулся ко мне Сергей Сергеич: он уже перестал кипеть и разглядывал, развернув гирляндой, складной альбомчик с местными видами. Выдержал он и рассуждения Бима о «Бесах», где Достоевский выходил уже просто мошенником, который «нарочно запутал социальные адреса и подsunул революционному лагерю действия буржуазно-помещичьих циников и прохвостов, переодев их в революционеров».

Ограничу этот отчет еще одним лишь штрихом из послеобеденной дискуссии по докладу. «На таких симпозиумах бывают особенно глупые вопросы», — сказал Сергей Сергеич (я буду обозначать его иногда для краткости: С. С.) — и ошибся: спрашивали многие дельно, главным образом — о философской сущности таких «мыслящих» образов, как Иван Карамазов, Алеша, а из «Подростка» — Версилов.

— Есть у Плеханова, — сказал Бим, поерошив свой бобрик, — одно хорошее выражение: «рассудок балуется». С нашей точки зрения, многие рассуждения этих персонажей Достоевского основаны на вполне чуждых научному познанию мира концепциях и поэтому представляют собою, по удачному слову Плеханова, «баловство рассудка».

— Тут, — заметил С. С., когда я прочитал ему эти свои записки, — ротонда сказала даже не «О-ох!», а «Ух!!».

4. БОМ И ОЧЕРЕДНЫЕ ВЗРЫВЫ СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧА

В перерыв мы с С. С. на местном дребезжащем такси отправились в монастырь, видный из окон ротонды. Века 13-ого, он висел над океаном вместе со скалой, на которой был выстроен, как и она — серый, с зеленоватой замшей складок и оконных глазниц, а с лицевой стороны, как подъезжать, начали его перекрашивать в цвет желтка и вишневый — по выступам; привратник объяснил, что такова была расцветка первичная.

Гробницу, спустившись в крипту, нашли не сразу среди почти дюжины других и из-за наполовину сбитой и загроутованной надписи, которую, видно, тоже собрались подправить. Станным образом и на этот раз ощутил я на душе мурашки, связанные, может быть, с самим воздухом подземелья, иначе — с мыслью о том, что мощный мышцей и волею предок и щедушный его потомок скоро вот уж встретятся и «по ту сторону...» Неоригинальное это суждение я высказал вслух, копируя в блокнот надгробную надпись — шедевр средневековой графики. Какая-то туристическая дама (их много ввалилось в крипту вместе с непрерывно говорившим гидом), подойдя, полюбопытствовала, почему эта гробница так меня интересует. «Здесь лежит его пра-пра-прадедушка!!» — отрезал С. С., и дама отпрянула, но, я чувствовал, продолжала с ним за моей спиной мимический, вероятно, разговор.

— Она посмотрела на меня вопросительно, — сообщил он мне после, — и приложила указательный палец к виску: сумасшедший, мол?

— Ну, и вы...

— Конечно, кивнул утвердительно. Нормальны теперь только она и прочие лавочники, подозрительные ко всем, кроме себе подобных... Постойте: я вижу среди них Бому, и кажется, что он нацелен на нас, но кружит, как гончая... Продолжайте со своей надписью, а я буду заглядывать в ваш альбом. Посмотрим, подойдет он или нет... Я, видите ли, уже сцепился с ним раз. По поводу книг. Издано, говорит, у нас за время советской власти книг 38 миллиардов! А ведь половину, — говорю ему, — если установится нормальный порядок,

придется сжечь — до того никакой самойалейшей ценности для грядущего в них не будет. Философские словари — без философии, энциклопедии — с выпущенными именами и фактами, бездна всяческой фальсификации и самой «пузатой», по выражению Достоевского, лжи. Воистину, говорю, впервые в истории выйдет благороднейшее аутодафе! Сперва обиделся, а потом даже и улыбнулся и сказал: «Может быть, вы и правы». У них, кажется, сейчас инструкция такая для заграницы — улыбочивость... Вот, направляется к нам. Значит, когда кончите — выходите в цветник, мы будем вас там ждать на скамеечке.



Там я их и нашел под довольно-таки сильным бризом, раздувавшим волосы. Впрочем, у Бома раздуваться было нечему, а пепельный чуб Сергей Сергеевича, как я тотчас же и заметил, полыхал не от ветра — это был спор, взрывная ответная реплика. Подходя, я успел захватить ее целиком, включив записыватель, который так и остался у меня после заседания. Начало, то есть как у них завязалось, восстанавливаю в сокращении.

— Родина вас простила! — сказал Бом. В солнечном свете я мог теперь лучше рассмотреть его лицо: круглое, с чисто выбритыми, ухоженными щеками, чуть обрякшими к шее; серые уменьшенные тоже набрякшими наискось веками глаза. Смотрели эти глаза сейчас дружелюбно, в полприщура, но почему-то я вдруг представил себе их под этими косыми нависками помутневшими и колючими.

— Родина вас простила... — повторил Бом.

— Но я ее нет!

— Вы противопоставляете себя родине?

— Нет, но тем, кто в ней хозяйничает. Разве вы не их имеете в виду, когда говорите о прощении? Я уходил на фронт в смертном ужасе от их преступлений. С омерзением и ненавистью к палачам, раздавившим миллионы жизней, целую когорту национальных талантов, десятки родных и близких мне по духу ни в чем не виновных людей. И когда на фронте слы-

шал: «За Сталина!» — ярость щемила меня, и выполнение долга казалось опозоренным именем этого злодея. Слыша это имя, я слышал запах крови. И встречая в штабах работников особых отделов, видел, как с их пястей стекает кровь... Но когда замотанная бездарными полководцами, почти безоружная армия повсеместно оказывалась окруженной, — я честно выполнял свой долг — в разведке, без карт, под немецкими «штуками», в обход немецких танков, носился, выискивая свободные от вражеского огня пути и лазейки. А когда сшибло меня осколком, коллеги-штабисты, в большинстве — члены партии, к которой, полагаю, принадлежите и вы, оставили меня лежать при дороге. Утром подобрал меня, раненого, немецкий унтер. А потом, голодный, обмерзлый, за проволокой, я узнал, что мы, пленные, объявлены вне закона. И международный Красный крест наплевал на нас... Ладно, сокращаю. «Землю, с которою мёрз», говорят, из сердца не выкинешь, но причем тут верность сталинскому режиму? И когда гнуснейший этот режим неслыханной кровью и несмотря ни на что удержался, — что делали у вас с возвращавшимися на родину пленными? с несчастными полузамученными остовами?.. Нет, никогда, никогда последыши великого людоеда не получают от меня прощения! Проклятые Богом, будут они прокляты и всеми живущими на земле. Ныне и присно и вовеки веков!

— Аминь! — грустно сказал Бом. — Может быть, вы и правы...



Во второй половине дня выступало несколько докладчиков, в том числе и представительная г-жа Эм, о которой выше уже злопоминал Сергей Сергеевич. Доклад ее: «Лестницы как прием (я перевожу английское device) в произведениях Достоевского» показался мне недурным, несмотря на попутные комментарии С. С. А затем начались торжественные заключительные слова, и как-то совсем незаметно руки от хлопков перешли к держанию стаканов, позвякивающих ледышками, и мы очутились во внутренних покоях ротонды: притемненные абажурами

светильники по углам, в серых фраках лакеи, шныряющие с закусочными подносами...

— Устройтесь-ка поудобнее! — сказал С. С., найдя для меня какое-то особенно топкое кресло. — «Комфорт начинается с собственной з....цы», — добавил он (любил такого рода несалонные мудрости) и исчез. Несколько раз потом появлялся в поле моего зрения, и там, где задерживался, тотчас же складывалась кучка слушателей и звенели стаканы.

Я начал уж было задремывать, когда он возник подле меня снова, усадив между нами слегка упировавшегося Бома, перед которым, еще подходя, держал речь. Я нащупал и передвинул включатель фискального аппарата.

— Почему, почему? — вопрошал С. С., вздувая глохнущую трубку и отплеываясь, — почему у вас такая изжога, как выразился один травимый вами писатель, при одном имени Бога? И сколько пошlostей по поводу Бога написано в иных ваших подлейших книжках! Достоевский, Толстой, академик Павлов — лучшие люди России были верующими, а вот несколько политических одержимцев провозгласили обязательное «Бога нет» — и тысячи смердяковых взапуски пустились осуществлять эту, в сущности, апелляцию к подлости. Ладно бы: нет и нет, но что может быть отвратительнее воинствующего безбожия смердяковых! И добро бы одни подонки — нет, и писатели, и поэты, жертвы татарского ига в литературе. Разве не гнусны, скажем, стихи Маяковского о шести монахинях, которых он встретил на океанском пароходе по пути в Америку? Всё в этих монахинях вызывает у него припадок какого-то юродивого бешенства: форма и что держатся вместе и постоянно подносят к глазам черненькие «евангелишки» и шепчут молитвы. «Стервозы» (да, да: «Рассвет в розы — бормочут, стервозы!»), «воробны», «дуры господни» — поток издевательств и брани на шесть незнакомых женщин только за то, что среди возможных в жизни дорог выбрали монашеский орден. Разве это не совершенная, законченная смердяковщина? Можно не знать по невежеству или отрезанности от свободного мира, как самоотверженно трудятся эти сестры в гос-

питаях и приютах, но — если б и не трудились? Верить или не верить — святое их право, и что ж это за чудовищное надругательство над свободой человеческого духа!

— Может быть... может быть и так... — бормочет скороговоркой Бом, вытягивая короткую шею и озираясь. — Но извините: у меня здесь свиданье, должен покинуть вас...

— Знаем мы это свиданье! — провожая его глазами, сказал С. С. — Бим, говорят, не дурак выпить и в пьяном виде болтлив. Так вот, чтобы как-нибудь не надрался... Кстати: за мной самым сегодня уже семь скотских напитков. Не тронуться ли нам?

Мы и тронулись немного спустя. Вышли наугад в одну из мелких дверей, ведущих, как оказалось, во внутренний двор ротонды. Была ночь и множество звезд какого-то особенного в этих краях свечения, льющегося как бенедиктин из рюмок; шум прибора — по одну руку, по другую — строй светящихся окон, за которыми продолжался банкет. Мы двинулись вдоль них по цветочной дорожке, и к одному из них С. С. вдруг потянул меня за рукав: две фигуры рисовались на матово озаренной изнутри шторе, как китайские тени; одна — узкая и долгая, с опущенным долу профилем, в позе царевича Алексея с известной картины Ге; другая — сидячая, сбывчившаяся, с головой-глобусом; увеличенный тенью тяжелый кулак поднимается и падает, раз, другой, и странно только видеть, не слышать, стук его по столу.

— Бим и Бом советской культуры! — говорит С. С.



Меня всегда огорчали, даже сердили эти привычные для Сергей Сергеича «уничижительные обобщения». Полвека культурной жизни талантливейшего народа, конечно же, не могли не принести множества крупных имен и творческих свершений. В области, близкой самому С. С., это — Леонов, «Тихий Дон» Шолохова, целое созвездие замечательных мастеров стиха. Как можно, казалось бы, отзываться об этом пренебрежительно! «Я и не отзываюсь!» — огрызается С. С. «Но всё

это — только культурная инерция, творчество *несмотря на...* и что, спрашивается, здесь собственно от «советского»? На этом споры наши обычно и кончались, продолжение завело бы уже в чистую политику, которой я давно уже положил в разговорах с С. С. не касаться: был как-то случай, когда, говоря о будущем России, я сказал, что разделяю отчасти девиз кронштадтцев: «Советы без коммунистов»; может быть, сказал я, даже и только «без сталинцев» — и Сергей Сергеевич чуть меня не зарезал!

Так вот и теперь: я не возражал против «Бима и Бома», но мыслей понеслась во мне целая карусель, куда выбирались на улицу. «Что она такое — культура? Улавливается она привычными хрестоматийными перечнями, разными книжными плюсами-минусами и полемическими онёрами? Или — только душевными щупальцами, впечатлениями от мельчайших, может быть, звеньев ее пестрой мозаики, но впечатлениями, достигающими прежде всего души, потому что она, культура, и есть прежде всего явление духа...» Это было в тридцатых годах, когда, еще молодым, от причин случайных и вздорных, как теперь думаю, ударился я было в кутежи. Не так чтобы часто, но не бережа ни себя, ни других. Должность занимал я тогда вроде декана в некоем провинциальном вузе, и как-то после одной институтской вечеринки отвезли меня студенты домой в полубесчувствии. На утро пригласил меня к себе наш директор. Был он портной по профессии, мальчиком пас гусей в одном коломенском предместье, но одолел рабфак, промышленную, кажется, академию и шел очень вверх. Усадил меня перед собой за письменный стол и — волнуется! ищет слов: как бы сказать, что хотел, и притом не обидеть. «Ведь вот, понимаете, — говорит, — М. М., вы же мой, так сказать, заместитель. И примеры с нас с вами берут, а ведь это, как у вас вчера получилось, это ж нас с вами обоих роняет... На людях ведь всё. Изжить бы вам это, М. М., так сказать, отставить...» Смотрю на его некрупные руки из-под полотняных мягких манжет, — руки умельца, с крепкими пальцами и неровными, в рубцах, но ладно отчищенными ногтями, и

думаю, что чувствует он, вероятно, как и я, внутреннюю, так сказать, «усмешку» этого разговора — что вот он, бывший пастушонок, портняга, литературными прототипами которого в прошлом были чудища вроде гоголевского Петровича или, позже, чеховского холуя из рассказа «Капитанский мундир», дает теперь урок поведения последышу по крайней мере полудюжины колен российских культуроносителей! И — конфуз в этих его, ни к чему качающих пепельницу, пальцах, но и — достоинство, и сознание, что именно достоинства этого ради грубые слова сейчас были бы недостойны. И вдруг, помню, обдала меня жаром мысль, что ведь вот происходит сию минуту за этим столом рождение *новой* культуры...

Повторяю: ничего этого Сергей Сергеечу не сказал (да он и фыркнул бы только в ответ, я уверен!), но разногласия наши — правда, уже иного несколько ряда, — неожиданно объявились в странном, даже и вполне фантастическом воплощении.

5. «ОН» И О САМОМ ГЛАВНОМ

Мы обогнули последний во дворе угол, пошли вдоль фасада и оказались вдруг у главного входа. Мраморные львы над мраморными же, в два переката, ступенями вопросительно, как казалось в звездном обманном свете, прищурились на нас.

Двери в вестибюль были распахнуты; одна неяркая лампа в центральной люстре бросала на пол зеленоватое пятно; серые фигуры лакеев с подносами бесшумно, как мыши, пересекали его, растворяясь в потёмках.

Странное началось уже с того, что оба мы, не сговариваясь, почему-то очутились в вестибюле, у самой двери в ротонду. Она была не заперта, эта двустворчатая полуовальная дверь. Мы приоткрыли ее и вошли.

Здесь тоже был полумрак — несколько синих дежурных лампочек в кронштейнах и фосфорические кружки выключателей; и струящиеся вниз невнятные ребра колонн; и угадывающаяся торжественная высь плафона; и совершенная тиши-

на — обрывки танцевального джаза, залетавшие в вестибюль, сюда не достигали.

— Интересно!.. — сказал С. С. за нас обоих — и это был весь между нами словесный обмен. Я уже передавал свое впечатление от этого зала, плывущего как ковчег; сейчас, в беззвучии и одиночестве ночи, плыл он почти ощутимо, — я всегда считал, что подлинная встреча с древностью может быть лишь один на один, в совершенной освобожденности от дневных голосов и шарканый...

Всё так же не сговариваясь, вошли мы в одну из ниш, в мягкое, пружинное ее чрево, сели, слушая тишину; чуть виден был перед нами в проходе сливочный стан колонны со впаянным в него резным по кости богородичным медальоном, на котором высвечивалось сейчас только два венчика — покрупней и помельче...

И тут вошел Он.

И сел в кресло у края, обхватив кистями рук колено, как на портрете Перова. Полупрофиль во мраке слегка был невнятен, без живой игры и тепла, глубокими прорезан чертами, как на гравюре Фаворского, но это был Он — и на несколько долгих мгновений наши с Сергей Сергеевичем дыхания замерли.

И потом С. С.:

— Это Ты? Я позволяю себе сказать «Ты», потому что это ближе твоему в моих глазах величию, — тому, чему научил ты меня и людей, что показал им, чего не мог показать никто другой, о чем сказал им, о чем тоже никто другой не мог им сказать.

— Как понять, что ты пришел? Не может быть, чтобы покой твоей души, или, может быть, как я полагаю, вечное ее беспокойство смутило пустословие произнесенных здесь о тебе речей? Или, может быть, — хоть это совершенно абсурдно, но ведь абсурдно и вообще то, что я с тобой говорю, — или ты знал, что всю мою сознательную жизнь мучился я невозможностью задать тебе некоторые вопросы, зачатые то-

бой во мне, и — неужели? неужели я могу их теперь тебе задать?..*

— Знаю: будет бессвязно, будет сумбурно, но станет, станет, на что тебе дать ответ — мне и нашим доморощенным российским мыслителям, карманным пророкам: ориентированные тобою на ценность русской души, они проглядели ее подлинное неприглядное существо, прозевали, быть может, еще возможное когда-то ее исцеление... Пятьдесят лет, да, ровно полвека назад, еще подростком, ошеломила уже меня мысль: как мог ты приписать такое высокое духовное совершенство русскому мужику, будто бы по душе «гуманному», тоскующему «по служению ближнему», отличающемуся даже и особым «аристократизмом своих манер». Да, да обо всем этом ты писал, тут же приводя в пример мягкосердного, на всю жизнь впечатлившего тебя мужика Марeya...

— А всего через пятидесятилетие, когда выписанный тобой столь привлекательный облик раскрылся в действии, оказалось, что преимущественного, по сравнению со своим, благополучия ближнего Марей твой боится пуще всего на свете и, чуть позже, раскулачивал соседа только потому, что у того было на одну козу больше, чем у него самого. Да, может быть, и тосковал — поскольку зависть, говорят, единственная среди прочих вполне безотрадная страсть...

— Помню хорошо: исказился твой Марей сразу же после катастрофы, и барчонка, испуг которого так матерински когда-то утешил, в избу к себе не пустил, когда тот, голодный, на хлебный дух прибежал и стыдливо стал на пороге. «Это ж — чей?» — спросил кто-то из-за стола. — «А бывший господский. Они теперь, где покормить могут, там и толкуются», — сказал чувствительный Марей, и мальчик отошел от порога в сени и заплакал. Я был этот мальчик, я сам...

* Какая удивительная и характернейшая для С. С. черта: даже и это совершенно невероятное явление готов он связать лично с собой! Что за безграничная самость!! Знаю, что этого обычно не делают рассказчики, но позволю себе и наперёд, прерывая отчасти повествование, делать подобные сноски, когда передавать равнодушно мысли С. С. станет мне неловко.

— И неужели ты действительно верил всему недоброму, что написал про душевные свойства нерусских: немцев, французов, поляков? О меркантильности, которой одной они будто и жили. О милосердии, которого будто им недоставало. Милосердие! Русский умиляется до слёз на судьбу какой-нибудь внезапной вдовы, а рубля в помощь, если под рукой нет, для нее не добудет, потому что либо остынет в своем порыве, либо не пронесет раздобытого мимо кабака. А немец с сухими глазами вульгарно похлопает сироту по спине, но марок пять выложит или специально схлопочет, на которые она с семьей просуществует два дня. И письмо какое-нибудь самонужнейшее порученное отправит, хотя бы нужно было для этого невесть куда топать, а русского Христом-Богом моли — забудет!!

— Но я мельчу, мельчу, виноват!... Ты приписываешь русскому человеку множество добродетелей в особом, как это у тебя записано, «самом привлекательном и гармоничном соединении». Как наперекор это твоим же утверждениям, что, скажем, «подпольный человек есть главный человек в русском мире», что нет у русского «потребности уважать другого», что, наконец, в нем «мрак и свет вместе» — это уж о народе в целом... Гармония в душе русского человека! Какая поразительная слепота! Глядел ты в эту душу, закрывши глаза? И в какой реторте, спрошу тебя, складывалась собственная твоя душа? Была она антирусской? Почему ей, твоей душе, суждено было всю жизнь тщетно мечтать о гармонии, а русской душе дана была эта гармония с молоком матери? И что — бесы, которых ты преодолевал, были твоими личными спутниками? Зло, которое ты ощущал в себе, было твоим только, личным Злом? Почему так однобоко разгадал ты русского человека? Помог ты ему этим или скорей погубил, отняв у него волю и способность делаться лучше?..

— Но я отошел от главного. Нет, я, конечно, знаю твою поправку: ты собственной смятенной душе противопоставлял *народную* душу, ее возводил на непостижимый пьедестал. «Идеал красоты человеческой — русский народ» — записал

ты в одной из своих тетрадей. Откуда, откуда такое неслыханное превознесение? «Как в святыню верую в душу народную». Веровать — не значит знать. А ты только веровал, когда так непонятно, так произвольно отделял эту душу от своей собственной, от души «семинаристов», которых обличал («семинаристы — это нужник общества») как некое словно бы и не народное тело... Придумав «особость» русского народа, ты и всю его историю рассудил со стороны этой «особости», осудил Петра, потому что Петр, ее не увидев, стремился вровнять россиян в европейское культурное общежитие на равной ноге. О, если бы мог этот народ почувствовать себя с Западом на равной ноге! Помог или помешал ты ему это сделать?..

— Но — оставим это! «Христос, может быть, единственная любовь русского народа», и «вся идея его заключена в служении Христу, в жажде подвига за Христа», — вот на чем у тебя всё построено!

— «Народ — богоносец!» Народ единственно глубокого, единственно чистого христианства!

— Неужто, пройдя Гималаи сомнений сам, ты никогда в этом своем утверждении не сомневался? Да, сомневался, конечно же. Взволнованно, с красными пятнами на щеках, вероятно, читал на собрании заговорщиков, которых после вместе с тобою поставили на эшафот, — читал слово за словом из знаменитого письма: «По-вашему, русский народ самый религиозный народ в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе зад...» Потом, на каторге, снискал ты другое откровение, но когда ж и где была настоящая правда?

— Жажда Христа, жажда духовного подвига, любовь к ближнему — как вяжется всё это с тем, что, спустя всего полстолетие, народ-богоносец принялся неистово истреблять своих мыслящих братьев и наставников, обучавших его духовности? «Если власть изменит православию, то народ изберет другую», — записал ты в тетради. Не избрал! Клубы и свалки в храмах, сорванные кресты и церковные развалины, эта «добыча кир-

пича по способу Ильича» на нужды колхозных коровников — как это всё вяжется с твоими предсказаниями? Где была она, русская религиозная Вандея?

— Я не утверждаю, Боже сохрани, вслед за Белинским атеизм русского народа, но откуда взял ты его исключительную религиозность? Гениально раскрыв экстремизм его души в направлении «всё позволено», почему снабдил его полуангельским ореолом? Построил на этом и его необыкновенную вселенскую миссию? «Мы встретимся с Европой», «Мы произнесем в Европе такое слово, которое там еще не слышали...» «Последнее слово, — проповедовал ты, — скажут... разные Власы, кающиеся и некающиеся». Скажут ли? Некающиеся Власы Европу обошли *слева*. Стал бы ты *теперь* по-прежнему верить в их спасительное для нее предназначение? У нас для такой веры нет больше душевных сил — они истреблены страшным опытом и сомнениями, которых ты не мог знать, потому что ужасы Мертвого дома — ничто, бирюльки по сравнению с тем, что судила история нам...

— И еще раз: почему русский народной душе преимущественно была определена тобой богоносность? Раскрывая ее, эту душу, в «Братьях», расщепив ее на четыре слагаемые ипостаси — Разум, Страсти, Низость, Боголюбие, — почему именно боголюбию приписал ты преобладающее существо? Позволив своему Смердякову повеситься — почему не разглядел грядущей победоносной смердяковщины? Ведь когда Иваны, помирившись с докучающими им чертями, расчистили для смердяковщины поле действия, она, готовая на любую подлость и преступление, на любое холуйство, любую демагогию под дулом ли нагана или под гитару, заполнила собою все ранги исполнительского ремесла, захватила себе и творческое слово и искусство; возможных Алёш с молодых ногтей начала перековывать в то состояние, в котором великопостное благочестие сменяется порывом жрать колбасу...

— И вот оказалось, что возвеличенная тобою душа-богоносица давно уж отвернулась от любимого ею Христа, давно

уже — с Тем, Другим...* Да, да! Воля, тот продажный привратник души, который распахивает врата ее Дьяволу, — воля обладать и властвовать — от кого она?

— Не подумай, что беру на себя решать, где что — от Бога, и где — от Духа тьмы, но ты, на ком ответ пророка, ты можешь, ты должен решить...

— И последний, самый последний вопрос, в который включаю всё раньше сказанное: *возможно ли возрождение?* Скажи: может быть всё это — лишь чудовищная полувековая гримаса, судорога, которая минет, и, фигурально, по слову твоему, выражаясь: «лучший акробат, стоящий на голове, кончит тем, что пойдет, как все, на ногах»? Скажи: за двенадцатью разбойниками ты и сейчас видишь еще Иисуса, как его видел Блок — самый близкий тебе знаменосец духа смутного нашего времени?... Ответить на это — значит определить судьбу не одной только нашей родины... *Что есть и что будут русские?* Действительно ли от них ждать спасения мира, или они только нелепое бродило для огромной вселенской квашни Зла, удобрение для посева разложения и гибели человечества? Вот вопрос, и ты, зачинщик его, не можешь избежать ответа!..

(И, после молчания:)

— Неужели, неужели тебе *нечего* мне сказать? Нечем продолжить тобою же начатое?... Но если нечем — тогда тебе остается только *отречение*. Да, только отречься от провозглашенного ранее, только покаяться самому и смиренно принять от нас обратно доверие, которым когда-то встретили мы твои слова и которое теперь торжественно тебе возвращаем...**

* Всё во мне сдвинулось и заклокотало. Нет, нет! Душа миллионов, душа народа не может быть подчинена сатане! Нет, учат учителя, учительницы, лечат доктора, вдохновенный инженер конструирует новую машину, облегчающую человеческий труд, груди на косовице вдыхают медовую влагу трав... Готовность помочь, направить, устроить, спасти, создать, внутреннее жертвенное желание быть полезным, осмыслить этой полезностью собственное свое бытие — это от Христа, не от Дьявола, верю! И как может не видеть всего этого Сергей Сергеевич?

** Как это нелепо! Если сказанное явилось *таким* возбудителем духа — разве не было оно великим сказанным? И как можно от

.....
Сложившееся в эту паузу напряжение было — как перед взрывом, было — вакуум звука; потом, нарастая, стал наполнять этот вакуум бившийся в горле Сергей Сергеича лихорадочный, выжидательный пульс...

И вдруг вытек свет из дежурных голубых лампочек в кронштейнах, мигнул и тотчас зажегся, опять пропал, на этот раз уже надолго — кто-то из служащих ротонды давал, вероятно, нам знак уходить.

А когда лампочки забрезжили снова — кресло у входа в нишу было пусто.

— Вы видели? — задыхаясь повернулся ко мне С. С. — Он положил мне на плечи руки и поцеловал в губы. Видели???
Я не видел...

Л. Ржевский

гениального даже художника требовать каких-то окончательных рецептов и предсказаний? Разве художник — бюро погоды? А о Достоевском лучше всего сказал один английский поэт (запомните это, Сергей Сергеич!): «Построить человеческое общество на всем том, что рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим».

ВОЛЧЬЯ ВЕРНОСТЬ

Вольных пасынков рабской земли
Мы травили — борзыми, цианом,
Оплетали — обманом, арканом,
Ущемляли — презреньем, капканом,
Только, вот, приручить не могли.

Переязгнув ремни и веревки
Или лапу отхрупнувши, волк
Уходил от любой дрессировки,
Как велел генетический долг.

Ковылял с холодеющей кровью,
С волчьим паспортом, волчьей тропой
Из неволи в такое безмолвье,
Где хоть волком в отчаянье вой.

Чтоб, в согласии с предначертаньем
И эпохе глухой вопреки,
Волчьим пеньем и лунным сияньем —
Волчьим солнцем своим — одурманен,
В волчью яму свалиться с сознаньем
Обреченности, тайны, тоски.

Иль за обледенелую кочкой
Затеряться в российских снегах,
Околев с недоглоданной строчкой,
Словно с костью в цинготных зубах.

Николай Моршен



В осеннем сквере все чин-чином:
Бродяга на скамейке пьян,
И как хрусталь с бенедиктином
На солнце светится каштан.

Стою беспомощно-осенний,
Совсем рассеянный чужак,
И от осенних невезений
В душе и в мыслях кавардак.

Бредут влюбленные по скверу,
По листьям, как по янтарию,
А я шотландскому терьеру
О смысле жизни говорю.



Как жить — попробуй-ка ответить.
Как жить — попробуй предложить,
Жить, чтобы жизни не заметить,
Чтоб еле слышно жизнь прожить.

Прожить, как тополь у дороги,
Прожить, как у дороги куст,
Чтобы иной не знать тревоги,
Как только в ветре веток хруст.

Но и в твоей тишайшей доле
Не разминешься ты с бедой,
И дни отчаянья и боли
Придут своею чередой.

Иль невпопад ты что-то скажешь,
Иль где-то ступишь невпопад,
И над тобою жизнь, куражась,
Пойдет вразброд, пойдет не в лад,

Пойдет кидать куда попало,
Скачками из беды в беду,
Как колесо, что скачет шало,
С оси сорвавшись на ходу,

Пока в какую-нибудь яму,
Пока в какую-нибудь грязь
Оно не врежется упрямо,
На всем скаку остановясь!

Иван Елагин

СИРИУС

Не прошло трех месяцев, как в «единении царя с народом» обозначилась трещина.

— Началось с сапог, — говорил Степан Степанович Левкоев. — Приезжает Михаил Владимирович Родзянко в Ставку верховного главнокомандующего, а зачем — одному Богу известно. Казалось бы, нечего ему там делать. Но узнает, что в армии нехватка сапог. Сразу же — в позу Минина и Пожарского: — «Заложим жен и детей!» Сколько надо?

— Четыре миллиона пар.

Плёвое дело! Чтобы у стапятидесяти-миллионного народа не нашлось четырех миллионов пар!?!.. Надо только, чтобы ваше высочество письменно подтвердили, что такое количество действительно требуется. Ну, верховный дал такую бумагу и Михаил Владимирович с нею — в Петроград. Приходит к министру внутренних дел и просит разрешения на созыв съезда общественных организаций для производства сапог. Эта публика даже сапог не может сшить без конференций. А Маклаков ему — атанде'с. Я, говорит, не могу вам дать такого разрешения, это будет всемирным признанием неполадок в снабжении армии. А кроме того, вы под видом сапог начнете революцию делать.

Ах так!?!... С этого и пошло.

Другая версия принадлежала министру внутренних дел Маклакову. Главным виновником он считал Гучкова. Этот «хромой бес» оппозиции, при первых же выстрелах на границе, надел на рукав повязку с красным крестом и появился на театре военных действий. Газеты подхватили. Фотографии: «А. И. Гучков в действующей армии», «А. И. Гучков посещает перевязочный пункт под Мариамполем», «А. И. Гучков беседует с генералом Рузским». Маклаков знал, что пропадал он

не на перевязочных пунктах, а в штабах армий и корпусов — выведывал, спрашивал и когда вернулся в Москву — как с лобного места возгласил: «Война проиграна, если не создать быстрого поворота».

— За одни эти слова, его бы в Сибирь сослать! — скрежетал Маклаков.

В речах и разговорах, Александр Иванович освещал русские военные действия, как безнадежные и требовал допущения общественности к ведению войны. Когда ему сказали, что война — дело верховной власти и военного ведомства, что всякое непрошенное вмешательство недопустимо, он заявлял: «При существующем строе России прилично с войной не развязаться».

На докладе Маклаков сказал государю: «Умоляю ваше величество выразить Бьюкенену недовольство несоюзническим поведением Англии».

— Что вы имеете в виду?

— Зачем англичане не застрелили Гучкова в Южной Африке, а только в ногу ранили?

Министр имел успех. После доклада удостоен был милостивой беседы с императрицей в присутствии Вырубовой и великих княжен. Эра, маленькая собачка государыни, имела обыкновение бросаться из-под кушетки и хватать за ноги пришельцев. Сановные гости смертельно ее боялись. Но Николай Алексеевич владел полным диапазоном собачьих голосов от сен-бернарского баса до сопрано маленьких мосек. Атаку Эры он встретил ворчаньем разбуженного будьдога. Эра оторопела. Встав перед нею на четвереньки, министр гавкнул с вызовом начать диалог. Государыня и цесаревны много смеялись, когда Эра, заливаясь лаем, отступала перед надвигающимся чудовищем. Она позорно шмыгнула под кушетку, как только министр, налаявшись, запел петухом.

— Вы талант, Николай Алексеевич! — восхитилась Вырубова. — Вот бы вас верховным главнокомандующим сделать!

— Что вы, Анна Александровна! Где мне с немцами воевать! Со своими отечественными врагами едва справляюсь. Вот хоть бы вчера: слышу начальник санитарно-эвакуацион-

ной части, Евдокимов, смещен. И кем бы вы думали? Родзянкой. Велю соединить меня по телефону с военным министерством и спрашиваю Владимира Александровича, кто такой Родзянко, чтобы распоряжаться в пределах военного ведомства? А в ответ слышу вздох: «Дорогой Николай Алексеевич, до сих пор войны велись армиями и военачальниками; по новейшим теориям воюет весь народ. Удивительно ли, что и командовать позволено всякому, кто захочет. А про Родзянко сами знаете. С первых дней войны рвется, как строптивый конь из упряжи, проявить себя хочет — ездит на фронт, посещает Ставку, бывает в штабах и во всё нос сует». Но как, говорю, сумел он, всетаки, сместить Евдокимова? Как Вы могли допустить это? Опять вздох. «Фронт мне не подчинен, а у Родзянко такие мощные покровители!...»

Александра Федоровна, внимательно слушавшая, выпрямилась в кресле.

— Что же это за покровители?

— Ваше величество, председатель Думы ездил к вдовствующей государыне и сказал, что военно-санитарное ведомство не приспособлено к выполнению своей задачи, нет ни повозок, ни лошадей, ни перевязочных средств.

При упоминании *dear mother*, Александра Федоровна вспыхнула, сжала и без того плотно сжатые губы. А Маклаков продолжал: — Родзянко внушил ее величеству, будто добровольные санитарные организации, вызванные к жизни всеобщим патриотическим подъемом, оборудованы гораздо лучше и располагают всем необходимым, но генерал Евдокимов и чины военно-санитарного ведомства видят в них конкурентов и тормозят их работу. Картина написанная председателем Думы так взволновала государыню, что она телеграфировала верховному главнокомандующему и Евдокимов был смещен.

По уходе Маклакова, Александра Федоровна приказала собрать сведения о случае с Евдокимовым. Николай Петрович Саблин встретился «случайно» на прогулке с генералом Волковым, начальником канцелярии вдовствующей императрицы. Зашла речь о Родзянко и о фаворе его у старой государыни.

— Что вы! Какой тут фавор! То был простой акт челове-

колюбия со стороны ее величества. Вы знаете, что происходило на Венском вокзале в Варшаве? На перронах, под осенним дождем, без подстилки, без соломы восемнадцать тысяч человек стонали и умоляли о помощи. «Мы пятый день не перевязаны!» Когда явился Родзянко, он вызвал по телефону местных руководителей санитарного ведомства — Данилова и моего однофамильца Волкова. Оба заявили, что у них никакого медицинского персонала нет. А Родзянко сказал, что при посещении одного лазарета видел шесть свободных врачей и тридцать сестер. Данилов наотрез отказался пустить их в дело, они предназначены для формирующихся санитарных поездов. Тогда Родзянко предложил составить поезда-теплушки и вывезти несчастных вглубь страны. «По распоряжению верховного начальника санитарной части, — сказал Данилов, — раненые должны следовать внутрь страны не иначе, как в санитарных поездах, а их у меня всего около восьми». Тут Родзянко дал волю своему голосу. «Буду жаловаться! Буду требовать предания суду!..» Только благодаря ему и вмешательству и помощи нашей государыни спасены эти восемнадцать тысяч страдальцев.

Слова: «нашей государыни» произнесены были так, чтобы не оставалось сомнения о которой из двух идет речь.

— Дорогая матушка начинает, кажется, командовать на фронте, — сказала Александра Федоровна императору. — И почему ты позволяешь Родзянке и Гучкову ездить в действующую армию и распоряжаться там?

«Трещина» распространилась на царскую семью, как усиление неприязни между невесткой и свекровью, как отдаление от императорской четы великого князя Николая Михайловича, великих княгинь Елизаветы Федоровны, Марии Павловны с ее «выводком» и Николая Николаевича с его «галками». Всех их Александра Федоровна отнесла к «общественности».



В 1915 год царская семья вступила несчастливо.

Второго января стало известно о крушении поезда шедшего из Царского Села в Петроград. Дворцовый комендант

запросил начальника железнодорожного полка, не было ли в поезде особ принадлежащих ко двору и к дворцовому ведомству? Вечером он позвонил в Александровский дворец и просил дежурного флигель-адъютанта доложить государыне, что в числе пострадавших значится фрейлина Вырубова. Ее чуть живую вынули из-под вагона с переломленными ногами и поврежденной спиной.

Государыня заплакала.

— Ники! Это был наш верный друг! Я знаю, это Бог покарал нас, за то, что я ревновала ее к тебе.

Около полуночи, истекавшая кровью, насквозь прозябшая на 20-градусном морозе, Вырубова доставлена была в вагоне-теплушке в Царское Село. Вместе с августейшей семьей, на перроне собралась толпа придворных и чинов дворцовой охраны. Великие княжны залились слезами при виде мертвенного лица глянувшего на них с носилок. Императрица села в санитарную карету, чтобы сопровождать больную до лазарета, держала ее голову, а Вырубова шептала, как ей сладко умереть на руках у ее величества. Наутро царская семья собралась у постели больной. Княжна Гедройц, начальница лазарета, впрыскивала ей камфару и строгим тоном приказывала быть бодрой. — Вы должны жить! — кричала она ей в ухо.

Анна Александровна часто впадала в беспамятство.

— Аня, хочешь ли видеть государя?

— Видеть его? Какое счастье!...

Государь взял ее за руку и сказал, обращаясь к плачущим старикам Танеевым. — У нее есть сила в руке.

Княжна Гедройц торопилась с причащением. Больная за полчаса до этого выразила это желание и священник стоял уже в палате.

Приняв причастие Анна Александровна снова впадала в беспамятство. Княжна шепнула, чтобы шли прощаться с умирающей. До вечера не доживет. Но только что мать с отцом хотели подойти, как в покой вошла черная фигура в сапогах, в поддевке и не взглянув ни на кого, подошла к постели. Все узнали старца.

Взяв больную за руку, он, голосом от которого многие

вздрыгнули, закричал: — Аннушка! Проснись! Взгляни на меня! Проснись, Аннушка!...

Все ждали что будет. Сомкнутые веки нехотя открылись.
— Отец Григорий! Ты?... Слава Богу!

Она улыбнулась. Старец бледный и тоже похожий на вставшего из гроба обернулся к присутствующим. — Поправится. Жива будет.

При общем молчании, шатаясь, он вышел из палаты и грохнулся едва переступив порог. Первой опомнилась царица.

— Скорей! Скорей! Поднимите отца Григория!

Санитары уложили его на клеенчатую кушетку.

Лицо, борода, волосы, шелковая рубашка были мокры от пота.

Очнувшись, Григорий Ефимович не мог пошевелить ни рукой ни ногой. Прошло не меньше получаса, прежде чем силы вернулись к нему. Государь стоял смущенный, а у государыни лицо светилось.

Пошел слух о чуде исцеления. Вспомнили начало карьеры старца, лет двенадцать тому назад, когда у великого князя Николая Николаевича заболела лягавая собака в Першине. Ветеринар не мог ничего поделать, предложил выписать «заговорщика» из Сибири. «Заговорщик» приехал, заговорил и спас собаку. Это был Распутин. Целительную деятельность он перенес на людей. С его помощью поправилась герцогиня Лейхтенбергская, будущая жена великого князя, проживавшая в Першине. Говорили, что черные оккультисты передали ему коллективную силу гипноза и останется она при нем, пока белые оккультисты не снимут.

— Интересно, каким образом он приехал? — спрашивал дворцовый комендант, — ведь поезда в то время не было.

— Он не поездом прибыл, а в автомобиле.

— Так ведь ему отказано в казенном автомобиле.

— Это был автомобиль графини Витте.

— А!... Вот откуда ветер дует!

Спиридович рассказал, как родители Вырубовой, оповещенные о катастрофе, застали дочь лежащей в маленькой сторожке, куда ее перенесли после того, как вытащили из под

вагона. Там она кричала от невыносимых болей и часто поминала отца Григория. Но мать слышать о нем не хотела, торопила, чтобы Аню, как можно скорей перевезли в Царское Село. Распутин узнал о несчастье наутро. Сообщила и предоставила свой автомобиль графиня Витте.

На третий день старец явился снова навестить больную.

— Слышали? Слышали? — возмущались петербургские дамы, — вошел в палату, а Вырубова голая лежит! Бесстыжая!...

Отцу Григорию очень хотелось благословить раненых офицеров. Он попробовал зайти к ним в палату, но со всех коек закричали:

— Пошел вон, мерзавец!

Визиты старца в лазарет сделались реже.



А в Петербурге на Гороховой — шумные вечеринки с гитарой, с пением, с женским визгом, с топотом от которого в нижнем этаже штукатурка сыпалась. Наутро Вырубовой посылалась телеграмма: «Хотя телом не был, радуюсь духом, чувство мое, чувство Божие».

Варвара Алексеевна Нищенко уплатила ему 2000 рублей за освобождение своего дяди полковника призванного из запаса. С проектом подряд по поставке белья для войск явилась Евгения Карловна Ежова.

— Большое дело, Григорий Ефимович, довольны останетесь. Только надо будет съездить в Москву.

— В Москву, так в Москву! Давно не видал ее матушку.



Раз как-то к старцу явился красивый мужчина средних лет. Не говоря ни слова, снял бобровую шапку и шубу, бросил на диван, взъерошил волосы и устремив на Дуню взгляд, от которого та попятилась, начал демоническим голосом:

Теперь, как раз тот колдовской час ночи,
Когда гроба зияют и заразой
Ад дышит в мир; сейчас я жаркой крови
Испить бы мог и совершить такое,
Что день бы дрогнул. Тише!...

У Григория Ефимовича глаза сощурились. Одни щелки. Хлопнул себя по бедрам. — «Ах милай! Да до чего же ты!... Вот люблю!... Дай обниму!...» Крепкий запах вина усилил любовь к незнакомцу.

— По сродству душ, Григорий Ефимович! По сродству душ!

— Вижу! Вижу! Сила твоя в духи!.. Да кто ты такой?

— А вот и не хорошо, что спросил. Надо было без визитной карточки. Впрочем, изволь: артист императорских театров Мамонт Викторович Дальский.

— Артист? Ах милай! Да я и сам артист. Во как!... Дуня, чего стоишь? Поворачивайся!

— Чаю прикажете?

— Вот дура! Ты нам такого, чтобы душа веселая была!...

Бобровая шапка и шуба дотемна дожидались в прихожей хозяина, а вечером оба артиста шумные, веселые вышли из кабинета и уехали на рысаке.

Аня поправлялась тяжело и капризно. Жаловалась на сестер, что переворачивают грубо, что княжна Гедройц хочет ее смерти. Просила государыню молиться дабы Господь взял ее скорей. Несчастье с Вырубовой показалось Александре Федоровне испытанием посланным свыше.

Когда император уехал опять в Ставку, она терпеливо сидела возле больной, слушала и ненавидела ее жалобы, ее умиравший голос.



Вернулся из заграничной поездки министр финансов Барк. Граф Витте, отговаривавший его от этой поездки, теперь поздравлял и приветствовал.

— Bravo! Никак не предполагал, что вам удастся добиться такого успеха.

— Но знали бы вы, Сергей Юльевич, чего мне это стоило! С Лойд Джорджем еще можно было иметь дело, но в какую тину мелочных, крючкотворных расчетов и уловок приходилось погружаться в переговорах с Рибо! Этот человек с наруганностью профессора рожден быть не министром финансов, а менялой и ростовщиком. Обмануть, обсчитать — вот его эстетика.

Услышав о таких речах государыня захотела узнать больше. Ей поведали как после долгой, изнурительной борьбы, Барку удалось добиться предоставления России кредита в миллиард рублей. Но какой протокол составлен был Рибо по этому поводу! Он был полон казуистических виньеток лишавших его практического содержания. Идеально канцелярские формулы грозили лишить русского министра плодов всех его усилий. Хитрость обнаружилась, когда проект протокола представлен был ему на подпись.

— Это, вероятно, по канцелярскому недосмотру, господин министр, проскользнуло не вполне точное изложение постановлений конференции?

Рибо начал убеждать, что текст прекрасно ограждает русские интересы. Русскому казначейству, ведь, не сразу же потребуется вся эта сумма; когда же возникнет необходимость в тех или иных заграничных платежах, оно может быть вполне уверено, что союзники окажут ему надлежащее содействие. Понадобилось добрых полтора часа и всё упорство Барка, чтобы настоять на изъятии из протокола «мошеннической» формулировки.

Ни последовавшее за этим награждение орденом почетного легиона, ни любезные речи и приемы не побороли отвращения и возмущения маклерством деятелей третьей республики. Императрица осталась довольна. Пусть Ники знает, какие у него союзники.

Но министру финансов выпало на долю быть вестником неудач. Побывав в Ставке по ведомственным делам, он вернулся оттуда сам не свой. Явился к военному министру.

— Я, Владимир Александрович, дал слово в Барановичах никому не говорить, что узнал. Но вижу, что такое же слово взято не с меня одного. Полагаю не будет с моей стороны преступлением доложить о ней военному министру. Генерал Янушкевич прямо сказал мне о неизбежности отступления и сдаче врагу всего отнятого у него. Мы безоружны, у нас нет снарядов, ружейных патронов. Последние боеприпасы израсходованы в боях у Мазурских озер и в Августовских лесах. А немцы переносят главные свои усилия с Запада на Восток. Они уже закончили переброску войск и теперь готовят удар по нашей армии. Это так ошеломляюще, что я места себе не нахожу.

— Да, любезный Петр Львович, хоть Ставка не посвящает меня в свои дела и планы, но неизбежность катастрофы, к которой она подвела русскую армию, мне известна. Молись Богу, чтобы всё обошлось потерей территории и военного имущества, а не гибелью сотен тысяч людей.

— Опять сотен тысяч?! Господи! Когда же мы перейдем к меньшим масштабам потерь?

— Увы! Нет таких жертв, которых не принесли бы мы в угоду союзникам. Известно ли вам, что по настоянию офицера присланного в ставку генералом Жоффром, французам удалось навязать нам новый ненужный поход в Карпаты. Я умолял государя на докладе отменить это роковое решение. Я прямо сказал: «Карпаты — это западня, мы там погибнем». — «Но я уже подписал», — ответил его величество. Потом я узнал стороной, что император приехал, однажды, в Ставку в хорошем настроении, был добр и быстро согласился на уговоры великого князя и Янушкевича. Государь и прежде был щедр на подписи — подписал Бьёркский договор с Вильгельмом, подписал манифест 17 октября...



Говоря о предстоящем русской армии ударе, Сухомлинов совсем не ждал удара обрушившегося на его собственную голову. Пришла весть об аресте подполковника Мясоедова в

Ковно. Что-то ноющее, как проснувшаяся боль в пояснице, испортило министру настроение. Гучковская и суворинская печать, еще четыре года тому назад, обвиняла Мясоедова в шпионаже и тогда уже связывала его имя с именем Сухомлинова.

По сведениям Зотимова, личного секретаря министра, арестован Мясоедов контр-разведкой на основании показаний подпоручика Якова Колаковского, выпущенного из немецкого плена. Снабженный деньгами и документами, он должен был, вернувшись в Россию, взорвать мост под Варшавой и убить верховного главнокомандующего. За взрыв обещали двести тысяч, за убийство — миллион. Отправляя его на родину, немцы рекомендовали обратиться там к жандармскому подполковнику Мясоедову, давнишнему немецкому агенту и получить от него нужные сведения.

Сухомлинов понял все. Дело затеяно против него. Делом руководит Ставка и ведет его в ускоренном порядке. Направлено оно не в Петербург, не в Москву и поручено не военному юристу, а следователю по важнейшим делам варшавского окружного суда. Военному министру ничего не доложено. Все устроено, чтобы «обтяпать» дело вдали от столиц.

После каждого разговора с Зотимовым, министр подолгу отлеживался на диване. Екатерина Викторовна, погруженная в лазаретные дела, не допытывалась причин хмурого вида мужа, готовилась к устройству базаров и танцевальных вечеров с крепкими напитками для увеличения сбора средств на раненых.

— Бедная! Бедная! — думал он — И на нее польется грязь!

Вспомнил, что Мясоедов был одним из энергичных помощников Екатерины Викторовны в разводе ее с Бутовичем. Теперь, конечно, вспомнят и других помощников — Багрова, убийцу Столыпина, Альтшуллера — австрийского консула в Киеве, объявленного тоже шпионом. От одного перечисления их имен становилось мутно на душе.

Как и следовало ожидать, газеты не замедлили подхватить

случай с Мясоедовым. «Недостаток снарядов» стал упоминаться вместе со словом «шпионаж». Подняли голову личные враги Сухомлинова.

Андроников и Червинская обошли все дома, вынесли все тайны его квартиры. Петербург, столь недавно близкий и любезный, начал дышать холодом, враждебно замыкаться. Червинская открыла у себя «пародию на салон», прибежище всех врагов и недоброжелателей министра. Там бывали — Варун-Секрет, товарищ председателя Государственной Думы, полковник Булацель, Каламнин и, конечно, Андроников.



В день отъезда царя в ставку, 28 февраля, умер граф Витте. Во французском посольстве ликование. — «Большой очаг интриг погас вместе с ним» — телеграфировал в Париж Морис Палеолог. Пуанкаре, как стало известно Сазонову, воскликнул: — «Эта смерть имеет для Антанты значение выигранного сражения». Едва ли не больше всех радовался император Николай Александрович. Тому же Палеологу, приехавшему через три дня в Ставку вместе с французской военной делегацией, он сказал: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением, я увидел в ней знак Божий». Жене писал, что сам удивляется своему прекрасному настроению. Происходит ли оно от того, что перед отъездом он беседовал с «другом» или от известия о смерти Витте? Уверял, что «в сердце его царит истинно-пасхальный мир».

Квартира графа Витте была ненавистнее неприятельской штаб-квартиры. Ядовитые речи и приговоры стрелами летели оттуда и попадали в самые чувствительные места.

— Горькая судьбина государя императора в том, — говорил Витте, — что он родился царем. Это все равно, что безнадежно глухого сделать капельмейстером. Он обыватель по природе. Недаром, единственный костюм, в котором он выглядит хорошо, — это обыкновенный штатский костюм. Все остальное ему — как с чужого плеча. У него нет ни элементарных качеств правителя, ни чувства ответственности. Не-

ограниченное самодержавие он понимает не как государственно-политический принцип, а как личную прерогативу. Он не мыслит государственно и ни одной проблемы обдумать не в состоянии. Уроки его царствования не пошли ему впрок. Сомневаюсь, чтобы легкомыслие, с которым затеяна была японская война, осознано им. Зловещий 1905 год не был им понят и не зародил спасительного беспокойства. Немцы на глазах у него ковали оружие, говорили «иду на вы», он ухитрился пальцем о палец не ударить, чтобы достойно встретить врага. Не понимал даже неизбежности столкновения, иначе давно бы прогнал Сухомлинова, носившегося с идеей постройки крепостей на Дальнем Востоке и разорявшего русские крепости на западной нашей границе. Этот герой приходивший в ярость от одного выражения «современная война» не прочел ни одного нового труда по военному делу. Талантливых и образованных военных разогнал и держал в отдалении. Государь это знал и терпел. — В нем! Все в нем! Не будь его, могла бы существовать хоть маленькая надежда. Но он погубит Россию. Мои дни сочтены, я не узнаю конца трагедии в которую втянута несчастная Россия, но тяжело умирать не видя просвета и зная, что развязка своими ужасами превзойдет все, что можно себе представить.

Императору известны были эти речи, но истинная причина неприязни к покойному заключалась в другом. Еще семилетним мальчиком, сидя в уголку он видел, как из кабинета его матери выходила фрейлина фон Флотов с ясным лицом, с очаровательной улыбкой и как мгновенно, стоило закрыться двери за ней, лицо ее сделалось надменным неприступным. — Вот ты какая!

Ники долго хотелось уколоть ее булавкой или облить чернилами платье. Он с детства ненавидел сильных людей и чужое «я» отпечатанное на лицах. Всякое «я» было дерзостью и вызовом. Особенно он чувствовал гнет — Витте и Столыпина. Какое облегчение испытал он два года тому назад, когда убит был Столыпин! Теперь ушел другой зверь, сила которого ощущалась даже на большом расстоянии.

Приехав в Ставку, император с особым наслаждением сидел по утрам в своем вагоне за стаканом чая, наблюдая в окно, как шапки снега падали с сосен, слушая, как перекликались синицы. Как хорошо курить, смотреть вглубь леса и ни о чем не думать! Пасхальный мир царил в его душе.

Взволнованной походкой спешил к вагону великий князь Николай Николаевич. Взят Перемышль. Явились Петр Николаевич, Кирилл Владимирович, пришли граф Фредерикс, Воейков, Нилов, князь Орлов, вся свита. Из поезда отправились в церковь для благодарственного молебна. В этот день Николаю Николаевичу была пожалована бриллиантовая шпага. — «За завоевание Червонной Руси».

Вечером пышный обед. Шампанское Абрау Дюрсо. Кроме государя, все знали, что дай Бог, если Перемышль пробудет в русских руках месяца два-три.



На столе в зеленом кабинете — конверт с такой знакомой и дорогой надписью. Государь поцеловал ее. Но когда распечатал — чуть не выронил из рук.

— Посылаю тебе письмо от Маши (из Австрии), которое ее просили тебе написать в пользу мира.

У царя закружилась голова, как у мужа внезапно убедившегося в измене жены. Он вспомнил фрейлину Васильчикову, проживавшую по большей части в Австрии, в своем имении Глогниц возле Клейн Вартенштейн. При объявлении войны австрийцы не тронули ее. Маша писала о подосланных к ней «троих», убеждавших ее довести до сведения императора о целесообразности начать мирные переговоры с Германией и Австрией.

Неужели Аликс, не сказав ему ни слова, могла вести такую переписку? И это после торжественных заверений — не начинать переговоров с врагом и не заключать мира отдельно от союзников?

— Я, конечно, более не отвечаю на ее письма, — уверяла царица.

Значит прежде отвечала, значит письмо от Маши — не первое... Император почувствовал, что краснеет. Теперь понятно, почему Палеолог, по словам Сазонова, с кем бы из русских ни встречался, заводил странные речи о «зловещем ангеле мира».

— К чести русских, — прибавлял Сазонов, — все как один с негодованием отвергали мысль о каком бы ни было сговоре с Германией.

— Неужели одна императрица преклонила слух к напештываниям из-за границы? Всякое другое лицо немедленно было бы взято под подозрение военной разведкой. Быть может разведка уже знает?... Знают союзники?...

Когда государственная практика ставила императора в тупик, он отодвигал неприятное дело в сторону. Были случаи, когда прерывал на середине доклад министра, если видел, что он клонится к чему то тяжелому, нарушающему его душевный мир. Но сегодня так нельзя было. Перед судом совести предстала его собственная жена — царица всяя Руси. Никогда в ней не было душевной червоточины. Все прожитые с нею двадцать лет она была такой же чистой, непорочной, как тогда в Кобурге, в день их помолвки. Ах этот день!... Он был в то же время днем свадьбы ее брата Эрнеста. Съехалось столько царственных особ! Прибыл он, Николай, наследник российского престола, со своими дядями Владимиром, Павлом, Сергеем Александровичами, с тётками Елизаветой и Марией; прибыла королева Виктория, кузен Вилли с императрицей, куча немецкой и английской родни. Приехали не на свадьбу Эрни и Даки, а на помолвку Николая с Аликс. Она давно подготавлилась «всей центральной Европой» — Эрнестом Гессенским, его сестрой Елизаветой, императором Вильгельмом, королевой Викторией.

Виктория, как старая клушка, окруженная цыплятами, оказалась центром большой семьи, где не было их величеств и их высочеств, а были кузен Вилли, тетя Элла, тетя Мари, дядя Берти, дядя Чарльз и сама чадородная, чадолюбивая Granу.

Через месяц такой же съезд в Виндзоре. Опять весь выво-

док старой Виктории: дядя Берти с тётей Аликс, кузен Джорджи, все Баттенбергские. Вильгельма не было, но приехал Франц Фердинанд. Уже тогда молодому Ники пришло в голову, что цари, герцоги, императоры, не случайно называют друг друга «братьями». Это родственный интернационал, независимый от стран и народов. Живет он не по «международному», а по своему собственному праву. Выше права. Преступление для подданных — не преступление для царей. Царица никому не подсудна. Весь груз сомнений разом свалился с души. Государь отправился на другой день в Царское Село и Сазонов доложил, что датский король Христиан тоже поднял вопрос в Берлине о заключении мира между воюющими странами.

— Враг пошатнулся и ищет путей выйти из борьбы, — говорил Сазонов. — Наша победа близка, ваше величество.

— «Победа близка...» — передразнивал его Распутин. — Мало ему окаянному русской крови пролито! А что в победе-то? Французам будет — не нам.

За несколько дней до Пасхи, император получил письмо из Глогница адресованное прямо ему.

— О, если бы пасхальный звон возвестил и мир! — писала Васильчикова. К ней опять приехали «трое». Германия и Австрия желают мира с Россией. Падение Перемышля окончательно делает царя победителем и заключение мира с побежденным врагом не накладывает на его честь ни малейшего пятна. А союзники — Англия и Франция уже строят ему козни. Из секретнейшего источника известно, что Англия намерена оставить себе Константинополь и создать в Дарданеллах новый Гибралтар. Японии она обещает Маньчжурию. «Мы просим русского государя, — говорили «трое», — произнести слово «мир» и ему пойдут всячески навстречу; и вопрос о Дарданеллах решен будет, конечно, не в пользу Англии».



На другой день Пасхи под колокольный звон появилось сообщение о казни через повешение подполковника запаса

армии Мясоедова. Ни в печати, ни в официальных речах имя военного министра не упоминалось, но он знал, что казнь Мясоедова послужила сигналом к новым мрачным толкам о нем, о Сухомлинове. Это он принял на службу шпиона и окружил себя вражеской агентурой. Министр стал реже показываться в обществе, утратил интерес к своим ведомственным делам и думал только о том, как бы излить душу самому государю. Но государь словно забыл о нем, страстно предался поездкам и не приглашал его в свой поезд. Доклады во дворце стали редки.



В дни царских поездок величайшим мучеником был начальник охраны — полковник Спиридович. Обойти оба поезда, заглянуть под каждый диван, проверить людей и необходимые бумаги, соединиться по телефону со всеми начальниками станций намеченного маршрута, и среди такой суеты, — в полной парадной форме, свиты его величества генерал майор Адрианов, московский градоначальник.

— Чем вызван такой внезапный приезд, ваше превосходительство?

— Ах, я знаю, вам не до меня. Но ради Бога, не оставьте без доброго совета. Хотя я и был уже на докладе у министра и получил согласие испросить аудиенцию у государя императора, но что-то подсказывает мне, что должен прежде посоветоваться с вами.

— Рад служить.

— Видите, Александр Иванович, дело тут такое, что не знаешь, как к нему приступить. Все было бы ничего, не будь такой широкой огласки. Вся Москва только и чешет языками... Слышали может быть?

— Никак нет.

— Ну приехал, ну погулял, ну и что такого?... Была некоторая непристойность, так мало ли чего не бывает? Не звонить же об этом с Ивана Великого?

— Ваше превосходительство говорите — непристойность была?

— Да как вам сказать? Мало ли когда человек подвыпьет. Да ведь и то верно, эти цыганки сами паскуды порядочные... Если б кто другой вместо Григория Ефимовича, так и разговоров бы не было. Составили бы протокол и вся недолга. А тут ведь шумят и шумят...

— Признаться, я еще не совсем понимаю, что произошло.

— Да что произошло? Этот «Яр»! Давно бы закрыть его; столько он мне неприятностей приносит. И ведь врут как! Говорят то, чего не было. Сочинили драку. Цыганы будто бы вступились за своих баб, а старец им: «Ах вы сволочь черномордая, недотроги! Да как вы смеете, если я саму царицу так хватаю!» Ну, подумайте, мог ли Григорий Ефимович сказать такое? Голову на отсечение...

— Позвольте, ваше превосходительство, когда это было?

— Да когда? Третьего дня. Григорий Ефимович сразу после этого и отбыл в Петроград. А мне вот пришлось вчера сесть на ночной поезд и тоже приехать. Дело-то не шуточное. Москва как с ума сошла: Яр! Яр! Распутин!... Все мои помощники ходят бледные. Надо, говорят, упредить... Очень важно, чтобы градоначальство доложило высшей власти раньше, чем полицейский рапорт поспеет. Вот и пришлось ехать.

— Но неужели, ваше превосходительство, о каждом кабацком скандале надо докладывать высшей власти?

— Да ведь лицо то какое!... И тоже пристав — дурак написал в протоколе: «обнажал свои половые органы...» Я его вызвал. Не мог, говорю, других-то слов подобрать? Дались тебе эти органы! «Да как же, говорит, ваше превосходительство, иначе то их назвать?» Болван! Написал бы какнибудь фигурально. Ведь и в писаниях святых отцов они упоминаются, а называют их благопристойно. Так подумайте, что мне этот дурак в ответ! Перекрестился и говорит: Бог с вами, ваше превосходительство, как можно такой грех на душу брать, чтобы церковными словами такую мерзость обозначать?» Ну что с такого возьмешь?

Спиридович задумался.

— А что министр сказал?

— Посоветовал ехать во дворец, добиться высочайшего приема и доложить о случившемся.

— А товарищ министра?

— Тоже.

— Ну, так если хотите, ваше превосходительство, знать мое мнение, то лучше вам этого не делать.

— Как так?

— Очень просто. Мужик наскандалил — привлекайте его к ответственности. Причем здесь государь император?

— Мужик!... Нет, так нельзя. Подумайте, лицо-то какое!

— А кто же он? Граф?

— Ну положим, что мужик, но мужик, так сказать... политический.

— А если он лицо политическое так и докладывать о нем должен министр внутренних дел или его помощник Джунковский.

Наклонившись к генералу и понизив голос, Спиридович продолжал:

— Мы с вашим превосходительством всегда были в добрых и простых отношениях, так позвольте выразить недоумение по поводу поведения министра и его товарища. В других случаях они ни за что бы не позволили нижестоящему лицу делать доклад по их ведомству, а тут предлагают вам.

— Вы думаете, тут что-то есть?

— Не к пользе это вашего превосходительства.

— Вот спасибо. Как хорошо, что я к вам зашел! Признать-ся меня самого беспокойство одолевало.



А по Петербургу ходил в подпитии Мамонт Викторович Дальский.

— Вот его-то мне и надо! — закричал он, увидав на Невском театрального критика Юрия Беляева. — Когда я не в духах, так критикам лучше не подходить. Испепелю! Но ты мне в самый раз повстречался.

— Нет, не в самый раз. Больше писать не буду. Хватит с тебя двух статей.

— Слушай не в том дело. Спасать надо. Выручать. Ведь это наш брат по духу... Написать такую небылицу в протоколе!... Я ведь сам там был, всё видел. «Плясал русскую» — это сущая ложь. Не плясал, а ходил в духе!...

Тут Дальский встал в свою любимую позу как в «Эрнани» и дал волю голосу.

— Понимаешь ли, что все экстатическое, что заключено в танце, явлено было с такой силой и божественным вдохновением, против которого нельзя устоять. Души присутствовавших прыгали в такт ему. А лицо являло ту оргиастическую благодать, о которой в наши дни совсем и забыли. Это был древний бог лесов, спутник Вакха. Он был дик, волосат, безобразен, но ведь такого и любили нимфы!

— А ну тебя к черту! Пойдем, а то видишь публика собирается.

— Нет постой! Поносят основы искусства, самый источник творчества!... Тут нужен протест всего артистического мира. Разве не оскорбительны слова протокола «обнажал свои половые органы»? То был предмет воздыханий и поклонения. Это была настоящая мистерия, когда старец, стоя в своей мужской красоте, как древний бог, начал раздавать хористкам и танцовщицам записки: «люби бескорыстно», «отверзайся», «я тебя съем». А молодая особа, приехавшая с ним в «Яр» и оплатившая все расходы по вечеру, стояла рядом, как жрица. И хор пел и плясал вдохновенно... Только дурак хозяин все испортил...

— Ей извозчик! — крикнул Беляев.

Н. Ульянов



Не увлекайся оторочкой,
Не кутай мысли в кружева, —
Пусть будут шиты крепкой строчкой
Необходимые слова.

И пусть в них тайны нет — и даже
Затейного узора нет, —
Но улыбнется друг и скажет:
Откуда этот тихий свет.



Когда ложится облако в долину,
Из мглы его жемчужной и слепой
Я ощупью взбираюсь на вершину
Легко и жарко дышащей тропой.

Туда, туда, где в солнечном уборе,
Как острова, хребты вознесены,
А подо мной клубится мягко море
Ничем неомраченной белизны.

Вот если б так же...

Я сижу на камне.

Впивает вереск ветра чистый мед...
Как хорошо, что эта жизнь дана мне, —
Как хорошо, что эта жизнь пройдет!

Лидия Алексеева

ИГОРЬ КАЧУРОВСКИЙ

Когда в слезах поднимешь к небу взгляд,
Осыпанному синими звездами,
То звезды расплываются над нами
И вниз скользят.

Как у Ван Гога: видишь город мгlistый,
Потёмки улицы, мазки огней,
И звезды растекаются пятнисто
Там, в вышине.

Нет, то не прихоть живописной позы
И не безумья темного удел:
Он так на эту улицу глядел —
Сквозь слезы.

Перевела с украинского Лидия Алексеева

ПЕРЕВОРОТ*



Через несколько дней после этого разговора директора одного из самых крупных банков столицы вызвали по телефону. Когда телефонистка банка спросила, кто вызывает директора, голос на другом конце линии сказал:

— Не задавайте ненужных вопросов и не теряйте времени. Дайте мне директора.

Она растерялась и переключила телефон на директорскую линию. Тот же голос, обратившись к директору, сказал:

— Мы получили сведения о том, что на ваш банк готовится нападение. Поэтому мы отправляем к вам нашего агента, который будет следить за тем, что происходит. Его фамилия Сико, он будет у вас через полчаса.

— Мне совершенно не нужен ваш агент, которого вдобавок я не знаю, — сказал директор. — У меня есть своя собственная система охраны и никаких посторонних людей в свое здание я не допущу.

— Вы меня неправильно поняли, — сказал тот же голос. — Мне не нужно ни ваше согласие, ни ваше разрешение. То, что я вам говорю, это распоряжение, а не просьба. Этот человек едет к вам. Выслушивать ваши соображения по этому поводу у меня нет ни времени, ни желания.

И телефон был выключен. Через двадцать минут в банк вошел мужчина среднего роста, с бледным лицом и синими глазами и спросил, где кабинет директора.

— Как ваша фамилия? — спросил его служащий, к которому он обратился.

— Не задавайте вопросов, — сказал этот человек совер-

* См. кн. 108, 107 «Н. Ж.»

шенно безличным голосом. — Где кабинет директора? Это всё.

— Директор принимает только по предварительному приглашению, — сказал служащий.

— Я вас спрашиваю в последний раз, где кабинет директора? — сказал посетитель. — Неужели это так трудно понять? Я вас не спрашиваю, когда он принимает или не принимает. Где его кабинет?

— Я повторяю...

Тогда посетитель оттолкнул служащего и стал подниматься по лестнице на первый этаж. Войдя в коридор, покрытый ковром, он увидел несколько дверей и на средней из них надпись с фамилией директора. Он отворил эту дверь и вошел.

— Кто вы такой и что вам угодно? — спросил директор, увидя его и поднимаясь со своего кресла.

— Моя фамилия Сико, — ответил посетитель. — Покажите мне расположение ваших помещений и потрудитесь сообщить вашим служащим, что все мои распоряжения должны выполняться немедленно.

Директор посмотрел на посетителя и испытал невольный и непобедимый страх. Эти спокойные синие глаза были, как ему показалось, глазами убийцы. И с этой минуты он беспрекословно стал слушаться своего посетителя. Он обошел вместе с ним все помещения, спустился в подвал, где стояли нескороаемые шкафы, показал, где сидят служащие. Человек этот внимательно выслушал его, потом выбрал себе место, за спиной одного из кассиров, и распорядился поставить туда кресло, на которое он сел. Там он молча, почти не двигаясь, просидел до закрытия банка.

На следующий день он пришел утром и снова занял свое место. Потом он обратился к кассиру и сказал:

— Если что-нибудь произойдет, я скажу вам, что надо делать, и это нужно будет сделать немедленно. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил кассир.

— Приятно иметь дело с человеком, который сразу понимает, что ему говорят, — сказал посетитель. — Этого нельзя

сказать о некоторых ваших сослуживцах, в том числе и о вашем директоре.

— Наш директор очень хороший человек, — сказал кассир.

— Может быть, но соображает он медленно.

Весь день этот человек просидел молча и почти не двигаясь. Из банка он ушел последним.

Директор не мог себе простить, что так легко согласился на то, чтобы ему послали этого человека, которому предстояло защищать банк в том случае, если ему будет угрожать опасность. Но что может сделать один человек против хорошо организованной и вооруженной автоматами банды грабителей, состоящей из трех или четырех человек? Кроме того, откуда может быть известно, что на банк готовится нападение? И кто, в конце концов, с ним говорил таким повелительным тоном, какой он считал для себя оскорбительным? В прежнее время он позвонил бы премьер-министру или министру внутренних дел и выяснил бы все сразу. Но их больше не было. Вместо них у власти была какая-то анонимная, никому неизвестная группа людей, которых никто не выбирал и не назначал. Президент был, по-видимому, их пленником, хотя верховная власть теоретически принадлежала ему.

Он вызвал своего секретаря и сказал ему:

— Пойдите вниз и узнайте, там ли этот человек по фамилии Сико и что он делает. Если он там, пошлите его ко мне, я хочу с ним поговорить.

Секретарь спустился вниз — и сразу увидел Сико, который так же неподвижно и спокойно, как все эти дни, сидел в своем кресле.

— Директор хочет с вами поговорить, — сказал секретарь, — поднимитесь в его кабинет.

— Я не думаю, чтобы он мог мне сказать что-либо важное, — ответил Сико. — Но если ему непременно нужно поговорить со мной, скажите ему, чтобы он спустился ко мне.

— Вы забываете, что он директор, и он отдает распоряжения.

— Своим служащим — да, но не мне.

— Простите, — сказал секретарь, — кто вам дал право так разговаривать?

— Никто, — сказал Сико, — и это неважно. Вы мне надоели. Уходите отсюда и не мешайте мне делать то, что я нахожу нужным. Директору можете передать, что он мне не нужен.

Возмущенный секретарь с красным от волнения лицом вышел из помещения, где сидел Сико. Было уже без четверти четыре, и через пятнадцать минут работа в банке кончалась. И именно в это время стеклянная входная дверь распахнулась настежь, и в банк вошли три человека в масках. Двое из них держали револьверы, у третьего в руках был автомат. Тот, кто вошел первым, сказал:

— Руки вверх и не двигаться под угрозой смерти. Деньги мы найдем сами.

И тогда кассир услышал голос Сико, который тихо сказал:

— Ложитесь на пол и не двигайтесь.

Кассир буквально упал на пол, и в ту же секунду раздался выстрел, и там, где только что была голова кассира, просвистела пуля, которая вошла в стену. Одновременно с этим раздался один за другим, с необыкновенной быстротой, еще три выстрела. Потом голос Сико сказал кассиру:

— Теперь можете вставать, опасности больше нет. Вызовите по телефону полицию.

Сико направился к выходу. Заграждая путь к двери, на полу лежали трупы трех убитых в черных масках. Сико обошел их и вышел на улицу. Против банка, на другой стороне улицы стояла черная автомашина с заведенным мотором. Сико пересек улицу и подошел вплотную к автомобилю. Человек, сидевший за рулем, быстро взглянул на него и увидел направленное на него дуло револьвера. Не повышая голоса, Сико сказал:

— Повернись ко мне лицом.

И когда человек повернулся, как ему было сказано, Сико вынул левой рукой из его кармана заряженный револьвер.

— Теперь работа кончена, — сказал он. — Тебе повезло, ты остался жив. Твои товарищи уже наверное в аду, в гостях у сатаны. Но зато ты нам все расскажешь. Выходи из машины.

В это время подъехал санитарный автомобиль и полицейская машина. Сико в сопровождении человека, у которого он отобрал револьвер, подошел к вышедшему из автомобиля полицейскому инспектору и сказал:

— Этого субъекта надо пока что доставить в комиссариат — я приду за ним позже. А санитарный автомобиль — это напрасно, лучше бы катафалк.

— Кто был убит?

— Трое в масках, которые хотели ограбить банк.

— Кто их убил?

— Я.

— Вы пойдете со мной в комиссариат, — сказал инспектор, — мне нужно ваше подробное показание. У вас есть свидетели?

— Все служащие банка, — сказал Сико. — Но у меня нет времени ехать с вами в комиссариат, я должен сделать доклад о том, что произошло, моему шефу.

Он вынул из кармана синюю карточку в кожаной рамке и показал ее инспектору. Инспектор посмотрел на нее и сказал:

— Простите, я не знал, с кем имею дело. Вы можете дать показания тогда, когда вы найдете это удобным. Мы всегда к вашим услугам.

Через час Сико вошел в комиссариат и сказал:

— Приведите мне этого субъекта, который был шофером банды. Кстати, кто эти люди?

— Вернер, Бут и Кронский, — сказал инспектор. — Все они профессионалы, много раз судившиеся. Грабежи и убийства. Но это только часть банды, Вернер был во главе всей организации.

— Мы сейчас постараемся узнать все подробнее, — сказал Сико. И когда привели шофера в наручниках, Сико спросил его:

— Как твоя фамилия и где ты работаешь?

— Я буду отвечать только в присутствии моего адвоката, — сказал шофер. Сико внимательно посмотрел на него и сказал:

— Я вижу, что ты не понимаешь, в каком ты находишься положении. Ты должен ответить на все вопросы, которые тебе будут заданы. Тогда, может быть, у тебя есть еще шанс попасть в тюрьму и провести там несколько дней. Но если ты будешь настаивать на том, чтобы вызвали адвоката, то допрашивать тебя мы будем иначе, чем теперь, и никакого адвоката ты вообще больше никогда не увидишь.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что клиентом адвоката может быть только живой, а не труп. Понятно?

Через некоторое время у полицейского инспектора был в руках список всех членов так называемой организации Вернера со всеми адресами. Их было еще восемь человек, и к вечеру они были все арестованы.

Вечером следующего дня, когда Сико возвращался к себе домой — он жил на окраине города — он увидел двух молодых людей, очень небрежно одетых, которые догнали шедшую перед ними пожилую женщину. Один из них прошел вперед, остановился и подставил ножку женщине, а второй сзади толкнул ее в спину. Она тяжело упала и заплакала. — Что это такое? Что это такое? — повторяла она. На лице ее были ссадины, лицо было в крови. Молодые люди стояли рядом и смеялись.

Сико подошел к женщине и помог ей встать. Потом он обратился к молодым людям и сказал:

— Идите со мной, я хочу с вами поговорить.

Один из них подошел к Сико вплотную и сказал нецензурную фразу. Сико сделал быстрое движение, и молодой человек тяжело упал на тротуар. Его товарищ повернулся и быстро начал уходить. Голос Сико остановил его:

— Еще один шаг, я стреляю.

Молодой человек остановился. — Иди сюда, — сказал Сико. Он остановил проезжающее такси, впихнул туда пер-

вого молодого человека, потом второго и дал адрес ближайшего комиссариата полиции. Когда они приехали туда, первый молодой человек пришел в себя. Молодые люди стояли рядом, за ними стояли два полицейских. Сико сидел на стуле за столом. Он сказал:

— Ничего не может быть подлее, чем нападать на старую женщину. За такие вещи надо людей наказывать.

— Тебя никто не просит давать нам уроки морали, — сказал первый молодой человек.

— Во-первых, мне надо говорить «вы», — скаазл Сико. — Во-вторых, надо быть вежливым. Это в некоторых случаях вопрос жизни и смерти. Ты понял? Теперь так: вы оба отдохнете здесь и проведете ночь в комиссариате. Завтра утром я с вами поговорю.

Он ушел — и перед уходом провел несколько минут в разговоре с бригадиром полиции.

Когда он пришел на следующее утро, он едва узнал молодых людей. Костюмы их были залиты кровью, распухшие лица покрыты кровоподтеками, и было видно, что каждое движение им доставляет боль. Сико посмотрел на них, и на бледном его лице появилось нечто вроде улыбки.

— Теперь вы можете идти домой, — сказал он. — Я вас задерживать не собираюсь и не собираюсь также давать вам уроки морали. Но я вас предупреждаю об одном: если вы еще раз попадетесь, это будет последний раз. Потому что из комиссариата вас доставят в морг.

И, обратившись к комиссару полиции, он сказал:

— Вы можете выгнать отсюда эту падаль.



Манифестация началась в университетском районе города. Первые отряды полицейских были смяты и отброшены, и манифестанты, число которых все время увеличивалось, двинулись к центру города. Они несли транспаранты, на которых было написано — «Долой империализм!», «Да здравствует Мао Цзе-дун!», «Богатство страны принадлежит трудящимся!», «Смерть буржуям!»

Голос через громкоговоритель сказал:

— Граждане, мы просим вас провести манифестацию в порядке, ни на кого не нападать и оставить в покое частное имущество. Мы надеемся на ваше благоразумие.

Во всю длину тротуара были выстроены штатские люди, чем-то похожие друг на друга — очень важные, спокойные и знающие свое дело.

— Сволочь ! Палачи! — кричала толпа. Посреди улицы горел перевернутый и подожженный автомобиль. Потом в витрину огромного кафе полетели булыжники. Несколько дальше, из разбитых стекол магазинов чьи-то цепкие руки тащили всевозможный товар. Удержать эту толпу, казалось, было нельзя. И тогда люди в штатских костюмах сделали шаг вперед, в их руках оказались автоматы, и они открыли пулеметный огонь по первым рядам толпы. Люди десятками падали на тротуар и оставались лежать неподвижно. Остальные в ужасе бросились бежать кто куда, и буквально через несколько минут улица стала пустой. Люди, лежавшие на тротуарах, были подняты, погружены в санитарные автомобили и увезены. Через десять минут после этого в кабинете президента зазвонил его личный телефон. Голос Вильямса сказал:

— Здравствуйте, господин президент. Вы слышали о массовом убийстве на главной улице столицы?

— То, что мне сообщили, звучит настолько неправдоподобно, что я предпочитаю не высказываться по этому поводу. Я думаю, что действовали против манифестантов ваши люди, и я помню ваши слова о том, что всякая гражданская война влечет за собой гибель невинных людей. Мне сообщили, что был открыт пулеметный огонь и первые ряды манифестантов были срезаны им. Я не могу этому поверить.

— Благодарю вас, господин президент. Ваши слова — лучшая награда, которую я мог бы ожидать. Пулеметный огонь, однако, был действительно открыт и действительно первые ряды манифестантов были им скошены. Но никто из них не был убит, так как стрельба велась деревянными пулями. Мы

потом во всем этом разберемся. Но я хотел немедленно поставить вас в известность о том, что произошло.

— Спасибо, — сказал президент.

Между тем, в городском госпитале шла лихорадочная работа: мнимые убитые приводились в чувство. У всех были тяжелые кровоподтеки от деревянных пуль, и все они смотрели вокруг себя мутным взглядом, не понимая, что происходит. Им впрыснули снотворное и в тюремных автомобилях отвезли в центральную городскую тюрьму. Общее число их оказалось меньше, чем думали вначале: их было сто шестьдесят три человека.

На следующий день утром президент республики принял делегацию бывших депутатов парламента, которая пришла жаловаться на то, что произошло.

— Господин президент, — сказал Гейне, бывший во главе делегации. — Вам не кажется чудовищным тот факт, что по мирным манифестантам открывают пулеметный огонь? Как это объяснить? Кто вернет жизнь убитым? Как представители власти после этого могут смотреть в глаза родителям убитых?

— Вы этих убитых видели?

— Да, господин президент. Я видел трупы тех, по ком был открыт пулеметный огонь.

— Вы могли удостовериться, что эти люди действительно убиты?

— Но это было очевидно.

Президент поднялся со своего кресла и сказал:

— Когда мне будут представлены доказательства того, что хоть один из этих демонстрантов был действительно убит, — я немедленно прикажу начать следствие по этому делу. Но до сих пор я таких доказательств не имел.

Коммунистические газеты вышли с заголовком на первой странице: «Анонимная группа лиц, захватившая власть в стране, пользуется услугами наемных убийц, открывающих пулеметный огонь по безоружным демонстрантам».

В девять утра перед входом в редакцию остановился черный автомобиль, из которого вышло три человека в синих

костюмах — те самые, которые были недавно у профессора социологии. Они вошли в здание и сказали, что хотят видеть редактора. — По какому делу? — Он это сразу же узнает, — сказал один из посетителей. — Редактор занят. — Скажите ему, что у него есть ровно три минуты, чтобы принять решение. Если через три минуты мы не будем приняты, ответственность за дальнейшее лежит на нем.

Через три минуты люди в синих костюмах вошли в кабинет редактора.

— Кто вы такие и в чем дело? — спросил редактор. — Предупреждаю вас, что у меня нет времени.

— Гораздо больше, чем вы думаете, — сказал один из людей в синем костюме. — Какие у вас были основания для того, чтобы на первой странице газеты печатать сообщения о наемных убийцах?

— Это не ваше дело.

— Прежде всего, господин редактор, я попросил бы вас не забывать об элементарных правилах вежливости, — сказал человек в синем костюме. — Нарушение этого правила вам может обойтись очень дорого. Но вы не ответили на наш вопрос.

— В газете было написано то, что все знают.

— Кто эти наемные убийцы?

— Если вы хотите знать, то я лично с ними незнаком.

— Дело в том, что эти наемные убийцы не существуют. Каждый из тех, кого вы так называете, может вас привлечь к судебной ответственности за диффамацию, и у вас нет никаких шансов выиграть процесс. Мы вашу газету не закрываем. Это первое и последнее предупреждение.

Все трое посетителей поднялись и ушли. Редактор смотрел им вслед. Он был опытным партийным работником, ему приходилось иметь дело и с полицией, и с административными властями. Но таких людей он еще никогда здесь не видел — и он сразу понял, что с ними нельзя так действовать, как он действовал до сих пор. Своему помощнику он сказал, когда тот вошел в кабинет:

— Начинается что-то новое. и надо быть чрезвычайно осторожным, как никогда до сих пор. Эти субъекты, которые только что были у меня — очень опасный народ. Я не знаю, откуда они появились. Я таких видел много лет тому назад, во время гражданской войны в России. Но мне повезло, потому что те, кто их видел один раз, второй раз обычно их уже не видели.

Главного организатора демонстрации, того, на кого сразу же был направлен пулеметный огонь, следователь начал допрашивать через три дня после событий. Рядом со следователем сидел Вильямс в темно-сером костюме. Организатор был атлетический человек с мрачным лицом, отказавшийся отвечать на вопросы. Следователь сказал:

— Не заставляйте нас терять даром время.

— Мне совершенно безразлично, теряете вы время или нет, — сказал организатор. — Это меня меньше всего интересует. Я не намерен отвечать на ваши вопросы, я не признаю вашей власти, и я буду вести борьбу против вас до тех пор, пока от вас ничего не останется.

— То, что вы говорите, не может быть принято во внимание, это слишком глупо, — сказал следователь. — Я еще раз напоминаю вам, что времени терять не следует — и поверьте, я знаю, что говорю. Какова ваша цель? Цель вашего политического движения?

— Уничтожение существующего режима всеми средствами и культурная революция.

— Как в Китае?

— Да, как в Китае.

Вильямс, который до тех пор молчал, сказал, обратившись к допрашиваемому:

— Я приблизительно так себе это и представлял. Вы где-нибудь учились?

— То, что вы называете культурой и цивилизацией, не имеет никакой ценности, и учить это незачем.

— Что делают ваши родители?

— Это не ваше дело.

— Еще один такой ответ, и вы очень в этом раскаетесь, — сказал следователь. — Вам был задан вопрос: что делают ваши родители?

— Мой отец врач-психиатр. Моя мать ему помогает.

— Что делать с этим дураком? — сказал следователь.

— Вы не имеете права так говорить! — закричал допрашиваемый. — Я вас научу, как нужно разговаривать с людьми!

Рядом с допрашиваемым оказались два человека, по одному с каждой стороны. Он взглянул на них и замолчал.

Вильямс сказал следователю:

— Вы помните, мы с вами говорили о пользе некоторых путешествий? Я думаю, что этому субъекту и его единомышленникам надо дать возможность больше ознакомиться с вопросами, которые их интересуют. Я хочу сказать, познакомиться на месте. Но давайте посмотрим, что дадут следующие опросы.

Допрашиваемого увели. Вместо него ввели другого — лохматого, взволнованного молодого человека в кожаной куртке и розовых штанах.

— Кто вы такой? — спросил следователь.

Молодой человек молчал.

— Я вам задаю вопрос и повторяю его, — сказал следователь, — третий раз я задавать его не буду. Кто вы такой?

Молодой человек молчал. Тогда один из тех, кто его привел, приблизился к нему — и через секунду раздался отчаянный крик. Следователь поморщился и сказал:

— Не орите. Вы понимаете теперь, что в ваших интересах отвечать?

— Да, господин следователь.

— Кто вы такой?

— Я работаю на постройке.

— Почему вы приняли участие в демонстрации?

— Потому что я ненавижу капиталистическое общество.

— Вы где-нибудь учились?

— Да, но мне не давали хода, я был последним учеником, и потом меня выгнали из школы.

— Вы состоите в какой-нибудь политической партии?

— Да, это партия революции и борьбы против капитализма.

— Какие цели вы себе ставите — в непосредственном будущем?

— Террор и уничтожение существующего строя.

— А что потом?

— Потом?

Молодой человек был явно удивлен: — Потом?

— Ну да, потом, когда все это будет достигнуто, что вы будете делать?

— Этого я не знаю.

— Вы никогда об этом не думали?

— Нет.

Так продолжался допрос — с одними и теми же результатами.

— Когда вы допросили одного — вы допросили сто, — сказал следователь. — Это не политики, это молодые люди, которые верят всему, что им говорят, и которых соблазняет перспектива действия — борьбы и террора. А некоторые — просто уголовные субъекты.

Через несколько дней допрос был закончен. Родители получили разрешение навестить заключенных, и выяснилось, что никто из них не пострадал. Волнение улеглось. А через некоторое время все эти молодые люди исчезли, и никто не знал, куда они делись.



Поздно вечером Сико вошел в один из баров на центральной улице. Там почти никого не было, кроме очень накрашенной женщины, не обратившей на нового клиента никакого внимания, и пожилого, хорошо одетого человека, который сидел в углу на высоком табурете и плакал. Сико обратился к лакею и спросил в чем дело.

— Не знаю, — сказал лакей. — Этот клиент здесь уже полчаса и все время плачет. Я никогда ничего подобного не видел.

Сико подошел к клиенту и сказал:

— Что случилось? Отчего вы плачете? Может быть, можно чем-либо помочь?

— Нет, — сказал тот, — нет, к сожалению нельзя. Я плачу потому, что до сегодняшнего дня я был порядочным человеком, а сегодня перестал им быть.

— Каким образом?

— Я проиграл деньги, которые мне не принадлежат.

— Где?

— В игорном доме, здесь этажом выше.

— Сколько вы проиграли?

— Десять тысяч.

— Идемте со мной, — сказал Сико, — может быть, это можно устроить.

Они поднялись наверх. Широкоплечий мужчина заградил им дорогу.

— Здесь не проходят.

Он стоял, слегка раздвинув ноги и испытующе посматривал на Сико.

— Тебя об этом никто не спрашивает, — сказал Сико. — Мы идем к директору.

Лицо мужчины побледнело, он сошел с своего места, и Сико вместе со спутником вошел в кабинет директора. Директор игорного дома был человек южного типа, с чисто выбритым лицом и неподвижными глазами.

— Добрый вечер, — сказал Сико. — Я привел вам моего приятеля. Он сегодня проиграл у вас деньги, которые ему не принадлежат. Это его очень огорчает. Я нашел выход из положения: верните ему эти деньги — десять тысяч — и все будет в порядке.

— Это шантаж или глупость? — спросил директор.

— Ни то, ни другое, — сказал Сико. — Назовем это распоряжением.

В комнату вошли два человека, ставшие рядом с директором.

— Вы здесь не нужны, — сказал Сико, — у нас частный разговор.

Один из вошедших сделал несколько шагов по направлению к Сико. В руках Сико появился револьвер.

— Я никогда не делаю промаха, — сказал Сико. — Я хотел бы, чтобы вы это знали.

Затем, обращаясь к директору, он сказал:

— Скажите вашим служащим, что они нам не нужны.

В это время произошло быстрое движение и раздался выстрел. Один из служащих директора схватил левой рукой правую, кисть которой была раздроблена.

— Я тебя предупреждал, что я не даю промаха, — сказал Сико. — А теперь вон отсюда!

Помощники директора ушли. Сико посмотрел на директора и сказал:

— Я пытался с тобой разговаривать по-человечески, но из этого ничего не вышло, так как ты уголовная сволочь. Верни немедленно деньги этому человеку, потом мы с тобой поговорим в комиссариате полиции.

— Вы не имеете права так действовать, — сказал директор.

— Кретин, — сказал Сико, — кто спрашивает твое мнение? Плати и идем.

Директор заплатил деньги спутнику Сико, и они вышли вместе на улицу.

— Кто вы такой? — спросил директор.

— Не задавай вопросов, — сказал Сико. — Вопросы буду задавать я. Сколько раз ты был приговорен к тюрьме?

— Одиннадцать.

— Откуда у тебя были деньги на открытие игорного дома?

— Мне помогли друзья.

— Мне нужен список их имен и их адреса.

— Этого вы не получите.

Сико посмотрел на хозяина игорного дома и улыбнулся. Это была бледная полуулыбка, но хозяин понял ее значение.

— У меня жена и дети, — сказал он.

— Им ничто не угрожает, — сказал Сико. — Ты только должен вести себя так, чтобы заслужить доверие — и больше ничего. Но так как ты не хотел вернуть моему приятелю деньги, то твой дом будет закрыт. Ты займешься чем-нибудь другим — я слышал, что в городе не хватает подметальщиков. После тюрьмы ты об этом подумай.

Сико дошел со своим собеседником до комиссариата, передал его дежурному инспектору и ушел. Он дошел до одной из окраин города и стал за стеной полуразрушенного дома. Он ждал так, не двигаясь, не сходя с места, около часа. Затем из соседнего дома вышел высокий, широкоплечий человек, который оглянулся по сторонам и пошел быстрой походкой по направлению к городу. Сико, как тень, следовал за ним. Через некоторое время человек с черного хода проник в небольшой особняк. Сико остановился у двери и стал слушать.

— Я вас умоляю, — говорил женский голос, — оставьте меня, у меня ничего нет.

— Вот ты мне дашь то, чего у тебя нет, — сказал мужской голос.

После этого раздался отчаянный крик женщины.

Сико толкнул дверь и вошел. Женщина сидела на стуле, руки у нее были связаны за спиной, грудь была обнажена, и широкоплечий человек прижигал ее левый сосок зажженной папиросой. Услышав шум отворяющейся двери, он вскочил с места. В правой руке Сико был револьвер.

— Развяжи ей руки, — сказал Сико.

— Я делаю то, что нахожу нужным, мне никто не может давать приказов, — сказал человек.

— Я считаю до трех, — сказал Сико.

Руки женщины были тотчас же развязаны.

— Что он требовал то вас? — спросил Сико.

— Деньги, — ответила она. — Он сказал, что знает, что

все мои сбережения я храню здесь, и потребовал, чтобы я их ему дала. Он сказал, что я все равно их дам, так как никто не может выдержать некоторых мучений.

— Это верно? — спросил Сико, обращаясь к мужчине, который незаметно приближался к выходной двери. Сико покачал головой и сказал: — Не старайся уйти. Если ты попытаешься это сделать, то помни, что для тебя отсюда одна дорога — на кладбище. Теперь отвечай.

— Я ничего не намерен отвечать, и вы можете идти к дьяволу.

В левой руке Сико неизвестно откуда оказался витой металлический хлыст. Он сделал такое быстрое движение, что его никто не заметил, и тяжелый кровавый след от хлыста появился на лице человека, который упал и с трудом поднялся.

— Понял? — спросил Сико.

— Я ничего не скажу.

Последовал второй удар — и правый глаз человека закрылся.

— Если ты хочешь через пять минут стать калеккой, то это не трудно, ты знаешь, — сказал Сико. — Ты не привык разговаривать с серьезными людьми. Я тебя научу. Надо отвечать на все вопросы. Если ты не будешь это делать, есть два выхода из этого положения: или ты выйдешь отсюда с переломанными конечностями, глухой и слепой на всю жизнь, или твой труп отправят в общую городскую могилу. Теперь ты понимаешь? Во всяком случае, на правый глаз ты уже ослеп. Теперь отвечай. Подожди, я вызову полицию.

Он позвонил по телефону, и через некоторое время приехала полицейская машина. Инспектор вошел в дом, поздоровался с Сико и взглянул на широкоплечого человека.

— А, — сказал он, — мы за этим мерзавцем давно охотимся.

— Теперь он в вашем распоряжении. Он согласен отвечать на все вопросы, можете его допрашивать.

Допрос продолжался несколько часов. Потом, значитель-

но позже, было сообщено, что арестованный был убит при попытке к бегству.



Бруно считался одним из самых богатых и уважаемых граждан страны. У него было несколько предприятий, каждое из которых приносило определенный доход. Были дома и виллы в разных концах страны. Однако все эти предприятия не могли, как казалось многим, приносить такие крупные доходы хозяину. На это Бруно отвечал с улыбкой, что даже самый порядочный коммерсант не может разбогатеть, не становясь жуликом.

Но главный доход приносили Бруно предприятия, которые ему теоретически не принадлежали: игорные и публичные дома. Ни в одном из них он не бывал, никто там не знал его имени, но все — от кнопки до стула — принадлежало именно ему. Даже полиция этого не знала. Но вот, в последнее время стало происходить нечто странное: один дом был закрыт по административному распоряжению, в нескольких других была конфискована вся выручка, причем нельзя было выяснить, кто это сделал — власти или частные люди. И наконец, последнее, что он узнал, это история с десятью тысячами и плачущим человеком. Бруно не понимал, в чем дело, это казалось уж слишком неправдоподобно. Через своего адвоката он добился свидания в тюрьме с директором дома и сказал ему:

— Теперь расскажи мне, как все произошло.

Когда тот рассказал, Бруно схватился за голову.

— Глупее быть не может. Как, ты сказал, зовут человека, который с тобой говорил?

— Он назвал себя Сико.

— Это, конечно, ничего не значит. Он тебе сказал, что не дает промаха?

— Он не только это сказал, он это доказал. Причем он стрелял, не целясь.

— Почему же ты, дурак, не отдал ему десять тысяч?

— Я не могу так раздавать деньги кому угодно.

— Ему ты должен был отдать все, что у тебя было, и

еще благодарить его за то, что он согласен это взять. Ты понимаешь, что ты теперь в его власти? Отсюда тебя выпустят, это несложно, я это устрою. Но тебе конец, ты шага не сможешь сделать. Что он тебе сказал еще?

— Что его приятель огорчен и я хорошо сделаю, если верну ему деньги. Ну, а дальше вы знаете.

— Ты на него смотрел, на этого человека?

— Да.

— Ты понял, что он чем-то отличается от других?

— Да, я понял, но я хотел ему показать...

— А что он тебе потом сказал?

— Я хотел с тобой говорить как с человеком, а ты просто уголовная сволочь.

— Что он еще спросил?

— Кто мне помог открыть дом.

— Что ты ответил?

— Что он этого не узнает.

— Видишь ли, старик, я опытнее тебя. Дело обстоит так: тебя будут допрашивать, ты скажешь правду и назовешь мое имя. Меня здесь уже не будет. Тебя скоро выпустят — и ты приедешь в Милан, где я тебе найду работу. Но имей в виду: никаких отклонений от истины, это твой единственный шанс на спасение.

Бруно встал и ушел. На следующий день вечером его машина подъезжала к итальянской границе. Ее задержали. Через полчаса другая машина подъехала к тому же месту, и из нее вышел Сико. Он подошел к автомобилю Бруно. Бруно услышал знакомый голос, который сказал:

— Я вас в свое время предупреждал, что наша встреча неизбежна. Нет ничего более неправильного, чем расчет на справедливость возмездия, и так далее. Я в это плохо верю, вы, вероятно, еще меньше. Но есть человеческая память и есть вещи, которые не забываются. Это прекрасно может совпадать со справедливостью, необходимостью возмездия и так далее. Но это совпадение не так важно. Важна встреча. И важен характер человека. Большинство людей из тех, с кем

вы имели дело, можно было купить. Других было нетрудно запугать. Но вот, нужно же вам было столкнуться с человеком, которого купить нельзя, а запугать еще труднее. Что случилось с террористами, которых вы ко мне послали?

— Не знаю, — сказал Бруно.

— Но вы все-таки знаете: миссия выполнена не была.

— Потому что, в конце концов, это вы — убийца.

— Это не совсем точно. Когда у вашего собеседника в руках револьвер, который направлен на вас...

— Тем не менее, этот собеседник становится трупом.

— Потому что ваши наемные убийцы это неловкая и неумелая сволочь. Посмотрите на вашего шофера — он думает, что он готов. Но прежде чем он сделает одно движение, он будет убит. Если он этого не знает, это знаете вы.

— Что вы от меня хотите?

Гайто Газданов

(Здесь обрывается неоконченная рукопись романа покойного Гайто Газданова. РЕД.)

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Когда Творец в один из первых дней
Мир обходил с киркою и лопатой,
Столкнулся Он и с глиной красноватой
И творчески задумался над ней.

Она теплей, влажней и земляней,
Чем дерево и камень ноздреватый:
Так пусть живет округлой и покатою,
Сильней орла и тополя стройней!

Ожив, Адам остался той же глиной,
Но, обратив кругом свой взор орлиный,
Он гибкое отринул вещество:

Из мрамора и дымного гранита
Рождаются под скальпелем его
Зевс, Аполлон, Паллада, Афродита.

ЗАМЫСЛЫ

Не измышлял богов Буонаротти,
А пристально разглядывал во сне
Бродившие в предмирной глубине
То мускулы, то вздрагиванья плоти.

Весь до конца в неначатой работе,
Я слушаю — от шума в стороне —
Как некий гул слагается во мне,
В моей тоске, в моей полудремоте.

И вот уже, крута и тяжела,
На дне души пластами обросла
Размерами не мереная глыба:

Приблизится в еще неизвестный срок
Ионою беременная рыба,
И на скалу поднимется пророк!

П Е К И Н

В колеснице моей лечу
над землей на четыре «чи»,
и закутан я не в парчу,
а в одежду из чесучи.
Вновь Наньчицза передо мной:
это улица или лес?
Столько вязов над головой
в непроглядный срослось навес!
Ночь, весна. От земли тепло.
Эта улица — «чжи жу фа»:
выпевается набело
поэтическая строфа.
Чесучи своей не помни,
возвращенец издалека:
помни — крылья только одни
на бесчисленные века.
А теперь колесницу сна
задержи, ночной пилигрим:
это свет из того окна,
что когда-то было твоим.



Бывало, ветренность весенняя
цвела виденьями крылатыми,
и не сквозил хитон смирения
лохмотьями или заплатами.
Зато теперь унынье, паника
(а был и ты умен и храбр):
не метафизика — механика,
не таинство, а *danse macabre*.
Твое грядущее — не более,
чем вышивка воспоминания,
нахохленная меланхолия
и наглая мегаломания.

Валерий Перелешин

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

1

Вот ангелы сияют возле кровель,
Кристалльных звёзд касаются легко,
И в синюю, бушующую хвою
Несут рождественское рококо.
И жмутся овцы у античных арок,
И отливают золотым руном,
И пастухам дарованный подарок
Сияет распахнувшимся окном.
И потускнел у космоса рассудок,
И вдруг затих под говор пастухов
Античный мир, замороженный чудом,
Вертепный век, застигнутый врасплох.

2

Последних дней предпраздничный накал
Необозримой радостью запружен,
Авиалиний голубой металл
Торжественно плывёт из хвойных кружев.
Уют огней, мираж цветной игры,
Старинный быт любых новин свежее
И светятся пурпурные шары,
Качая цветковые отраженья.
И балерины праздничен полёт,
Сквозная вязь бумажных пируэтов,
И след коньков и ослеплённый лёд,
И тёмной хвои лапчатая ретушь.
В магическое празднество стекла,
В котором все созвездья отразились,
Весёлая Церера принесла
Своих плодов румяные корзины.
А небо отливает серебром,
И музыкой органа и покоем,
И праздничный берёт аэродром
С собой в полёты — царственную хвою.

Олег Ильинский, 1972

ПЕРИОД БАРОККО И ИОГАНН СЕБАСТИАН БАХ

I. Исторический обзор исполнения музыки Баха

В период, предшествующий рождению И. С. Баха (1685), итальянская музыка распространяла свое господствующее влияние на всю западную Европу. Англия занимала более или менее изолированное положение, в то время как Франция второй половины XVII столетия, после достижений Жана Баптиста Люлли (хотя и итальянца по рождению, но вполне развившегося на французской почве), становится так же влиятельной страной, «экспортирующей» музыку. Германии, находившейся под влиянием этих двух стран, было предопределено примирить два стиля: от Италии пришли развитие гармонии и тональности, формы ранней сонаты, и Концерто Гроссо (небольшие группы сольных инструментов, противопоставленные полному оркестру), свобода исполнительской практики; от Франции — тенденция к красочности звучания, к программности, формы увертюры и сюиты, богатая орнаментировка и блестящий, но более строгий исполнительский стиль. Германия ассимилировала воспринятые формы и стиль музыкального изложения, добавив к этому свою склонность к полифонии (многоголосие, когда два-три и более голосов играют равноправную роль в горизонтальном развитии музыкальной мысли, в отличие от гомофонической музыки, где мы имеем мелодию, как ведущий голос, и аккомпанемент, хотя бы и многоголосный, но подчиненный мелодии).

Бах, величайший гений, впитал в себя немецкую музыкальную культуру, немецкий опыт прошлого и настоящего, и воспринял также из первоисточника, непосредственно, музыкальный опыт Франции и Италии. Его могучий творческий дух охватил и переработал все музыкальные стили того времени, и хотя в его произведениях мы легко находим элементы последующего музыкального развития, мы видим в нем скорее

кульминацию и завершение предыдущего периода, нежели начало нового.

Полифонический стиль, достигнув высшей точки своего развития, как раз начинает отступать перед сменяющим его гомофоническим стилем. Эти две в известном смысле противоположные силы нашли идеальное равновесие в музыке Баха: его мелодическая линия богата «подразумеваемойся» гармонией, в то время как в его гармонии можно проследить голоса,двигающиеся горизонтально и независимо.

Манфред Букофцер в своей книге «Музыка эпохи барокко» пишет: «Такое объединение противоположных сил только однажды было осуществлено в истории музыки, и Бах оказался тем гением, который творил в этот необычайный момент».

Бах был последним и величайшим мастером полифонии. Современники и музыканты последующего поколения видели в нем крупнейшего исполнителя — органиста, клавесиниста, клавибордиста, но недооценивали его творчества. Бах — композитор был выше и, в известном смысле, впереди своего времени. Но его путь был противоположен тому, по которому пошло музыкальное развитие. И это было более нежели различие между поколениями, это была радикальная смена стиля, наиболее значительная во всей истории музыки.

Полифония, до тех пор господствующее средство выразительности, в высшей степени сложное и требующее большой умственной работы для полного восприятия музыкальной идеи, постепенно оттесняется поисками более простой фактуры, что было вызвано желанием выразить простые, искренние чувства. Этот процесс, протекавший в первой половине XVIII века, вел к так называемому периоду *Empfindsamkeit* (чувствительности).

В то время как многие музыканты, сверстники Баха, принимали новое, Бах настойчиво шел своим путем, достигая высот, о которых ранее не могли и мечтать, но идеи, лежавшие в основе его творчества, были сметены.

Произошел как бы разрыв в линии музыкально-исторического развития, чем объясняется тот факт, что музыка Баха была забыта и только почти через 80 лет после его смерти «воскрешена», высоко оценена и любима. Но проблемы ее

интерпретации навсегда остались спорными: традиция была утеряна.*

Конечно, это все же не было полным забвением. Но ученики Баха, включая и его сыновей, были детьми нового времени. Есть все основания предполагать, что уже в первые десятилетия после смерти композитора его произведения исполнялись скорее в новом духе: смена стиля была слишком значительна, чтобы не повлиять на исполнительскую практику самым радикальным образом. Бетховен знал музыку Баха, ставил ее очень высоко, играл ее сам и давал играть своим ученикам. Но редакция сочинений Баха Карлом Черни, учеником Бетховена, является, с нашей точки зрения, известным искажением оригинала. Конечно, это был Черни, но вряд ли он отступал далеко от идей своего учителя. Известно, что Шопен, будучи большим почитателем Баха, много играл его и перед своими концертами работал над его, а не над своими произведениями. Шуман писал: «Играй усердно фуги больших мастеров, и прежде всего Иоганна Себастиана Баха. «Хорошо темперированный клавир» (48 Прелюдий и Фуг, Г. К.) должен быть твоим хлебом насущным». Но как трактовали Баха Шопен и Шуман, мы не знаем. Несомненно эпоха романтизма наложила печать и на их концепцию.

Когда в 1829 году Феликс Мендельсон-Бартольди исполнил «Страсти по Матвею» Баха, он сделал кое-какие изменения в партитуре: несколько арий были выпущены, к некоторым исполнялись только вступления, кое-где Мендельсон изменил оркестровку.

Исполнительская практика XIX века не была озабочена верностью подлиннику. Каждое поколение видит произведение искусства в свете своего времени, музыка исполняется в соответствии с его идеями и чувствами. XIX столетие было свидетелем многих искажений даже текста музыки Баха, не говоря уже о непонимании ее сущности и духа. Она «романтизировалась» и часто «сентиментализировалась».

Но к концу столетия начал пробуждаться интерес к стиль-

* Нечто подобное произошло полстолетия спустя, когда на смену великим классикам — Гайдну и Моцарту — пришел романтизм. Снова совершилась переоценка ценностей, хотя и не столь глубокая и значительная.

ной интерпретации музыки прошлого. Преувеличенно субъективное, часто виртуозно-эффектное исполнение Баха постепенно отступало перед новым стремлением к *Werk-treue* (верности тексту в передаче музыкального произведения).

Одним из первых элементов, привлечших внимание музыковедов, были мелизмы — условные знаки, с помощью которых зашифровывались короткие фигуры (трели, форшлаги и пр.), украшающие основную мелодическую линию. В 1893 году было опубликовано очень обстоятельное исследование Эдварда Даннройтера, в котором автор пытался изложить правила расшифровки этих знаков. «Пытался» — потому что тогда многое еще было неясно в этой области, да и по сей день кое-что еще остается спорным. Мелодический узор мелизмов был стабилизирован, но ритмический элемент мог несколько варьироваться, в зависимости от понимания и вкуса исполнителя.

В 1916 году Арнолд Долмеч выпустил книгу, в которой он очень тщательно и детально обсуждал все проблемы, связанные с исполнением музыки XVII и XVIII веков. Интерес к этим проблемам повышался, стимулировал углубленную музыковедческую работу в этой области и достиг своей кульминации в 50-ые и 60-ые годы нашего столетия. Изучались материалы — книги, статьи — написанные в период барокко, как аутентичные источники, дающие возможность лучше понять музыку того времени и, следовательно, содействовать ее подлинно стильному исполнению.

Бах не оставил почти никаких указаний относительно интерпретации своих произведений. Дело в том, что в его время творчество и исполнительство еще не были разделены. Это разделение произошло значительно позже. Композитор сам, его ученики и другие композиторы исполняли его музыку. Это были музыканты, прошедшие основательную школу композиции, они умели импровизировать, обладали хорошо развитым музыкальным вкусом, знали правила и обычаи того времени. Таким образом, очевидно, не существовало опасности искажения намерений автора при исполнении его произведений. Правила были систематизированы, многие зашифрованы, и передавались из поколения в поколение только частично в письменной форме, частично же как незафиксированная тра-

диция. Последняя же была утеряна с переменой стиля, на что я указывал выше.

Исполнитель периода барокко пользовался гораздо большей свободой, нежели теперь принято думать. Знаменитый итальянский скрипач и композитор, современник Баха, Франческо Мария Верачини, писал в своем трактате об исполнительстве (около 1740 г.), что многие композиторы хотели бы дать точные указания, как исполнять их произведения. Но такими указаниями они лишили бы исполнителя естественной и независимой свободы передачи согласно своим знаниям и чувствам, в результате чего явилось бы в высшей степени безжизненное, сухое исполнение.

Но мы не должны забывать, что французские композиторы как раз стремились записывать свою музыку как можно точнее, и они также имели большое влияние на Баха, который начал ограничивать свободу исполнителя, вписывая в свой текст несколько больше, нежели этого хотели некоторые музыканты его времени. Это особенно касается области орнаментирования. Вместо того, чтобы зашифровывать украшения с помощью условных знаков, что предоставляло бы исполнителю некоторую свободу их исполнения, Бах иногда выписывал их полностью в нотном тексте. (см., напр., вторую часть «Итальянского концерта»), за что его упрекали современные критики.

Правила исполнительской практики, изложенные в четырех наиболее значительных исследованиях, опубликованных вскоре после смерти И. С. Баха — «Об игре на флейте» Иоганна Иоахима Кванца (1752), «Опыт исследования об истинном искусстве игры на клавире» Карла Филиппа Эммануила Баха, сына Иоганна Себастиана, (1753), «Искусство игры на клавире» (1750) и «Руководство к игре на клавире» (1755) Фридриха Вильгельма Марпурга — не могут быть безоговорочно применены к исполнению произведений И. С. Баха: как я уже упоминал, их авторы были представителями и выразителями идей уже другой эпохи, другого стиля, воспринимали искусство И. С. Баха сквозь призму своего понимания. Дискуссия о исполнении музыки И. С. Баха, они должны были бы подчеркнуть: *«мне нравится так исполнять»* вместо того, чтобы указывать: *«так следует исполнять»*.

Но и другие, более ранние авторы не сообщают нам достаточно определенные сведения. Их утверждения часто ту-

манны, они не только противоречат один другому, но нередко противоречат сами себе. Личные вкусы, местные обычаи, разные перекрещивающиеся влияния, меняющаяся мода являются причиной отсутствия единообразия. Крупный специалист по вопросам старинной музыки, Роберт Донингтон, считает, что, по-видимому, «действительность не была ни систематична, ни последовательна».

Можно сказать, что огромная, как новейшая так и более ранняя, литература об исполнении старинной музыки вместо того, чтобы пролить свет на некоторые сложные проблемы часто делает последние только еще более неясными и запутанными. Мы должны проявлять известную осторожность, изучая как оригинальные источники периода барокко, так и их современные изложения и разъяснения. Последние отражают личные вкусы и предпочтения авторов и часто представляют собой странно противоречивую картину.

Путнам Алдрич пишет в статье «Аутентичное исполнение музыки барокко»: «Слишком значительный элемент догадки связан со всеми вопросами исполнения. Слепое стремление к аутентичности может преуспеть в деталях, но вместе с тем привести к потере смысла и целостности произведения». Мы можем только приблизиться к этой неуловимой аутентичности, и это приближение будет построено «не на точных данных, а на вероятностях», тем не менее «идеал подлинности, даже несовершенно реализованный, приводит к исполнению старинной музыки в целом более удовлетворительному, нежели исполнение музыкантов, остающихся наивными и неосведомленными в вопросах исторических стилей», пишет другой музыковед, Доналд Джэй Гроут («Об исторической аутентичности в исполнении старинной музыки»).

Нельзя обойти и еще один фактор, который, будучи, так сказать, «неуловим», обычно оставляется без внимания. Однако этот фактор является одним из серьезнейших доказательств невозможности достижения полной аутентичности в исполнении старинной музыки. Дело в том, что наше восприятие музыки значительно отличается от восприятия музыки слушателями периода барокко. Наш музыкальный опыт «перегружен» тем, что было сочинено за истекшие 200 слишком лет. Кроме того, жизнь человека в целом, ее характер, динамизм претерпели колоссальные изменения, и вместе с этим изменился и

склад нашего мышления. Все это естественно повлияло на наше отношение к музыке, на ее восприятие. У нас «другие уши», отличные от ушей слушателей XVII и XVIII столетий.

В музыкальной записи идеи композитора могут быть переданы только приблизительно, часто очень неточно и упрощенно. «Наиболее важное в музыке не записано» (Леопольд Стоковский). Многие намерения автора, которые не отмечены и не могут быть отмечены в тексте, должны быть угаданы чутким исполнителем. Большой музыкант, профессор Московской консерватории, Самуил Евгеньевич Фейнберг писал в своей книге «Пианизм как искусство»: «Музыкальное произведение... зафиксированное в нотах... все еще не завершено». Оно получает свое завершение только в исполнении, и всегда различное завершение, потому что личность исполнителя неизбежно отражается в его исполнении, а всякое значительное произведение искусства таит в себе возможности различных концепций, одинаково правомерных. Я имею в виду творческую интерпретацию, и только таковая имеет художественную ценность.

Это несовершенство музыкальной записи (счастливое обстоятельство!) является камнем преткновения и причиной неудачи многих исполнителей. Следуя точно всему тому, что имеется в тексте, и избегая всего, о чем там не упомянуто, они верят, что этим достигают той аутентичности, к которой стремятся. *Верность тексту* часто понимается как нечто тождественное *верности духу* произведения. Забывается, что за «научным компонентом» — внешне верное прочтение текста на основе тщательного изучения источников эпохи, жизни и идей автора — должен стоять «художественный компонент» — необходимое субъективное проникновение, то, что выражает немецкий термин: *Einfühlung*, т. е. интуитивное вчувствование в сущность музыкального произведения, «угадывание» намерений композитора, способность видеть то, что стоит *за нотными знаками*. Этот художественный компонент теперь часто получает ярлык произвольности трактовки.

В результате такого упрощенного подхода новое поколение пианистов впадает в противоположную крайность: безразличное, холодное, «стерильное» исполнение, лишенное всякой выразительности, которое так типично для середины двадцатого столетия. Когда личное, непосредственный эмоциональ-

ный элемент в исполнении, отсутствует, старинная музыка может иметь только исторический интерес, становится чем-то вроде мертвого музейного экспоната.

В исполнении старой музыки (и я имею здесь в виду не только период барокко, но и классицизма и романтизма) должна чувствоваться живая связь старого и нового времени. Если в этом исполнении отсутствует дух нашего времени, не отражается новое мировоззрение, такое исполнение, лишенное эмоциональной заразительности, оставляет нас холодными, хотя и может заинтересовать интеллектуально. С другой стороны, если в исполнении отсутствуют присущие ему стилистические черты, если оно всецело «перенесено» в наше время, в современную атмосферу, музыкальное произведение также теряет свою непреходящую, вневременную ценность.

Современный исполнитель должен уметь пользоваться предоставленной ему свободой. Он должен опираться на всяческую доступную информацию, принимаемую критически, и на свою способность к интуитивному проникновению: научный и творческий подход не являются взаимно исключаящими, знание прошлого не может заменить *Einfühlung*, и наоборот. Исполнение, истинно верное духу произведения, является исполнением, свободным от необоснованного произвола, в котором объединяются несколько элементов: объективный подход, проявляющийся в абсолютно точном прочтении текста, понимание и ощущение стиля, чувство меры и пропорции, вдохновение и личное увлечение, вкус исполнителя, его скромность, и большая и чистая любовь к искусству. Так может быть достигнуто идеальное равновесие между объективным и субъективным, и глубокая сущность ожившего музыкального произведения раскроется внимательному слушателю. Но на пути к такому идеальному исполнению стоит много препятствий...

II. Стиль и принципы интерпретации

Музыка Баха архитектурна. Она построена террасообразно, широкими плоскостями, представляя собой строгую и величественную структуру. «Эта архитектурная форма есть то, на что мы должны обращать основное внимание, если мы хотим глубоко и основательно понять данное музыкальное произведение», — пишет Альберт Швейцер в своей известной

книге «И. С. Бах». Только через восприятие этого элемента сущность музыки Баха может вполне раскрыться перед внимательным слушателем. Возвышенность и ясная красота архитектурных форм производят глубокое и эмоционально значительное впечатление.

Швейцер сравнивает музыкальный стиль Баха с готическим стилем в архитектуре. Как в готическом соборе общий конструктивный план вырастает из строгих и простых компонентов, которые развиваются не в застывшие формы, но в линии, богатые необычайными нюансами, так и в Баховских построениях мы видим крупные, строгие формы, полные живых, выразительных деталей. Это сравнение может показаться странным: несовпадение во времени архитектурной готики и творчества Баха, но Курт Закс объясняет, что дух немецкого барокко был весьма близок духу позднего периода готического стиля: при жизни Баха немало церквей было построено в этом стиле. («История искусств: Вопросы стиля»).

Музыка Баха отличается широтой охвата, строгостью, простотой стиля, энергией, мужественностью. Размах его идей и эмоций не знает границ. Ничто в области человеческих чувств, духовного и интеллектуального опыта не было ему чуждо. В его музыке мы находим спокойную нежность, беззаботную радость, глубокую скорбь, величественную драму, часто почти несдерживаемое веселье и экзальтацию, иногда видим патетический жест трагика (как, например, в начале «Второй Партиты» или в некоторых произведениях в стиле «Французской Увертюры»).

Барокко не было временем подавляемой эмоциональности, как оно не было и временем несдерживаемой аффектированности в искусстве (в немецкой терминологии *аффе́кт* синонимичен эмоциональности в широком смысле слова).

Бах, как и все большие творцы, был способен в своих произведениях уравнивать силу выразительности со строгой сдержанностью, соединяя эти противоположности в одно целое, полное благородства. В его музыке мы не находим непосредственного выражения переживаемых страстей. Это страсти, испытанные ранее, их острота отточена и как бы кристаллизована: человеческие страдания, через глубокое размышление, раскрываются очищенными и возвышенными.

Швейцер чувствует в Бахе «не индивидуальную, но кол-

лективную душу», «основной дух эпохи как бы объективизировался в одной личности». Но объективность Баха была «не безличной, а надличной». Бах таит в своих произведениях такую огромную силу отрешения от субъективных переживаний, что Курт Закс находит его музыку абстрактной и безличной.

Как современный исполнитель может в своей интерпретации уравновесить формальный и драматический элементы музыки Баха? Конечно, каждый музыкант решает этот вопрос в соответствии со своими знаниями и интуицией. Хотя через правильное понимание всеохватывающей человечности Баховской музыки открываются широкие возможности различных индивидуальных подходов к интерпретации, мы все же должны поставить перед собой известные границы. Переход этих границ означал бы нарушение требований стильного исполнения.

В истинно творческой интерпретации содержание* музыкального произведения преломляется в субъективном восприятии исполнителя, все существо которого является своего рода резонатором, настроенным чутко отзывчиво по отношению к духу исполняемого. Но, как верно отметил известный итальянский виолончелист Энрико Майнард, хотя исполнитель должен быть субъективен, он все же должен избегать «автобиографического акцента» в своем исполнении Баха и стремиться к выражению скорее «универсального», нежели личного чувства.

Людвиг Ландсхоф в предисловии к изданию «Инвенций» Баха пишет, что «всякий эмоциональный нажим» должен быть перенесен «в сферу умственного охвата музыкального материала, внимание должно быть направлено в первую очередь на выявление структурных элементов».

Ферруччио Бузони исполнял Баха, охватывая длинные периоды, объединенные динамическим единообразием, и интенсивно противопоставляя различные динамические плоскости. Его динамика, так же, как и изменения темпа — замедления кадансов (окончаний музыкальных периодов) служили в первую очередь показу формы произведения. Подобная концепция часто воспринимается как сухо-деловитая. Более чем шесть-

* Под содержанием имеется в виду музыкальная форма, все ее элементы, и дух, идея произведения — как дно целое.

десять лет тому назад Бузони жаловался: «То, о чем заботится любитель или посредственный артист — это чувство в мелком масштабе, в деталях, в коротких отрывках. Чувство широкого охвата принимается этими любителями, полуартистами и, к сожалению, критиками за отсутствие чувства вообще. Потому что они не обладают способностью слушать и воспринимать большие периоды как части еще большего целого». К сожалению, эти слова в полной мере относятся и к слушателям и критикам наших дней.

Бузони был одним из первых музыкантов, которые начали «очищать» музыку Баха от мелочного сентиментализма и доискиваться до глубокой сущности его стиля. Отдавая должное тому, что он сделал в этом направлении, мы все же сегодня не можем принять все его идеи относительно исполнения Баха. Это особенно относится к области артикуляции (туше — более знакомый, старинный термин) и расшифровки мелизмов, и, конечно, к некоторым допускавшимся им изменениям текста или порядка частей в циклических произведениях. Широкие и глубокие научные исследования в после-бузониевский период (более столетия) колоссально обогатили и радикально изменили наши взгляды на исполнение музыки барокко.

Концепция Святослава Рихтера, как и некоторых других русских пианистов (напр., Льва Оборина, Владимира Ашкенази), представляется довольно близкой к концепции Бузони, но без крайностей последнего, как почти исключительная замена связного, певучего исполнения мелодической линии несвязным (*non legato*).

В исполнении Баха Рихтер подчеркивает интеллектуальный, конструктивно-полифонический элемент, широту дыхания, величие линии и, в первую очередь, философский аспект Баховской музыки.

В противоположность ему канадский пианист Глэн Гулд занят детальной отделкой музыкального развития внутри отдельных фразеологических единиц, что определяет характер его подхода к произведению. Его концепция исключительно жизненна без того, чтобы впасть в мелочность. Он великолепно слышит полифонические элементы, подчиняя их концентрированной эмоциональности, и подчеркивает остроту и ясность Баховской линии. Его артикуляция исключительно точна и ясна, соответствуя воображаемой звучности клавесина.

Без стилистической искусственности он способен очень живо и с особым очарованием вызывать в воображении звучность этого инструмента. К сожалению, иногда он впадает в некоторую экстравагантность, что может портить общее впечатление от его исполнения.

Пабло Казальс говорит, что музыка Баха «происходит из интимнейших глубин его существа», что он знал и чувствовал все. Потому «невозможно воспринимать его произведения объективно и исполнять их, не будучи лично вовлеченным в это исполнение». В своей концепции Казальс не озабочен проблемами стиля, и когда он говорит, что он подходит к Баху точно так же, как к Шопену, это не просто *façon de parler*, как пишет критик Гаролд Шонберг. Современные критики видят в Казальсе представителя ныне дискредитированного «стиля Черни», «эксцентричный пережиток наивных времен, предшествующих нашему веку научных изысканий» (Ховард Клейн). Но другой критик, Алан Рич, находит, что хотя Казальс и представляется некоторым курьезом в нашу «эру музыкального мышления», тем не менее его исполнение является убедительным благодаря величию его личности.

Автор настоящей статьи считает, что если, кроме ясной экспозиции формальной конструкции музыкального произведения, исполнителю *есть что сказать* ценное и интересное, отражение его личности и идей в исполнении значительно повысит впечатление от его игры. Но если его личность несоизмерима с высоким духом произведения искусства, сдержанное исполнение будет более уместным: простая и холодная передача прекрасной величественной формы более приемлема, нежели ее искажение путем излишней аффектации, мелочного подчеркивания деталей, преувеличения динамических оттенков — проявления мещанского манеризма.

Георгий Кочевецкий

ПРОСЬБА

Научи меня умереть!
Научи меня в смерть глядеть
Как в оконное то стекло,
За которым еще светло,
За которым река и лес,
Никаких, никаких чудес —
Просто листья, стволы, вода.
И тропинка. Бог весть куда.



Твоя душа твоим владеет телом:
Она ко мне его навстречу шлет,
Приказывает быть нагим и смелым
И все грехи прощает наперед.

И если в теле вижу перемену
(Всё меньше ласк, порыва и тепла).
То знаю я: твоей души измена
Уже ко мне вплотную подошла.

Как день за днем скудеющий источник
Являет спад своих глубинных вод —
Так наше тело, ветреный сообщник,
Своей души все тайны выдает.



У нас есть выраженье: «на дворе»,
Когда мы рассуждаем о погоде.
Мол «на дворе тепло», иль «на дворе
Прохладно что-то» — так и в этом роде.
И если мой пример предельно прост
Есть у меня сложнее на примете,
Вот, скажем, задал Пастернак вопрос:
Какое на дворе тысячелетье?
Однако к делу. Верно с давних пор
У нас сложилось это выраженье,
Ведь на Руси свой заповедный двор
Всегда имело каждое строенье.
Была конюшня там, курятник был,
Там пес скулил, скрипел колодец дряхлый,
Белье висело, рыжий кот бродил
И пирогом по воскресеньям пахло.
Домашний двор! Какая в нем была
Уютная, услужливая прелесть!
А если там еще сирень цвела!
А если там еще и птицы пели!
И не спеша, не одеваясь, лишь
Шагнув на двор, возможно людям было
Понять погоду: капает ли с крыш,
Прояснило иль снова заснежило?
Теперь? Теперь, с дворами распротяться,
Мы всё ж их поминаем мимоходом,
Когда невольно их приводим в связь
С плохой иль хорошею погодой.
Наверно мы надолго сохраним
Вот этот образ в нашей русской речи.
Мы за столетья так сроднились с ним!
И пусть он, нашей верностью храним,
И дальше логике противоречит!

Дм. Кленовский, 1972

МУЗЫКА РЕЧИ

4. Лалла Рук

Перескажу для начала где-то когда-то мною прочитанное.

Подконец своей жизни, в первые годы царствования Александра II-го, Глинка бывал на приемах в Зимнем Дворце. Императрица спросила его однажды, правда ли, что он намерен переезжать в Варшаву. Разве есть у него там родственники или близкие друзья? Последовал, будто бы, ответ: «Ваше императорское величество, польки — такие ласковые».

Но тут благосклонный читатель склонен будет, я боюсь, лишить меня своего благоволения. Нахмурился он, чувствую, уже заголовок прочитав. Причем тут скучнейшая поэма Томаса Мура, пусть и знаменитая некогда, но уже лет сто не читаемая никем? А если необходимо о ней говорить, то зачем же начинать с анекдота, никак не относящегося ни к ней, ни к поэзии, ни к музыке? — Нет, нет, поспешу я строгих друзей моих успокоить, не о ней собираюсь писать; не о поэме, только о заглавии ее; об имени этом одном, — и то больше о первой его половине; не обо всем длиннейшем «романсе» (для англичан «ромэнс» не романс, но и не наш или французский роман), частью прозой написанном, большей же частью резво позвякивающими, как дешевые бубенцы, цветистыми и все же бесцветными стихами.

Об имени... Вслушайтесь в него! Ну да, попросту, в русский его звук, не совсем ведь такой, в первой части особенно, как английский. Да и вспомните: оно в русской поэзии оставило след (еще увидим какой). И вообще, не скользите глазами по листу: не газету читаете, и не расписание поездов; слушайте то, что читаете. Даже вот и в анекдоте — интонацию услышите: *ласковые* такие. Для смысла интонации этой, есть ли по-русски другое прилагательное, столь же подходящее? Не думаю. Не нахожу его и в других языках, — хоть и не удивлюсь, если те, кому родные эти языки, со мной не согласятся. Я

ведь потому его не нахожу, что не хватает мне в тех языках русского звука *ла*, того самого, которым имя Лалла, по-русски произнесенное, дважды оказалось наделенным, — в отличие от набоковской Лолиты, которую, даже и по-русски о ней читая, *Лалитой*, с толстым *л*, невопад было бы называть. Она не то, она — *ли-ли*, *лю-лю*. (Это я подумал прошлым летом, глядя на вывеску мебелирашки, названной ее именем, в самом гиппиеваторе и стриптизном квартале Барселоны.)

Полвека назад один французский автор (Поль Моран) объявил наиболее трудным для произношения английским словом только что мною упомянутый «ромэнс», — в сообществе (нужно думать по широкому э) с названием гостиницы Клэридж. С нашей стороны, я бы выдвинул на такой пост кандидатуру слова «мыло», где первый слог «европéянкам нежным» мученье, но где и *л* им претит, пополнев, как и всегда надлежит ему расстегивать пояс, — перед *а*, перед *о*, перед *у*, перед тем же бегемотским яры. Зато русским поэтам это *л* едва ли не всех прочих звуков дороже...

«Как речь славянская лелеет / Усладу жен! Какая мгла / Благоухает, лунность млеет / В медлительном славянском ла!» Ровно шестьдесят лет прошло с тех пор, как запомнились мне эти стихи, но «Нежной тайны», покидая отечество, я в сундуке своем не увез, и помню, из второй половины восьмистишия, лишь последнюю строчку: «Звучит о ней *очаровала*». «Лунность млеет», это немножко, как мадам де Курдюкофф, живущая во мне, говорит, оммаж а нотр «бель эпок», — но дело не в этом. Вячеслав Иванов, в полушуточных этих стихах, как нельзя лучше отметил не временный какой-нибудь пошиб или вкус, а постоянную черту поэтической русской речи, укорененную в звуковом составе самого нашего языка. Баритонные эти *эл*, дополняемые тоньше и легче звучащими мягкими *эль*, и в самом деле составляют основу того, что некогда называлось у нас сладкогласием или плавностью, — не без помощи, как видим, самого этого *ла* в составе сих ласкательных вокабул. По словам Державина, сладкогласие состоит «в искусном наборе слов, к выговору удобнейших, слуху приятнейших и приличнейших описываемому предмету и обстоятельствам». Пиитикой занимался он всерьез: принял во внимание обе стороны чистой (независимой от смысла) евфонии, акустическую и артикуляционную, да и соответствия смыслу не забыл. А

пример такого сладкогласия приводит он из стихов друга своего Капниста «Поля, леса густые, / Спокойствия удел, / Где дни мои златые, / Где я Лизету пел», — поясняя однако, что «осмелился отменить рескую букву (р), делающую некоторую громкость, поместя вместо *предел* — *удел*».

Представление об антагонизме этих двух «плавных» и вообще было ему свойственно, как о том свидетельствует «Соловей во сне», откуда, при большом обилии *л*, *р* исключено, как и из некоторых других сладкогласно анакреонтических стихотворений, — и подобно тому, как еще в 1899-ом году Бальмонт исключил его из своей «Влаги», где ни одного слова нет без *л*. Однако наличие многих *ал* и *ла* в пленительном «Соловье» (особенно в первой из его двух строф), или лепет сходных слогов в слегка досадной по нарочитости своей «Влаге» — «Ластятся волны к веслу / Ластится к влаге лилея» — действенной, без сомнения, ласкает слух, чем отсутствие каких либо «речек», «роз» или «ручейков». Вовсе отсутствие это самым сладкогласием и не предписано, как нас в том убеждает и та же Лалла Рук, и «очаровала» у Вячеслава Иванова, и такие, например, строчки в четвертой главе «Онегина»: «Ловласов обветшала слава / Со славой красных каблуков / И величавых париков», где *ра* и *ри* вовсе не вредят всем этим *ла*, переходящим в *лу* и *ли*. Полагаю, что здесь, в отличие от сходных звуко сочетаний в других главах (о них еще будет речь) услада эта не нарочита и уж «описываемым предметом» во всяком случае не мотивирована. Но она тем не менее налицо, Пушкиным не исключена, благозвучию стиха содействует, а если «сладкогласие» и возможно от более нейтрального благозвучия отличать, то нежелательным будет разумно его счесть лишь в совершенно определенных, предуказанных смысле случаях.

В сборнике «Поэтика» 1919-го года есть статья Л. П. Якубинского о «Скоплении одинаковых плавных», где на основании одной немецкой языковедческой работы остроумно подчеркивается контраст между стремлением избежать этого скопления в практической речи и отсутствием такого стремления в речи поэтической (у этого автора позаимствовал я и цитату, приведенную им в другой статье того же сборника, из пиитических рассуждений Державина). В русском, как и во многих других языках, наблюдается диссимилиция плавных

при слишком тесном их соседстве: один из этих звуков заменяется в этих случаях другим; «февруарий» стал «февралем», «секретарь» — в простонародных говорах — «секлетарем», «пилюли» превратились в «пирюли»; но «Фалалей» Фаралеем не стал, в подобие тому, как «Порфирий» стал «Перфилом»: имя это показалось выразительно забавным, стало нарицательным в сельском обиходе, сквозь насмешливую кличку образовало и насмешливый глагол, — то есть подхвачено было речью скорее поэтической, чем утилитарной, и приобретя новое это качество, укрепило его за собой в крестьянском языке. Скопление одинаковых плавных затрудняет и произношение и восприятие произнесенного, с чем практическая речь путем их расподобления и борется, а язык возводит в правило ее победы.

Поэтическому языку, по словам Якубинского, бояться замедлений темпа, нарушений автоматизма речи, или усиленного внимания к ее звукам, оснований нет; вследствие чего в этом языке, и особенно в стихотворной разновидности его, диссимилиация и не имеет места; в нем скопление плавных может приобретать и положительное значение. Со всем этим легко согласиться, но не без поправок и дополнений. Прежде всего, нет в той же мере особого поэтического языка, в какой есть особый, сравнительно с другими языками, русский язык. Подтверждается это, не покидая нашего предмета, уже тем, что «февраль» не становится у поэтов «февварем», то есть диссимилиации общего языка поэтическим не отменяются. Поэтический язык есть только результат речевой деятельности многих поколений поэтов, и для них покорно следовать его (далеко не во всех деталях и разработанным) нормам даже небезопасно и, во всяком случае, менее обязательно, чем грамотно писать по-русски. Существует в первую очередь не он, а поэтическая речь, и звуковая ткань ее имеет конечно и другое и гораздо большее значение, чем звуковой состав всяких других речей, который тоже незаменим, но в другом смысле и по другим причинам. Отдельные языковые звуки, фонемы, выполняют в любой речи условно-различительную функцию, в результате чего мы не смешиваем по звуку и по прикрепленному к нему смыслу слово «иль» («или») и слово «ил». В принципе, слова эти могли бы обмениваться значениями или качествами своей согласной. Поэт, однако, не признаёт такого принципа; звуковые различия мотивированы для него не одной лишь не-

обходимостью различенья; илу надлежит называться илом... Нет, я не случайно выбрал этот пример: он возвращает нас к любезной нашему сердцу «плавной».

Поэт не то чтобы раскрывал свои объятия любому скоплению плавных (чего ему не разрешил бы уже просто-напросто его язык); он не то чтобы затрудненность или медленность речи, или звуки ее ради них самих лелеял; для него эти звуки имеют еще и другой, более музыкальный, чем словесный, хоть и не оторванный от словесного, смысл. Дифференциальное их значение, для языка достаточное, он, конечно, принимает, но дифференцирует их еще и по-своему, никаких других звуков, кроме фонем своего языка, не применяя, но применяя эти фонемы сообразно с их евфоническими, какофоническими, изобразительными и выразительными возможностями, ничего не имеющими общего с той различительной (но не характеризующей) функцией, которая принадлежит им в языке. Возможности эти для каждой фонемы различны; различны, хоть и в меньшей мере, для родственных одна другой фонем (гортанных, например, или губных); различны — чего теоретики не хотят замечать — и для «той же» согласной, но твердой и мягкой, или закрытого *е* и открытого (по-русски обозначаемого через *э*). Различие тут, хоть и несколько другое, но не меньшее, чем между твердой звонкой губной и твердой губной глухой. Якубинский приводит стихотворные примеры скопления одинаковых плавных, но не учитывает ни степени их одинаковости, ни тщательности различения (пусть и не осознанного) между скоплением *р* и скоплением *л*, хотя сам же это различие и подчеркивает в своих примерах.

Повторы *р* и *л* большей частью не в перемешку производятся (как в приведенных мною стихах из «Онегина»), а раздельно, так что в целом стихотворении или в отдельных его частях (если поэт вообще эту музыку избрал) господствует либо одна либо другая из этих плавных. Примеры из Пушкина, подобранные Якубинским, иллюстрируют это хорошо, но он не спрашивает себя ради чего это делается, оттого что поэтическую речь не как речь рассматривает, которой что-то говорится, а как язык, который, покуда не превратился в речь, ничего не говорит. И не замечает он, что «инструментовка» языковой строчки «Как Волги вал белоголовый» состоит не в повторах любого *л*, а в повторах твердого *л*, или, еще

точной, в повторах слогов, это эл содержащих, — причем и г, мягкое, потом твердое, известной роли (без различения мягкости и твердости) здесь не лишено. И точно также, подсчитав, что в пушкинском «Послании в Сибирь» на 7 л приходится 25 *р*, он пропустил мимо ушей (сэ лё ка дё лё дир, шепчет назойливая Курдюкова), что кроме двух все эти *р* — твердые, чем особая окраска этому стихотворению и дана; дать ее мягкими *р* было бы невозможно.

Поэты наши, начиная с Державина, да во многом и с Ломоносова, чувствовали все это очень хорошо, о чем свидетельствует и слишком прямолинейное исключение одной плавной из стихотворений, где господствует другая. Звукам они значение придавали на деле еще больше, чем на словах и — покуда шестидесятническое затмение было далеко — в гораздо более справедливой мере, чем к этому еще и сейчас в большинстве случаев склонны теоретики поэзии.

Подобно тому, как Державин поправил Капниста, Батюшков — но бессознательно на сей раз — поправил самого Державина. В своих записях 1817-го года он отличает «гармонию» вообще (звуковую организованность стиха) от ее особого случая: «плавности». «Гармония, — пишет он, — мужественная гармония не всегда прибегает к плавности»; тут он вспоминает «Водопад» и «Глагол времен, металла звон» из оды на смерть Мещерского. После чего восклицает: «Я не знаю ничего плавнее этих звуков: 'На светло-голубом эфире / Златая плавала луна'». У Державина, однако, в первой строчке «Видения мурзы» эфир был не «светло-», а «темно-голубой»; пейзаж-то ведь у него лунный, ночной. Новейший истолкователь и опекун Батюшкова ошибки этой не заметил, хоть она и очень заслуживает внимания.* Поэта пленил не пейзаж, а сама «плавность» звучания этих стихов, пусть и не беспредметным сладкогласием, но выразительным изображением плавности этого плаванья луны; вследствие чего, не удовольствовавшись соседними *ла* и *лу*, как и предварительным *лу* в пер-

* См. Н. В. Фридман. «Поэзия Батюшкова». М. 1971, стр. 296. Другой пример бессознательной звуковой поправки, тоже как будто никем не отмеченный, — эпиграф к «Скифам». Блок поправил Владимира Соловьева, написал: «Панмонголизм, хоть *имя* дико...», вместо «слово». Это повышает выразительность, подкрепляя *и* в «дико» и в рифме через строчку.

вом стихе, он это первое *лу* нечаянно подкрепил еще одним толстым *л* в своем «светло-» вместо державинского темно-голубого. «Плавность» тут буквальная: изображение плаванья. Этого Батюшков обязательным конечно не считал; он только выбрал пример с точки зрения простого разграничения «гармоний» избыточный. Практически, если не логически, поэты, в его времена, — это следует повторить — разбирались в таких вещах много лучше, чем в позднейшие, когда о звуках забота стала почитаться зазорной. Это Пушкин мог сказать о них — да еще как плавно — «Бывало милые тебе», а после попыток — даже и гиперболических порой — вновь воздать им честь, остались и поныне на Руси «речари», в прозе и в стихах, которые собственных речей не слышат, не умеют слушать.

В лелеемом Батюшковым сладкогласии стиха (слово это надо производить от «сладостный», а не от «сладкий») едва ли не первую роль играет та именно «плавность», которую он услышал (и дополнил) в первых строках «Видения мурзы». Ею проникнуты первые девять стихов «Тени друга», да и нетрудно обнаружить ее во многих других его стихах. «Я таял и Лаиса млела... / Но вдруг уныла, побледнела». — «Как сладок поцелуй в безмолвии ночей, / Как сладко тайное любви наслажденье». — Это полупереводы (с помощью Уварова) из греческой Антологии. Последний восходит к Павлу Силенциарию, искусному стихотворцу юстиниановой эпохи; но мне со студенческих времен запомнилась на тысячу сто лет более древняя строчка из Мимнерма о «потаенной любви, медовых дарах и ложе»: «крѳптаδιζ̣ φιλотῑς̣ кай мейлиха дѳра кай ѳунэ», где *ло* и *ли*, как видим, уже налицо. Есть *ле* и *ли* и у Силенциария. Этого рода звуки (разного качества *л* могут и противоплагаться и сопрягаться) ласкательны во многих языках; может быть во всех, где они есть? Но тут пора мне сделать оговорку, — подчеркнуть нечто уже сказанное и само собой разумеющееся как будто, но постоянно все же забываемое: скептиками ради отрицанья, энтузиастами ради бестолкового провозглашенья простой и скромной истины.

Речь идет о возможностях, потенциях, а не о чем-то постоянно действенном и поддающемся механическому учету в словесных звуках. Язык предлагает, поэт располагает. «Бывало милые» ласкает слух, а «ломало хилые», несмотря на прибавку лишнего *ла*, даже при подходящем контексте, ласковой

его не приласкает. Леила — «плавное» и ласкающее имя; Мариула, с оттенком унылости, тоже; но Лойола или Далай-лама этих свойств как будто лишены. «Вла-вла — звуки музыкальные», но Евлампий для русского уха звучит не музыкально, а смешно. Глафиру я, так и быть, соглашусь, грекам в угоду, сладостной признать, но не любое *гла* (только что, например, мною произнесенное) и не всякое *бла* или *сла*, несмотря на «блаженство» и «наслаждение». Можно даже отпугивающие фалалеев вирши сочинить: Калач, палач, лабаз, лафет / Флаг, балалайка, лазарет; хотя балалайка как-никак за музыку получила свою кличку, для характеристики *ее* музыки даже и очень меткую. И ведь наперекор всем этим суетным *ла*, «ласковые такие» обрело звукосмысл благодаря этому двузвучию. Ни в каких фонемах или сочетаниях фонем (вирши мои не отдельный ведь звук повторяют, а двойной) нет ничего, кроме возможностей, предоставляемых речи языком. Будут ли они осуществлены и к чему приведут, от речаря зависит, от поэта. Осмысляющая актуализация звуков в словах и подборках слов, это и есть его основное, всему прочему полагаемое в основу занятие. Занимаются им разные поэты по-разному (как и разнообразно одаренный поэт в разных произведениях или разных частях своих произведений). Осмысление звуков может очень тесно или очень издали быть связанным со смыслом содержащих эти звуки слов и предложений, но совсем с ним не связываться или вразрез ему идти оно, без вреда для поэзии, не может. Столь же нелепо поэтому предполагать неизменную и готовую осмысленность каждого звука, или определенных соотношений между звуками, как и отрицать исконное различие присущих им смысловых потенций, полагать, что все эти потенции в равной мере присущи двум *л* и двум *с*, звуку *и*, как и звуку *а* или *у*. Поэты лучших времен этого, во всяком случае, не думали. Пушкин звуков не обособлял, всегда их «союза» искал с «думами» и «чувствами», но именно потому и должен был с особой силой ощущать относительную определенность их смысловых возможностей, — которой, однако, в нашем случае ласкательного сладкогласия положены очень широкие границы.

Вячеслав Иванов в созвучиях этих справедливо усмотрел русской речи и вообще присущую усладу; и сологубовское «Белей лилей, алее лала / Бела была ты и ала» ее же нам

являет в концентрированном виде, игрою тешится, которую мы, именно как игру, охотно одобряем. Пушкина сладкогласию этому (как Жуковским уже было отмечено) Батюшков научил, от которого он и применение его в анакреонтических стихах, или к ним близких, перенял. С юных лет музыкой этой он владел, как о том свидетельствуют — уже заглавием своим — стихи 1816-го года «Слово милой»: «Я Лилу слушал у клавира; / Ее прелестный, томный глас / Волшебной грустью нежит нас». И позже эти звуки появляются у него в связи с родственными темами: «Вся в локонах, обвитая венцом / Прелестницы глава благоухала»; «И влажный поцелуй на пламенном челе»; или в чудесном и немного жутком (что так редко у Пушкина) «русалочьем» отрывке 1826-го (вероятно) года: «...но сколь / Пронзительно сих влажных синих уст / Прохладное лобзанье без дыханья / Томительно и сладко: в летний зной / Холодный мед не столько сладок жажде».* Иногда, как в четвертой главе «Онегина», появляются такие звуко сочетания, быть может, и ненароком или, во всяком случае, ласкают, ни о какой ласке не говоря; но тот же «Онегин» содержит лучшие примеры и углубленно смыслового их использования. Чем дальше, тем углубленней...

Вот ласкательный силуэт Ленского во второй главе: «Негодованье, сожаленье / Ко благу чистая любовь / И славы сладкое мученье / В нем рано волновали кровь». И Ольги там же: «Как поцелуй любви мила / Глаза, как небо голубые; / Улыбка, локоны льняные, / Движенья, голос, легкий стан, / Все в Ольге...» Или она же в пятой главе, после сна Татьяны, приправленная легким рокотом: «Дверь отворилась. Ольга к ней / Авроры северной алей / И легче ласточки влетает...» А затем в самой вдумчивой и грустной, в самой волнующей восьмой главе, там, где все струнные вступают разом и где волнение наше взлетает ввысь на их смычках: «Онегин, я тогда моложе,

* Последняя строчка одной из двух «Дорид» 1820-го года — «И ласковых имен младенческая нежность» — заимствована, как указал Томашевский («Пушкин», II, 66, прим. 36) из 26-ой Элегии Шенье, в издании 1819-го года. Нынче этот стих издатели помещают в шестую Элегию. «Et des mots caressants la mollesse enfantine». Соблазняюсь догадкой, что понадобилось Пушкину второе *ла* в предпоследнем слове из-за того, что во французском «кареccан» ласки он не ощутил. Захотелось двойной.

/ Я лучше, кажется, была / И я любила вас, и что же? / Что в сердце вашем я нашла?» Как будто и услышана не могла быть без *ло-лу-ла-лю-ла* сладость и боль этой любви! Но все-таки в этих стихах сила сказанного еще сильнее, чем внушение звуков. Есть другая строфа... Она возвратит нас к тому, с чего я начал... Не на родине сочинителя, предзакатном острове Эйре, и не средь туманов Альбиона, и не на своем сомнительном Востоке; на берегах Невы воссияла — одним своим именем, но светлей нельзя — дальняя Лалла Рук.

Сперва, однако, явилась она другому поэту, и на других берегах, — узенькой Шпрее, чье название так ситцево звучит по-русски... «Мнил я быть в обетованной / Той земле, где вечный мир; / Мнил я зреть благоуханный / Безмятежный Кашемир» (...) И блистая, и пленяя, — / Словно ангел неземной, / Непорочность молодая / Появилась предо мной»(...) «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты; / Лишь порой он навещает / Нас с небесной высоты(...) «Он лишь в чистые мгновенья / Бытия бывает к нам, / И приносит откровенья / Благотворные сердцам; / Чтоб о небе сердце знало / В темной области земной, / Нам туда сквозь покрывало / Он дает взглянуть порой»(...) «А когда нас покидает / В дар любви у нас в виду / В нашем небе зажигает / Он прощальную звезду». — Это, в выдержках, одно из лиричнейших стихотворений Жуковского, одно из десяти — или даже пяти — лучших его стихотворений. Озаглавлено оно «Лалла Рук». Он и сам признавал, с какой полнотой довелось ему выразить в нем свое понимание поэзии и жизни. Посылая его Александру Тургеневу, он писал: «Руссо говорит: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas*; это не значит, *только то, что не существует*, прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, является нам единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить, обновить душу, — но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем...» И далее в том же письме: «Жизнь наша есть ночь под звездным небом — наша душа в минуты вдохновения открывает новые звезды; эти звезды не дают и не должны давать нам полного света, но, украшая наше небо, знакомя с ним, служат в то же время и путеводителями по земле». После чего прибавлено по-французски: Вот философия Лаллы Рук.

Философию эту, однако, как и стихотворение, внушила

ему отнюдь не поэма, о которой, после ее выхода в свет (1817) и неслыханного успеха, один забытый недоброжелатель по имени Sneyd сложил стишок:

“Lalla Rookh/ is a naughty book/ By Tommy Moore,/ Who has written four,/ Each warmer/ Than the former,/ So the most recent/ Is the least decent.”

Поэма известна была Жуковскому, вероятно, и в подлиннике, а не только, как Пушкину, чуть позже, по французскому переводу в прозе Амедея Пишо (1820). Но мысли его и стихи — не о ней и не о его героине, а о той или по поводу той, кто исполнял роль этой героини 27 января 1821-го года в берлинском королевском замке, где были поставлены живые картины с пантомимой по случаю приезда в Берлин великого князя Николая Павловича и его супруги Александры Федоровны, дочери прусского короля. В разговорах Гёте с канцлером Мюллером упомянуто, что два с половиной года спустя они вместе рассматривали посвященный этому празднеству немецкий альбом; французский был выпущен еще за год до того. Будущая императрица, ученица Жуковского, Лаллой Рук и была; за ней это прозвище в придворном кругу и удержалось. Но этот ее апофеоз, в мечтах и стихах ее наставника, самого имени Лалла Рук не коснулся, был только прелюдией к *его* апофеозу, — позднему, тайному, в неизвестных современникам стихах. И не в стихах Жуковского.

Почти ровно через год после «дивертисмента с пением и танцами» (как сказано во французском альбоме), 22 января 1822-го года, Пушкин писал Вяземскому из Крыма: «Жуковский меня бесит — что ему понравилось в этом Муре, чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся ‘Лалла Рук’ не стоит десяти строчек Тристрама Шанди». В этом отзыве есть зрелость вкуса, но еще нет зрелости критического суждения. Зачем противопоставлять Стерна ультраромантической, в дешевом смысле слова, поэме; и нет в этой поэме ни чопорности, ни «безобразного восточного воображения». Никто, однако, не пожалеет о том, что поэма (в амедеевой прозе) его и позже не пленила. Прошло немало лет... Но и заглавие ее так до конца ничего бы ему и не сказало, если бы не стало именем другого, не прежнего лица, и если бы не захотелось ему в «главе осьмой», при описании бала, имя это упомянуть.

А когда захотелось, то и зазвучало оно для него всей скрытой силой своего звучанья, — не замеченного Жуковским, который в стихотворении своем, не считая заглавия, имени этого не упомянул (кроме как, без помощи ему со стороны соседних звуков, в самом конце, из печатной версии изъятom).

Пушкин сумел половину строфы звучанием этим наполнить, подготовкой к нему и его отзвуком организовать. Набиков был прав, тому пятнадцать лет («Опыты» VIII, 1957, стр. 48), «божественными» объявив эти стихи. Напрасно только привел он лишь первые четыре строчки не напечатанной Пушкиным строфы, и напрасно последнюю из них назвал «заключительным ударом музыкальной фразы», которым «собираются и разрешаются предшествующие созвучия». Последние слова верны, но стих этот скорей кульминационный пункт этой фразы, за которым следуют еще три фонетически отнесенных все к тому же имени как бы ниспадающих стиха, приподнятых затем, уже по-новому звучащим, четвертым:

И в *зале* яркой и богатой
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобно *лили* крылатой
Колебясь входит *Лалла-Рук*,
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется и скользит
Звезда-харита меж харит...

Картинная или «образная» сторона этих стихов не менее действительна, чем слуховая. «Крылатая лилия» — белый тюлевый или тюлем отделанный наряд императрицы, расширяющийся к плечам по моде тех лет. «Колебясь» — бальное ее или предбальное движение, как и вслед затем «вьется» и «скользит». Однако музыка все же первенствует: сверхвещественную сладость дает тому вещественному, что описано здесь словами. Все эти как будто и бессмысленные на первый взгляд але-ол-ли-ли-ла-ле-ля-лалла-ол-ла-оль не только уплотняют, позлащают, но и преобразуют смысловую ткань, сотканную предложениями и словами. Крылатая лилия без этой **музыки** осталась бы все-таки бескрылой; не сияла бы так царственно венчанная харита меж харит; «колебясь» (изумительно найденное по звуку, как и по смыслу слово) утратило бы грацию

и наглядность «колеблемости» своей; а главное, не подготовлялось бы первыми четырьмя стихами и не сопровождалось бы дальнейшими тремя, не возникало бы постепенно и не исчезало бы медленно сияние, ставшего на этот раз поистине волшебным, имени Лалла Рук.

Бедный Томми! Совсем я его снял со счета. Был он очень мал ростом, курносенький. Хоть ирландские его «Мелодии» приятности порой и не лишены, не могу ему простить, что он автобиографию Байрона сжег, заменив ее позже собственным в двух томах изданием. Затем ведь только я его и помянул, что ничего о том не зная, он имя русской царицы даровал и тем самым подарил его двум русским поэтам. Но к Жуковскому не буду несправедлив. Люблю его стихи. Поют они, отпевают земную скорбь, ввысь улетают, «чтоб о небе сердце знало в темной области земной». Их, даст Бог, когда буду помирать, вместо лилии крылатой, вспомню. Наставнику ученица видение принесла, «непостижное уму», а Пушкин всего лишь воспел появление на балу Ее Величества Императрицы. Но как-никак, я берлинское стихотворение все-таки искромсал, больше половины его под сукно положил, а в пушкинских стихах меня и запятая смущает (между «умолкший» и «тесный») и дефис мучает (Лалла-Рук? Произносить, как, прости Господи, Корнейчук? Да ведь вся сила ударения должна падать на Лалла!) Выбросил бы я, если б рукопись позволила, и запятую и дефис. А беспокоит меня это, потому что ткань стихотворной речи, в каждом миллиметре, так здесь выверена, так плотна, как Жуковскому и не снилось. Чувство слова у него не то, музыка его — другая. Но именно поэтому только Пушкину и было дано *свою* музыку (у Державина, у Батюшкова намечавшуюся) до столь неотразимого совершенства довести в этой устранившей им строфе, — устранившей по монархическим или «рыцарским», в отношении Дамы, соображениям (пар куртуазы, вуаля ту! Курдюкова, замолчи!) Ведь Онегин, в последних ее стихах, «одной Татьяной поражен», не царицу, не царя, «одну Татьяну видит он». Из «сладкогласия» строфой этой извлечено нечто делающее суетным, если не смешным, даже и само это осмнадцатого века слово. Нашокину автор ее однажды сказал, что на всех языках в словах, означающих «свет», «блеск», слышится буква *л*. Прибегнув к «букве» этой,

или к созвучию гласных с этим звуком, он и создал весь тот блеск, который волшебному имени служит ореолом и гаснет в его сиянии.

5. Уподобительное благогласие

Звук поэтической речи — в стихах, как и в прозе — не безразличен. С этим, в общих чертах, согласны все. Не безразличен он в стихах, даже и независимо от прямых требований рифмы или ритма, облекающегося в звук. Не понимали этого только во времена полного упадка стихотворного искусства. Но понять, что это так, и отдать себе ясный отчет в том, что это значит — две вещи разные. О неясности отчета свидетельствуют уже названия, даваемые этому явлению: «евфония» (как будто тут дело в одном благозвучии), «словесная инструментовка» (как будто стихи, подобно музыке, могут первоначально складываться и писаться не для оркестра своих гласных и согласных), «звуковые повторы» (как будто вне повторенья одинаковых фонем или слогов никакой выразительности звуков нет и никакая организация их в стихе невозможна), «звукопись», наконец (как будто вся их организация и вся их роль сводится к «живописанию» звуками, или, еще уже, к звукоподражанию); или «звукоречь», словечко нелепое (возможно было бы им обозначать любую звучащую речь), да еще и туманное (Шкловский, в двадцатых годах склонен был этим именем называть до-смысловую, но из словесных звуков состоящую внутреннюю речь, а Эйхенбаум звуковую ткань всякой поэтической речи). И, увы, есть еще всеми до сих пор применяемые термины «аллитерация» и «ассонанс», недостаточно уточненные, вечно отторгаемые от той сферы применения, где они были бы вполне уместны, и потому лишь запутывающие мысль. Что это такое, например, все эти наши «сладкогласием возлелеянные» ла-ло-лу и ле-ли-лю? Аллитерации, подкрепленные ассонансами, или наоборот? При чем ассонанс (другой степени) получается и при перемене гласной, особенно, если гласная эта не меняет звучания *л*, не превращает *эль* в *эл* (или наоборот); а так как само это *л*, в обоих его видах, согласная «звонкая», «сонорная», то ее повторы, «аллитерации» и ассонансами назвать не было бы грехом. Да и однородны ли все эти «скопления» или повторы? Одинаково

ли целеустремленны (сознательно или нет)? А те, о которых это возможно предполагать, стремятся ли они всегда к тому же, достигают ли повсюду того же самого?

Не покидая лелилепета и лаллогласия, младенчески ласкательного, как в «Дориде» (недаром обозначают немцы глаголом *lallen* говорок еще не научившихся говорить детей), и Пушкина не покидая, можно без труда заметить, что порой эти звуки и впрямь у него, как в первом моем примере из «Онегина», словно рождаются сами собой при легком повышении общего благозвучия стихотворной речи. Но уже не скажешь этого ни о портретах Ленского и Ольги там же, ни о полустрочке из сцены у фонтана в «Борисе Годунове» «волшебный, сладкий голос», ни о стихе из «Андрея Шенье» «Как сладко жизнь моя лилась и утекала». Во всех этих случаях лалесловие изобразительно — хоть и нисколько не звукоподражательно — в отношении того, о чем говорится этими словами: душевно-телесных обликов Ленского и Ольги, любви лже-царевича, счастливой юности поэта, обреченного на казнь. В «Медном всаднике» сходные повторы (толстого эл и его мускулатуре отвечающих гласных) — «...и он желал / Чтоб ветер выл не так уныло» — изображают (и выражают) совсем другое, из-за смысла слов, но и вследствие соседних звуков (*Be, Vy*; можно сказать, что тут повтор *ы* властвует над повтором эл), а в стихе «И челны на волнах лелеет» («Земля и море», 1821) дается, не совсем уверенно еще, нечто среднее между сладкозвучием предыдущих и взволнованной мглой последней из этих цитат; причем ни в ней, ни здесь звукоподражания нет (разве что в «унылом» «выл» захотят его увидеть), а есть изображение, более или менее описуемое «своими словами» или — вполне законно и так выразиться — *словами самих этих стихов, прочитанных не как стихи*. Тогда получится описание изображенного; стихами дается выражение его. Но есть и другие случаи. Чудесный стих в последней песенке русалок: «Поздно. Рощи потемнели. /Холодеет глубина» — никакому описанию сказанного им не поддается. Эти два слова исчерпывают то, чего никакими другими словами яснее высказать нельзя. Звуками же их выраженное никакого рассудку вполне внятного описания тоже не допускает. Мы только чувствуем, если умеем читать, что здесь, в конце «Русалки», эти звуки, отбирая в словесных смыслах одно и от-

брасывая другое, сулят — именно они, а не просто слова — вслушавшемуся в них зовущую, втягивающую, смертельную, может быть, сладость. И точно также никогда мы не разъясним рассудку до конца, чем хороши и чем *понятны* — но не ему — родственные этим, но совсем по-иному звучащие и об ином поющие звуки в прощальном объяснении Татьяны или в волшебной строфе, куда «колеблясь входит» Лалла Рук.

— Э ту сля а коз дюн леттр! Ву купе ле швё ан катр! — Молчать! Умолкни навсегда! Я еще и этой «буквы» не исчерпал. В том же «Онегине» вот пример (изъятая сорок третья строфа пятой главы) троекратного повтора эл: «...Буянова каблук / Так и ломает пол вокруг», бесспорно выразительного, но не лирически, как в предыдущих моих примерах, а, скажем, сатирически. Повышенного благозвучия тоже отсюда не истекает. Еще долгий путь нам, видимо, предстоит, покуда мы доберемся, лалесловию сказав прощай, до сколько-нибудь полного перечня того, что «звукоречью» может быть достигнуто. Звукоречью, или как бы этого не называть... И лучше всего тут все-таки начать с прозрачайшего из этих наименований, то есть с того, что именуется им, если термин этот, «евфония», понимать узко и буквально, — в полном соответствии с его исчерпывающе точным русским переводом: «благозвучие». И тут, однако, не обойдется, сразу же, без загвоздки, ни греческим, ни русским словом не предусмотренной, но насчет которой Державин (уже он!) успел нас надоумить, когда о легкости произношения упомянул. Дело не в одних звуках. Пешковский, сорок пять лет назад, отлично показал,* что к благозвучию, на равных началах, присоединяются благопроизносимость и благоразмерность (евритмия, «благоритмикой» я ее отказываюсь называть). Последнее «благо», тоже ведь не звуковое в своей основе, обеспечивается *стиху* стихом, при сколько-нибудь умелом со стихами обращении; но Пешковский писал о прозе, и притом ему было ясно, что все три «блага», пусть и в скромных размерах, необходимы всякой прозе, не то чтобы «изящной», а попросту удобочитаемой.

* А. М. Пешковский, «Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы». *Ars Poetica*, I. М. 1927, стр. 29-68. Автор «Русского синтаксиса в научном освещении» был ученым на редкость одаренным, которому идеологическая жандармерия помешала договорить то, что ему оставалось сказать.

Художество прозы касательно этих благ — или, собственно, первых двух, нужных, поверх третьего, и стихам — видит он, прежде всего, в преобладании звуков (в узком смысле слова, или «тонов») над шумами, — то есть гласных и звонких согласных над согласными глухими. Анализ — очень посредственного, увы — стихотворения в прозе Тургенева, «Милостыня», показывает, по его словам, «преобладание тонов над шумами, больше чем на 4% превышающее нормальное, разговорное преобладание» («необходимое для слышимости»); а в первой тысяче звуков «Онегина» насчитал он 20% шумов, тогда как «Фауст» шумит на четыре процента шумней, что объясняется, по его (справедливому, вероятно) мнению, большей «шумностью» немецкого языка, — и следственно, прибавлю я от себя, никакого значения не имеет, так как «Фауст» только и должен восприниматься на фоне немецкого языкового обихода. О «тонах» он напрасно говорит: их и в поэтической речи нет, их следует оставить музыке; но его наблюдения все же интересны тем, что и в этой элементарной области устанавливают приближение поэтической речи к музыкальной, где шумы, хоть и могут играть роль, но ничтожную (если о «музыке шумов» позабыть), тогда как степень «звучности» непэтической речи, поскольку ее слышимость обеспечена, для всех *ее* функций безразлична.

Однако повышенная звучность, как и «достаточное» благозвучие, или «достаточное» обладание всеми тремя «благами», для поэтической речи, в стихах и в прозе, все-таки недостаточны. Никогда подлинный поэт ими одними не удовлетворялся, а с другой стороны, он их нередко и попирает, под копыта своего Пегаса кидал, и поправление это поэзией своей оправдывал. П. М. Бицилли, медиевист, ставший, немножко поневоле, литературоведом, в первой своей, русской поэзии посвященной книге (за которой последовали работы гораздо более зрелые) объявил стих Баратынского «Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком» плохим стихом. Он показался ему и неблагозвучным, и неблагопроизносимым, и неблагоразмерным. Еще бы! Так оно и есть. Ведь и Тургенев на близких к этим основаниях правил Тютчева. Тем ведь стих этот и великолепен, что все три блага отбрасывает в нем поэт и *тем самым* избразительно выражает всё, что ему надо было выразить. Конечно, сплошь такими стихами Баратынский не пи-

сал: тогда и особливость их сошла бы на нет, и четырехстопный ямб вылетел бы в трубу. Даже и в этом стихотворении только еще одно столкновение иктов и связанных в пучки согласных (куда менее резкое) «Мысль, острый луч» соответствует тому, исключительной смелости стиху. Если Державин переборами ритма и скоплением вовсе-неплавных богат, то в силу первобытности своего гения. Но у поэтов, близкого к этому калибра, нейтральной евфонии, если этим именем называть совокупность всех трех благ, вообще не бывает, разве что для отдыха, в антрактах или во свидетельство неудач. Может никаких отступлений от нее и не быть (неоправданные равняются недостаткам), могут отсутствовать и прибавки *именно* к ней, придающие ей особый смысл, но тогда двойное отсутствие это компенсируется не звукосмысловыми качествами речи, а качеством того, что говорится, что передается *посредством* речи, не будучи в ней воплощено. Что же до прибавок, преумножающих самые эти блага, то они приводят к тому, о чем распространялся я уже по поводу лилей и Лилет, Делий и Леил. Сладкогласие и плавность вступают в свои права. Благозвучие становится изображением благоденствия.

Европейский восемнадцатый век был очень внимателен к звучанию прозы и к музыке стиха, отчасти, может быть, из антипатии к замысловатой образности во многих разновидностях поэтического барокко (чем я, конечно, вовсе не хочу сказать, чтобы Гёнгора или Донн были равнодушны к звуку своих стихов). Но внимание это вместе с тем оставалось и каким-то рассеянным. Чего вы требуете, милостивый государь мой, от стиха? Только ли того, чтобы не оскорблял, или чтоб он еще и ласкал ваш изнеженный слух; или чтоб изображал звучаньем своим... Да, да, нечто ласкательное, слышу я преждевременный ответ; и в самом деле, идиллия, пастораль, анакреонтический (но фарфоровый) балет никакого другого ответа и не внушают. Но ведь Батюшков все же «плавность», да еще к плаванью луны отнесенную, от другой «гармонии», порой, чего доброго, и режущей ухо, отличал, и на Западе, до него, отличия этого полностью все же не забывали; любили, однако, затушевывать его; «подражательную гармонию» («имитативную», это французский термин) хвалили, причем оба понятия, соединенные в этой формуле, оставались растяжными и неясными. Предоставим им пока, грамотеям этим же-

манным, отплывать к острову Цитеры, и вернемся на другой остров, чтобы навестить старого нашего знакомого Попия и полвека спустя, а то и больше, поклонника его, но и критика, достопочтенного Самуила. В Знаменитых десяти стихах (364-373) своей поэтики (названной «Опытом о критике», 1711) двадцатитрехлетний ее автор сперва провозглашает общий принцип, что благозвучия недостаточно (особенно всего лишь и состоящего в отсутствии сквернозвучия — или непроизносимости), и что звуки стиха должны казаться отзвуком его смысла

'Tis not enough no harshness gives offence,
The sound must seem an echo of the sense.

а затем в четырех двустихиях дает их же звуками иллюстрируемые примеры меняющегося, соответственно смыслу, легковейного, безмятежного звуко сочетания и сурового, грозного; тяжеловесно-замедленного движения стиха и быстрого, скользящего. Старший его современник, Аддисон, вещественное доказательство это одобрил, тогда как Джонсон, позже, в жизнеописании его,* высказал на этот счет не то чтобы возражения, а ворчливые сомнения, основанные, как это водится до наших дней, на том, что звукоподражательных слов в языке не много (он приводит четыре; их, конечно, у англичан во сто раз больше) и что замедления или ускорения стихотворного темпа зависят более от смысла, нежели от построения стиха. На самом деле они, как и все прочее, зависят от построения, определяющего звучание, но оставались бы бездейственными, если бы не отвечали смыслу; а «подражательность» слов, игнорируемая практической речью и не входящая в систему языка, в поэтической речи, может быть не только подкреплена, но и впервые создана соседними словами. Возможно спорить о «сходстве» с их смыслом таких (неупомянутых Джонсоном) слов, как прилагательное «шрилл» и существительное (с долгим *и*) «шрик»; но если их сблизить, да еще присоединить к ним совсем как будто невинное по части звука словечко «шорт», как это сделал рано умерший, младший современник

* «Жизнь Александра Попа» (1779), третья часть. Еще Дионисий Галикарнасский отличал «жесткое» словосочетание от «мягкого» (или «гладкого» или «сладкого») и от «среднего», но различая виды поэтической речи независимо от ее уподобления смыслу.

Джонсона, Коллинс, тут же («Ода к вечеру», 1747) использовавший и звук глагола «флит», относящегося к коротенькому порханию, то получится строчка, изобразительность которой едва ли будет подвергнута сомнению:

Now air is hush'd, save where the weak-eyed Bat
With short shrill shriek flits by on leathern wing.

Честь и слава пресветлому — и хитрому — пиите за его искусные и мудрые десять строк, как и ученику его (все поэты были его учениками, вплоть до Байрона, в его стране), так наглядно воспевшему подслеповатого зверька, обреченного порхать на кожаных своих крыльях. Что же до судии самого учителя, то, трибунала здравомыслия так и не покинув, он все-таки признал, что предписания свои по части звука автор «Опыта» умел выполнять лучше всякого другого английского поэта. Доктор, правда, не от своего имени это высказал, молве приписал... Справедливая молва! Только предписаниями этими ничего совсем нового сказано, конечно, не было. Ведь уже и Драйден в своей прославляющей музыку «Песне ко дню св. Цецилии» (1687) простыми средствами, но весьма успешно тембру различных инструментов «подражал» (верней впечатлению, производимому ими на слушателя). Ведь и Мильтона за скрежет и нежный звон дверей Ада и Рая не раз хвалили. Да и спокон веку все это было известно; еще в древности отдельные стихи Гомера и Вергилия с этой точки зрения обсуждались; юный поэт лишь поэтической кухне своего времени рецепты эти, обновленные его тактом и чувством меры, заново предлагал. Теоретические же их основы оставались, по-прежнему, туманными. И когда, к середине столетия, разговоры о «подражательной гармонии» стали всеобщими, из Франции перекинулись и к нам, понимание этой «гармонии» либо стало очень расплывчатым, либо до крайности сузилось, свелось к чистому звукоподражанию, чего в тех десяти строках совсем не предугазано и к чему соответствия между звуком и смыслом вовсе незачем сводить.

У нас, Радищев, в своей апологии Тредьяковского (1801), перевел французский термин на два лада — «изразительная гармония» и «уподобительное благогласие» — оба раза «подражание» устранив, чтоб я склонен приписать острому его уму: это самый естественный перевод, но и самое неподходящее

русское слово в применении к искусству (неподходящее и по-французски или на других западных языках, но укорененное там в более чем двухтысячелетней традиции, приведшей к невероятной путанице, которую я надеюсь распутать, но позже, а пока что и простой выбор слов, по примеру Радищева, нас от нее освободит). «Кажется, — пишет он, — все чародейство изразительной гармонии состоит в повторении единозвучной гласной, но с разными согласными». Образчики он приводит, однако, отнюдь не одних ассонансов, — лучшие два приберегнув для заключения этого своего «Памятника дактилохореическому витязю». «Какая легкость, — восклицает он, — в следующем: 'Зрилась сия колесница лететь по наверхности водной'. А еще легче действительно, как нечто легкое, виющееся по ветру: 'И трепетались играниями ветра, вьясь, извиваясь'». Можно согласиться с этой похвалой; «благогласие» тут есть; есть и «уподобительность», если не понимать ее слишком узко. Гексаметры оба раза получились достаточно гибкие, текущие. В первом стихе, два *e* слова «лететь» получают подтверждение в соседних словах (причем *e* в «колеснице» неударное, как и первое в «лететь», зато оно, как и там, не *e*, а *ле*). Во втором, «вьясь, извиваясь» извиваются и вьются как бы и звуком, а значит вдвойне, чему на помощь идут «играния ветра», да и два *e* в первом слове этого стиха. Звукоподражания нет; уподобление налицо. Всегда можно сказать, что оно — иллюзия, что реальны (гарантированы словарем) лишь обычные значения слов. Значения эти необходимы, но будь слова эти расположены иначе, не возникла бы иллюзия. Да и что она такое? Синоним искусства, может быть? Те, кто о нем думали, думая о театре, как Шиллер, бывали заморожены этим словом. Но оно головокружение вызывает, как если держать зеркало против зеркала. Можно обойтись и без него. Актер стал Шейлоком, покуда играют «Венецианского купца». Слово «ветер» стало ветром в стихе, благодаря движению стиха и соседству каких-нибудь «ветвей», «веений», «приветов». Ветер этот, вероятно, не обветрил вам лица; но ведь и Шейлок, сойдя со сцены в зрительный зал, тотчас перестал быть Шейлоком.

Беда «изразительной гармонии» в том, что упрощенное представление о ней и слишком осознанное искание ее очень быстро способны ее лишить всякого поэтического смысла. В 1785-ом году вышла в Париже никчемная, но любопытная

поэма совершенно забытого нынче автора, которого звали де Пийс. Так-таки деловито и озаглавлена она была: «Подражательная гармония французского языка». Первая ее песнь перечисляет буквы французской азбуки в качестве средств, которыми осуществляется искомая «гармония», и применение сих средств (звуков, конечно) каждый раз иллюстрируется стихами, где все слова начинаются на ту же букву. Вторая песнь указывает способы использования таких приемов стиходелания на практике, и в частности дает звукоподражательное изображение бури. Третья посвящена подражанию шумам, производимым различными промыслами и ремеслами, звукам различных инструментов, отклику эхо, мычанию, ржанию и лаю домашних животных. Четвертая — щебету птиц и жужжанию пчел и ос. Результат всех этих «имитаций» крайне пресен. Сходство достигается ими не то чтобы отдаленное (другого и быть не может), а схематическое, вроде сходства математической графемы «корень» с корнем древесным, и скука ото всех этих потуг получается великая. Будучи много лет счастливым обладателем этой книжки, найденной мной у парижского букиниста, я много раз начинал ее читать, но лишь недавно обрел мужество (хоть и всего-то в ней сто страниц) дочитать ее до конца. Нет в ней ни одного стиха, который хоть издали мог бы сравниться с теми двумя Радищевым обнаруженными в «Тилемахиде». Тредьяковский не только забавней и милей; он, по временам, поэт. — Искусство всегда преднамеренно, однако преднамеренность искусства не создает. И не всякого рода преднамеренность подобает художнику и поэту.

Другая беда «уподобительного благогласия», но не столько его самого, сколько учения о нем, выступает как нельзя более ясно, если принять именно этот, второй и прелестный, радищевский перевод французской формулы. Благогласию с уподоблением слишком уж легко вступить в конфликт, — не то чтобы непременно в стихах, а во мнении людей, оценивающих стихи, как равным образом и прозу. Эллинистических ценителей отпугивало повторение сигмы (т.е. звука *c*), но читая девятую песнь «Одиссеи» они все-таки (следует думать) замечали, что слово «сисилигмбс» в 394-ом стихе лучше изображает шипенье погружаемого в воду железа, чем «сигмбс» общегреческого языка. Стих расиновской «Андромахи»

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes

обсуждался сто раз. Одни его (справедливо) считали весьма выразительным; отечественный наш Остолопов (1821) приводит его в «Словаре древней и новой поэзии», повидимому, с одобрением; но известный «стихoved» Клэр Тиссёр (1893) не посоветился назвать его худшим стихом Расина, и даже такой отнюдь не заурядный критик, как Альбер Тибодэ в создавшей ему славу книге о Малларме (1912, стр. 200) называет этот стих «плохим стихом о змеях» и несуразно сопоставляет его со стихом Малларме, столь же поспешно отвергаемым им (но где к свистящим примешана шипящая, чего у Расина нет) и со стихом Буало, действительно неудачным, но который и не позволяет предполагать никакого выразительно-изобразительного намерения. И точно так же (но по поводу «скоплений» не *c*, а *p*) обладавший тонким поэтическим слухом исследователь французской просодии и фонетики Морис Граммон осудил восхищавший Теофиля Готье стих Сент-Бёва

Sorrente n'a rendu mon doux rêve infini,

считая, что рокошующие повторенья *p* французской речи всюду и всегда вредят, но вовсе себя и не спросив, нет ли случаев, когда благозвучием позволительно бывает пожертвовать, как жертвуют им порой, и совершенно законно, в другой — бессловесной — музыке. Но как бы то ни было, можно вспомнить, в восемнадцатый век еще раз заглянув, что Руссо, музыку любивший, ее и о ней писавший, до того испугался повторения звуков *руа-руа* (*trois cents rois*) в своей фразе о римском Сенате, который хотелось ему назвать, обличая олигархию, собранием трехсот королей, что, наперекор истории, сократил до двухсот число этих олигархов.

Так что о «благогласии» иные заботятся всерьез, тогда как об «уподобительности» многие серьезные люди, и в те, и в последующие, и особенно в наши времена, полностью ее отрицая, и рассуждать отказывались. Предоставляли Остолопову называть расиновский стих «изображающим шипение и свист змеи...»

— Да слышал ли он когда-нибудь сей свист?

— А стих Сент-Бёва, несомненно нарочитый, он сам о нем пишет, любуясь им...

— Что ж, по-вашему, Сорренто изображает, что-ли?

— Нет, я *этого* не думаю. Но вы-то помните: «Полюбуйтесь же вы, дети / Как в сердечной простоте / Длинный Фирс играет в *эти* / *Те, те, те и те, те, те*»?

— Помним. В сердечной простоте и вспоминаем. Это на счет карточного долга. Дальше Пушкин комплимент «черноокой Россети» из тех же местоимений смастерил.

— Ну, а третья строфа. Как лирически он ее начал! И в тот же миг другие, «ненужные» *те* в нее вставил: «О, какие же здесь сети / Рок нам стелет в темноте...» Зачем же он это, или отчего?

— Не знаем и знать не желаем. Повторы и всё тут. Кончать эту песенку пора.

6. Повторы. Ну и что ж?

Петербургский гимназист, класса пятого или шестого — Петькой, должно быть, его звали — сочинил некогда рассказ, все слова которого начинались на букву пе. «Проснулся по-праздничному поздно. Потянулся, понежился...» (Больше догадываюсь, чем вспоминаю). «Потом подумал: пора! Помоюсь, приоденусь, пойду погулять. Погода прекрасная!» Так и продолжалось; хватило на страничку. Упоминались портерная, половой, пиво, полтинник, пол порции печенки, переулок, проспект. Наконец, не помню уж на каких пе, докостылял сочинитель до Набережной, и тут — обернулся поэтом. Окончания его басенки, с той поры, как ее слышал, так я и не забыл: «Птички поют. Пушки палят. Праздник!»

Как удивился бы он, если б узнал, что в девятом веке монах Убальд посвятил Карлу Лысому целую поэму, каждое слово которой начиналось с той же буквы, с какой начинается латинское слово «лысый», а также имя короля-императора. Произносилась эта буква (в отличие от Августова века) на два уже лада (*к* и *ц*), но не в звуках тут дело, и существует кроме того (значительно более поздняя) латинская поэма, насчитывающая 850 стихов, все слова которой начинаются как раз на петину букву. Автор ее и псевдоним себе соответственный придумал: Публиус Порциус, памятуя о предмете поэмы, заглавие коей я вольно — ему в угоду — переведу: «Побоище поросят». О ней и Остолопов наш вкратце трактует, под сло-

вом «тавтограмма». Обе поэмы упоминаются в классическом для тех времен, переиздававшемся множество раз трактате Дю Марсэ о тропах (1730), в качестве курьезов, с улыбкой снисхождения: мы, в наш просвещенный век... («Гармонии» де Пииса, метившей, правда, чуть повыше, он не предвидел). Остолопов начисто возмущен. Вспоминает латинскую пословицу «глупо заниматься трудным вздором» и кончает в сердцах: «К чести нашей поэзии, у нас нет тавтограмм».

Увы, прошло без малого сто лет, и нашу прозу Петенька обесчестил. Именно тавтограмму или цепь аллитераций — литеры или граммы, это ведь всё буквы — он в своей тетрадке и нацарапал. Только все же свой рассказик он подконец, нечаянно должно быть, и на голос положил. Те гармонии «выразительные» к бумаге прилипли, если же и прозвучали, то скрипуче, а его последние пять слов хочется вслух произнести. Звук *п* при этом главной роли не играет. Действительна тут скорее одинаковость сочетания слов в первой и второй их паре, хорошо вступающее в конфликт с трудно согласуемыми (оксиморон тут не за горами) птичками и пушками, и талантливо поставленное восклицание в конце; но некоторую поддержку всему этому единоначалие пяти этих слов тем не менее оказывает. Не важно, что всё это *п* (и твердые *п*); важнее, что это в точности одинаковые артикуляции и звуки. Благодаря им и птички поют и пушки палят как-то бойчей, праздник становится праздничней. Элементарнейший повтор, при содружестве с другими поэтически не безразличными приемами речи, обретает поэтическую силу. Вслушайся, и на гимназическую фуражку ты возложишь скромный лавровый венок.

Элементарна аллитерация эта потому, что состоит в простом повторении одной фонемы, и всегда начальной, нескольких слов подряд. Но гнушаться ее простотой было бы все же опрометчиво. В третьем акте «Живого трупа» Федя Протасов читает цыганке Маше нечто им написанное:

«Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у мурынской площадки. Площадка эта была крепкий остров, с сильными выводами. Был темный, теплый, тихий день. Туман...»

Чтение прерывают. Последние шесть слов образуют пятистопный ямб (без цезуры), что не слишком, однако, ощущается, главным образом потому, что все прилагательные — хо-

реические слова (односложный глагол служил бы им, в стихах, анакрузой). Три эти слова связаны между собой, кроме ритма, таким же единоначалием, как все пять слов петиной концовки (одинакового качества согласной, твердой у Пети, мягкой здесь), а первые два из них еще и двойным повтором *тё, тё*. Существительное, к которому они относятся, *день*, тихонечко звенит, им в догонку; «туман», после точки, контрастирует с ними — гласными и другим *т*. Музыка осложнена; но ее основа — все та же простая аллитерация, которая, однако, к тавтограммам, вовсе не музыкальным, никакого отношения не имеет. Там — ребячливая или педантическая забава; здесь — поэзия. «Коли уж ты написал, то хорошо будет», говорит перед чтением Маша. «Был темный, теплый, тихий день. — Туман». Тире я поставил, чтобы подчеркнуть паузу. И впрямь: хорошо. Надо лишь фразу эту медленно прочесть. Надо услышать ее, пусть внутренним, но к ее музыке обращенным слухом.

О. Брик прилежно выполнил в свое время («Поэтика», 1919) нетрудную, но кропотливую работу: рассортировал «звуковые повторы» (так и озаглавил он статью) у Пушкина и Лермонтова, но рассортировал их совершенно так, как могла бы это сделать нынче электронная машина: по чисто внешним признакам, количественным и комбинаторным. Сколько звуков повторяется, сколько раз, в каком порядке, — больше ни о чем он себя и не спросил. Не функционально мыслил (ага, небось, испугались: по-ученому я заговорил). Функциями всех этих повторов в поэтической речи, столь различными — а порой и близкими к нулю, да и вовсе никакими — не интересовался. И, кроме того, выделил повторы согласных, то есть одними аллитерациями (по общепринятой терминологии) занялся, ассонансы игнорируя, и даже не упомянув о том, что в его же примерах эти два рода повторов сплошь и рядом совмещаются, да еще и так, что их действительность совместна и неделима. Наконец, в довершение беды, не учитывает он и различия между твердыми и мягкими согласными; предупреждает, правда, об этом, поясняя, что твердый и мягкий звуки («той же» согласной) «воспринимаются нами (...), как тот же звук, смягченный или отвердевший», тогда как на самом деле, при внимательном вслушивании в поэтическую

речь, они воспринимаются как родственные между собой, но по-разному окрашенные звуки.

Беру первый, в длинной веренище его примеров (из «Мцыри»). «Так тополь, царь ее полей». Он подчеркивает два *п* и два *л*: простой (а не в обратном порядке) «двойной, двухзвучный» повтор. Но звучит в этом стихе повтор *слога* (*поль-поль*), а начинается стих со скромной, т. е. не очень действенной аллитерации на *т*, и согласная эта столько же раз повторяется в нем, как и в отдельности взятые *п* и *л*. Второй пример (из «Демона»): «Без руля и без ветрил». Здесь соседят сперва твердое *р* с мягким *л*, а затем мягкое *р* с твердым *л* (в том же порядке, но это как и в большинстве случаев, несущественно, так что этот принцип классификации к сути дела, т. е. к впечатлению, производимому повторами, отношения не имеет). Ощущение повтора получается, но куда более слабое, чем в приведенном под той же рубрикой стихе из той же поэмы «И пар от крови пролитой», где повторяются одинаковые (твердые) *п* и *р*, но где, кроме того, есть еще и третье *р*, классификации ради не учтенное, да еще и квази-повтор *кро-про*, не менее «красноречивый», чем зарегистрированный Бриком, а главное, сливающийся с ним в одно целое. Тогда как в тут же процитированном стихе из «Боярина Орши» «Но казнь равна ль вине моей» повтор неравнокачественных *в* и *н* ощущается очень слабо; сопоставляются, собственно, звучания *вна* и *винь*, мало между собою сходные.

Так можно было бы продолжать долго... Наиболее интересна — в принципе, по крайней мере — предложенная Бриком под конец классификация повторов согласно играемой ими роли в композиции стихотворной строки или пары строк. Здесь он все-таки переходит к выяснению *функции* повторов, пусть и чисто структурной, не смысловой, но относящейся уже не к структуре самих повторов (их порядку, например, едва ли для какой бы то ни было их функции очень важному), а к структуре стиха, и значит стихотворения. «Кольцо», «стык», «скреп», «концовка», — начинаешь настораживаться, это не то, что различение последовательностей АГБВ и ВАБГ. К сожалению, однако, не только тот же вред приносит и здесь учет одних лишь согласных и отсутствие учета мягкости их и твердости, но и сомнительной представляется сама структурная значимость таких, например, «колец», как «Однообразен

каждый день» («Бахчисарайский фонтан») или «В юдоли, где расцвел / мой горестный удел» (Городок»). Если бы я ответственных букв не подчеркнул, читатель бы, всего верней, и не догадался, какие повторы обнаружил в этих строчках Брик. Глазу можно их показать, можно заставить ухо их услышать; но услышать их как нечто поэтически неотъемлемое, для стихов этих существенное, мудрено, а композиционное их значение и вовсе сомнительно. Сомнительно оно и едва ли не во всех прочих кольцах, стыках, скрепах и концовках, когда они не поддержаны синтаксисом (который без их поддержки может обойтись), и тем более, когда они синтаксису противоречат, как в целом ряде приводимых Бриком примеров. Отмеченные им повторы нередко действительны, но не для членения стиха; не структурную роль играют, а другую. Ему это, однако, безразлично; его и в данном случае не интересует роль или функция тех или иных особенностей поэтической речи, выполняемая ими при ее восприятии или намечаемая, пусть и полусознательно, при ее возникновении. Жалею об этом, хоть и знаю: он мог бы мне возразить, что устанавливает именно факты — предмет *науки*, тогда как я, с моими разговорами о восприятии, о действительности, о том, что существенно для качества такого-то стиха или стихотворения и что нет, остаюсь в области суждений и оценок, не поддающихся точной проверке и, следовательно, не научных.

Вопрос этот о «научности», понимаемой на манер естествознания и математики, и о возможности научного (в этом смысле) изучения литературы (или искусства вообще) имеет общее значение. Рассмотрение его я откладываю до другой главы; мнение мое на этот счет и без того ясно, а теперь, возвращаясь к моей теме, замечу, что статья Брика принята у нас была в те годы очень сочувственно всеми теми, о ком стоит вспоминать. В первой книге Р. О. Якобсона, «Новейшая русская поэзия» (Прага, 1921) были даже объявлены «значащими» в русских стихах (стр. 48) одни лишь повторы согласных, в чем автор всерьез и надолго убежденным остаться никак, разумеется, не мог. Более распространенным и прочным было другое «впечатление» (выражаясь словами В. М. Жирмунского в его книге о рифме, 1923, стр. 19) «впечатление, что поэтическая речь в звуковом отношении насквозь организована», после чего введена им была справедливая поправка:

«хотя эта организация и не может быть сведена к системе, к простой и однообразной повторности, и далеко не во всех случаях отчетливо воспринимается сознанием». Б. В. Томашевский, в своей «Теории литературы» (1925, стр. 62 сл.) говорит о «звуковом единообразии» как о чем то самодовлеющем, ни в каких особых мотивировках не нуждающемся, и перед тем, как вкратце повторить классификацию Брика, формулирует такой закон (законом его, впрочем, не называя): «в поэтическом языке подобозвучающие слова тяготеют друг к другу». Только Ю. Н. Тынянов («Проблема стихотворного языка», 1924) не совсем примкнул к такого рода взглядам, — в отличие от своего друга Б. М. Эйхенбаума, к статье которого 1920-го года, вошедшей в сборник «Сквозь литературу» (1924) и совсем коротенькой (семь страниц), всего уместней будет сейчас же и перейти.

Статья эта, «О звуках в стихе», начинается так: «В последние годы у нас стало общепризнанным, что стихотворный язык обладает особой *звукоречью* — что звуки языка играют в поэзии (особенно лирической) какую-то особую роль», после чего порицаются те, кто эту роль считает звукоподражательной. Сам Эйхенбаум, несмотря на иронический, как будто, тон этой фразы, *особого* звучания поэтической речи отнюдь не отрицает, но звуки ее называет «самоценными» и «самозначущими», не замечая двусмыслицы второго из этих прилагательных, которое дает нам право думать, либо, что звуки эти сами по себе, то есть независимо от словесных смыслов, что-то значат (но тогда они не самоценны), либо что они значат самих себя (то самое, что они есть), иначе говоря, не значат ничего. Весьма резко полемизирует он с Андреем Белым по поводу двух строчек «Медного Всадника», содержащих самые знаменитые, кажется, звукоповторы во всей русской поэзии: «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой». Белый в статье «Жезл Аарона» (1917) о них писал: «Обыкновенно здесь отмечают аллитерацию, не объясняя ее: аллитерация-де есть самоценность, отнесение ее к смыслу слов-де предвзятость, натяжка, и оттого-то одни (обыкновенно эстеты), упиваясь сладостью звука, погребаяют в нем смысл; и оттого-то другие, смеясь над сладостью звука, создают себе представление о поэтическом смысле абстрактно, рассудочно». По мнению Белого, тут «живописуется звуками» то, что ска-

зано словами: «Взлетают пробки бутылок шампанского, струя влаги, сначала маленькими толчками, а потом и большими, ниспадает, пенясь, в бокалы и стоит *шипенье пенистых бокалов*; взлетающей вверх молнией поднимается *пунша пламень голубой*. Происходит «чудо слияния смысла, образа, звука в единую цельность звукообраза».

Эйхенбаум возражает: «Но ведь если сказать это все простыми словами, то чудо это состоит в простом звукоподражании. При чем же здесь поэзия? При чем здесь стих? Так можно всего Пушкина перевести, зачем тогда Пушкин? Не лучше ли созерцать эту детальную картину в таком полном виде, в каком она развернута у Белого? Зачем прятать ее в аллитерации? Или поэзия просто ребус?» И прибавляет: «Старая, банальная теория: гармония формы и содержания, поданная под видом 'звукoобраза'. Прибавку эту, излишнюю, на мой взгляд, и только запутывающую мысль, я обсуждать не буду. Об остальном скажу: Белый неправ, но Эйхенбаум еще более неправ.

Никакой «детальной картины» (выражение Белого) в пушкинских шести словах не только не заключается, но они и нас не заставляют (хоть нам и не мешают) в нашем воображении эту картину рисовать. Истолкование, предложенное Белым, чересчур буквально — до смешного; но утверждать, чтобы звук этих слов никакого отношения к их смыслу не имел, все-таки нельзя. Первое из этих слов звукоподражательно само по себе: «шипенье», «шипеть» — ономотопеи, в узком смысле слова. Применяем мы их в обыденной речи, о звучании их не думая, но стих побуждает вслушиваться в звуки, которых мы не слышим без стиха; здесь же этот звук актуализируется, подчеркивается звуком соседних слов. Сперва подхватывается его незвукоподражательная часть: «*шипенье пенистых*», но далее «И пунша» поддерживает звукоподражание. Третье слово, «бокалов», перекликается своим эл с пятым и шестым, «пламень голубой», причем вторая половина слова «пламень» согласуется еще и с только что отмеченными *ень ени* в предыдущей строке. Звукоподражания больше нет. Никакая пенистость или пена в звуковом уподоблении не дана (русские эти слова, в отличие от немецкого «шáум», не уподобительны, даже косвенно). Никакого «звука взлетающих пробок» словесными звуками не изображено, и никакого «об-

раза» пламени «взлетающего вверх молнией». Но слияние звука и смысла все-таки происходит. Звукосмысл все-таки налицо, не совпадающий с вне-поэтическим значением двух трехсловесных фраз, хоть несколько его и не отменяющий. (Оттого я и предпочитаю говорить о звукосмысле: «образ» — предательское слово, смешением зримого и незримого; «смысл» — расплывчатое, но именно поэтому здесь и подходящее). Белый, будучи поэтом, слияние тут и почувствовал: самое главное, чего Эйхенбаум не ощутил, а не ощутив, и оказался, несмотря на меткость своей критики, виновным в «погребении смысла».

Да и не полностью была эта критика меткой. Возможность пересказа поэтических текстов, неизбежно беспомощного и плоского, или пояснения их словесного состава, ненужными их не делает; и к *простому* звукоподражанию Белый того, что называл он чудом, не сводил: понимал, конечно, как и все мы, что голубого пламени звуками не намалюешь. Он увлекся. Блажен, кто искусством увлечен; и увлечение его лучше свидетельствует о силе пушкинских стихов, чем отсутствие увлечения у Эйхенбаума. Если бы только брэнчала поэтическая речь, потому что полагается ей брэнчать, и на смысле сказанного ею это бы не отражалось, можно было бы отвернуться от этого брэнчанья, нечего было бы в нем изучать. Спешу заметить, однако, что бесплодным отрицаньем Эйхенбаум отнюдь не удовлетворился, о чем уже через два года после того нас оповестила прекрасная его книга о мелодике стиха, и немного позже об Ахматовой, где как раз говорится, и очень хорошо, о выразительности (артикуляционной) отдельных речевых звуков. (Они обе переизданы теперь в сборнике «О стихе»; Боже мой! насколько работа об Ахматовой лучше двух тогдашних работ о ней — почти сплошь бестолковых — будущего академика Виноградова; они тоже переизданы, но не в России). Замечу также, что и в «Теории литературы» Томашевского, наряду с формулами о «звуковом единообразии» и о «подобозвучащих словах» «тяготеющих», на манер снабженных крючками атомов, друг к другу, есть и очень дельные соображения об уподобительных возможностях слов и словесных звуков. Но в общем все же (если исключить названную выше книгу Тынянова, ценную, но не очень внятную, и не имевшую последствий) о поэтическом *смысле*, в те времена распространяться у нас не особенно любили. Подсознательная

основа «формализма» — стремление обесмыслить литературу, дабы «наука» могла с ней справиться; оттого ему и нравилась заумь. У лучших его нынешних наследников (я прежде всего имею в виду Ю. М. Лотмана), при еще более отчетливом наукопоклонстве (постулирующем невозможную единую науку о смыслах и о фактах, которые сами по себе смысла лишены) это изменилось. Но разговор о взглядах выдающегося этого ученого я отложу и вернусь к двум пушкинским стихам.

Повторы, только и всего. Так Эйхенбаум в 20-ом году отмахнулся от восторгов Белого. Если бы он был прав, следовало бы и от повторов отмахнуться, как это сделал через семь лет, когда начались гонения на «формализм» и отречения, прямые или замаскированные, от него, весьма компетентный литературовед Ярхо во второй части своей статьи «Границы научного литературоведения» («Искусство», III, 1; 1927). Повторы ведь бывают и совсем случайные. Вот он и пишет в этой статье, не без саркастического триумфа, о том, что звук *н* встречается пять раз в четверословии «полное собрание сочинений Пушкина». Мог бы он выбрать и побойчее пример. Тот же звук встречается те же пять раз, но в двух всего лишь словах (в каждом их слоге) вполне обиходного, по адресу надоевшего плаксы возгласа «несносный нюня». Но кто же, если я люблю стихи, заставит меня поверить в случайность звуковой ткани тех двух пушкинских строк или отучит вслушиваться в столь же, если не еще плотней, вплетенные друг в друга и вплетением этим по-новому осмысленные звуки двух стихов из того же вступления к «Медному Всаднику»: «Бросал в неведомые воды / Свой ветхий невод...», — или, собственно, четырех только слов в этих двух стихах. Звукоподражания здесь, разумеется, нет; оно и в «пенистых бокалах» не играло главной роли; нет ни там ни тут и никакого буквально понимаемого изображения голубого пламени пунша, ветхости невода, неведомости вод. Но если так, что же тогда происходит? а если ничего не происходит, зачем повторы, или вообще требующие вслушиванья звуки? «Зачем тогда Пушкин?». (Можно ведь и так повернуть эйхенбаумовы слова). Не для того же, чтобы звенеть «подобозвучащими словами»? От повторов-и-все-тут один только шаг до повторов-ну-и-что-ж. Да и шага нет: это те же самые повторы. Петеньке можно их подарить, хотя доигрался он и до других. Или «несносному нюне», ко-

торый, однако, если вправить его куда нужно, способен зазвучать по-новому. — Зазвучать? — Я хочу сказать: осмыслить свое звучанье.

Происходит следующее. Слова, сплетенные (или только приближенные одно к другому) своими звуками, сближаются и сплетаются также и смыслами или частью своих смыслов. Пламень начинает пениться, бокалы голубеть, невод становится неведомым, или выражаясь менее картинно, смыслы этих шести или четырех этих слов образуют общее слабо расчлененное смысловое пятно, переставая быть смыслами слов и становясь смыслами их звучаний. Речь преодолевает язык — или верней «нормальное» применение языка — отходя от обыденной речи, пользующейся языком сигнитивно: как системой знаков, одной привычкой, безо всякой мотивировки, связанных со своим значением. Значение распознается в устной речи по звучанию, но важно при этом не само звучанье, а лишь его отличие от других звучаний. И точно так же, для понимания предложений важно не соседство слов, не их сходство или несходство, не соотношение их звуков, а лишь синтаксическое их согласование. Поэтическая речь отходит от обыденной, и лексически, и синтаксически. Она возвращает языку его первоначальную, расплавленную, не установившуюся, а становящуюся природу. Словам она возвращает смысл, предшествующий (хоть и вне времени) их отдельным, предметным, контекстом определяемым значениям.

Этот смысл в ней звучит, оттого ее звучанье и становится *само по себе* осмысленным. Понимание знаков заменяется созерцанием непосредственно или (что то же для нашего чувства) изобразительно выраженного звуками. Оттого-то и бываем мы склонны слишком буквально истолковывать это изображение, — тем более, что оно может в себе содержать, и нередко содержит такую (метафорическую или прямую) уподобительность. Но если ее и нет, понимание *поэзии* остается созерцанием, отнюдь не похожим на расшифровку (автоматическую и мгновенную в большинстве случаев) языковых знаков обычной речи. Это не значит, что она должна отказываться от значения слов и от «мыслей», образующих содержание обычных предложений. Пушкин никогда этого не делает. Никакой поэт полностью сделать этого и не может. Разница тут в степени отдаления, в способах затушевки значений или

их отвода на второй план. Но никогда поэтическая речь *обозначением* чего бы то ни было удовлетвориться не может. Это ее и с музыкой роднит. Это и порождает собственную ее музыку.

Родится она, однако, и музыку свою родит, еще до словосочетаний и слов, в сумбуре начинающейся речи, в словесных звуках будущей поэзии. Придется и нам вернуться к ним, чтобы ближе взглянуть на все эти *те, те, те*, и даже *е, е, е*, да и просто *е*; чтобы лучше понять, отчего это, читаешь, ни о чем таком не думая, Тютчева, «Осенней поздней порою...», без всяких каверз читаешь: «И белокрылые виденья, / На тусклом озера стекле, / В какой-то неге онеменья / Коснеют в этой полумгле...», и так хорошо становится на душе, и сладко, и светло, и больно; а потом спохватишься и прикрикнешь на себя: ишь ты, расчувствовался, да ведь не будь тут, старый чорт, этих *не* и *не* и *не*, да еще *ге, ме, ле*, не испытал бы ты ни радости, ни боли...

Только я свое «отчего» как то криво поставил. Надо иначе. Отчего — или чем — все эти звуки нужны? А музыка, хоть я ее и «разъял», осталась все той же музыкой.

В. Вейдле

РОК

Не боль и не испуг,
Само собой понятно,
Замкнулся жизни круг.
Часы идут обратно.

Заводят хоровод
Дней пролетевших стаи,
Прошедшее растёт,
А будущее тает.

УПОЕНИЕ В БОЮ

В газете — « Комсомольской правде»
Была заметка обо мне,
Что будто я, отчизны ради,
Пал смертью храбрых на войне.

Прошли года, в тоске унылой
Сомненья мучают меня:
Не убежден, что это было,
Всё ж нету дыма без огня.

Хотите верьте, иль не верьте,
Но задыхаясь и смеясь,
На фронте я вступил со смертью
В непозволительную связь.

И до сих пор, в заботах быта,
В земной любви и в царстве сна
Её объятья не забыты;
Я знаю — ждёт меня она.

ВОЗРАСТАНИЕ

Бойко плавает средь ила
Головастик в луже стылой.

Как личинка — он безличен,
Но до неприличья взвинчен.

Извивается весь, дабы
Обрести осанку жабы.

БИОГРАФИЯ

Был он автор,
Был поэт.
Завтра завтрак,
Нынче нет.

Весь в заботах,
Свет не мил,
Но работал
И творил.

Неврастеник
С юных лет.
Мало денег,
Много бед.

Боль до дрожи:
Нету крыл...
Умер, всё же,
Значит — жил.

Глеб Глинка



Я — поэт и вдова поэта.
Это очень важно. За это
Мне наверно простятся грехи
И за то, что пишу я стихи,
Те, что сводят людей с ума,
Как с ума я схожу сама.

Я — поэт и вдова поэта —
Беззаконнейшая комета,
У которой в поющей крови
Мало шариков, много любви
И свободы хоть отбавляй.

Мой читатель, мой почитатель,
Друг мой верный, прощай, прощай!
Да, прощай, а не досвиданья.
Что мне слава и что почитанья,
Что мне Англия или Китай?

Я слагаю в стихи слова
Так что кругом идет голова,
Как волчек...
Я кружась поднимаюсь все выше
И, пробив головой потолок,
Разбросав черепицы крыши,

Превращаюсь я вдруг в сиянье,
В крылья ласточки, в Древо познания
Мирового добра и зла,
В длинноухую тень осла.

Ирина Одоевцева, 1972

ВСПОМИНАЯ АДАМОВИЧА

По-моему, это был человек большого обаяния, хотя обаяния, которое раскрывалось не сразу и не всем, как и неподдельный адамовичевский аристократизм. Георгий Адамович со всеми без исключения говорил совершенно просто, вежливо и естественно-изящно; может быть, с еле уловимой нотой в голосе, дававшей понять, что он ничего вам не навязывает, даже и своего общества, и тотчас готов прекратить разговор, если вам скучно. Но скучно с ним быть не могло.

Об Адамовиче-собеседнике — ниже, сперва надо сказать про его ораторский дар. Он был одним из четырех-пяти замечательных ораторов, которых мне посчастливилось слышать. Помню, Маковский, разводя руками, удивлялся: «Ни одного ораторского жеста, никаких ораторских интонаций, в сущности монотонно, и голос какой-то тонкий, а все точно замерли, гипноз какой-то».

В последний раз я слышал его весной прошлого года на моем вечере в Париже. Мысленно возвращаюсь, вхожу в зал Русской консерватории. «Иных уж нет», но, слава Богу, здесь еще девяностолетний Борис Зайцев, еще здесь, слава Богу, рядом с ним на эстраде, четыре наших поэта-критика, которых так жадно читал я уже лет тридцать назад; трое из них причастны еще Серебряному веку. И вот «первым докладчиком» встает Адамович, и он почти, почти тот же, как двадцать лет назад, когда в этом же зале обсуждали поэты стихи Анатолия Штейгера и мою первую книжку. Почти тот же.

Правда, лицо желтое, желтизна в белках черных глаз (глядящих как бы внутрь и как бы вдаль). Он по-прежнему без очков, держится прямо, как всегда, корректно одет в темное, с хорошо повязанным темным галстуком, волосы тщательно расчесаны на косой пробор. И тот же голос, как двадцать лет назад, как бы с отзвуком надтреснутого стекла, и по-прежнему умная речь, с тем же ненавязчивым и непоказным изяществом.

Не знаю, изящество ли в костюме и манерах или что-нибудь другое не простила молодому Адамовичу поэтесса Надежда Павлович, эта Магдалина у ног Христа — Блока, не охотница до акмеистов. В своих «Думах и воспоминаниях» (это стихи, и дум там немного), вышедших в 1962 г. (Сов. писатель, М.), она, между характеристиками Кузмина и Гумилева (стихотворение «Клуб поэтов»), дает такой образ:

И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.

Плохо верится, чтобы Адамовичу когда-нибудь приходилось остроты заготавливать впрок. Вероятно, поэтесса, простившая, к счастью, Блоку и красивую его одежду и педантическую аккуратность на его письменном столе, за что-то сердится на Адамовича. «Снобизм...» Упреки в снобизме к Адамовичу обращали не раз. В частности, делает это известный Вл. Орлов в предисловии к стихам Бальмонта (Большая библиотека поэта, Сов. писатель, 1969). «Чистым снобизмом» кажется Орлову невысокое мнение Адамовича о поэзии Бальмонта... Итак, Адамович был сноб? Но едва ли можно сводить к «снобу» человека, написавшего такие, например, строки:

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод, растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

Едва ли это стихи сноба. А к тому же — ведь и Пушкина подозревали в снобизме. С Кольцовым, мещанином, Пушкин

(носивший, кстати, золотой наперсток на длинном ногте мизинца, чтоб не обломать) в своем кабинете разговаривал, не предложив тому сесть — оба стояли (Адамович бы сказал: садитесь, пожалуйста). А Толстой? Помните в «Юности» его убеждение: раз ногти не миндалевидные, в хорошее общество человека пускать нельзя. И мнительные люди могут спросить: полностью ли преодолел Толстой свой «снобизм»? Нет, конечно, снобизм не то слово. Мы, русские, часто не различаем между снобизмом и «чувством изящного», как говорили в старину: чувством красоты. Вот это чувство красоты у Адамовича было всегда, вопреки тяготению его к аскетизму. И забыв об этом, понять автора книги «Комментарии» нельзя.

Как Василий Слепцов, как Герцен, как тургеневский Нежданов, Георгий Адамович ощущал в себе постоянный разлад. Этика, нравственное чувство, по-радищевски «уязвленное страданиями человеческими», это чувство всю жизнь боролось в нем с тем, что так неточно называют «эстетизмом». Он мог бы повторить о себе гётевские слова о двух душах у него в груди.

Разлад есть и в его поэзии. Но скажем сперва о других ее чертах. Мастерство Георгия Адамовича — поэта... Оно менее явственно, чем у Цветаевой или Ходасевича. Однако вот, например, строфа из «Единства»:

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем — как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Во второй строке (звукоподражание и даже звуковая метафора) торжественный размах, разлив могучего колокольного гула. А в строфе:

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски —

третья строка создает (правда, за счет мелодичности) совершенно отчетливое ощущение, что ученики Христа именно разбежались в разные стороны.

Думается и без выучки в гумилевском Цехе поэтов Георгий Адамович писал бы не беспомощно. Но роль мастерства, как известно, он склонен был преуменьшать. И на Монпарнасе, в отличие от Ходасевича, не обучал ремеслу, а больше призывал молодых поэтов «сказаться душой», если не «без слов», как мечтает Фет в одном стихотворении, то с минимумом слов — самых простых, главных, основных — ими сказать самое важное, самое нужное в жизни. Так возникла «парижская нота».

Хотя Адамовичу с восторгом внимали все, однако в монашески-суровый орден этой «парижской ноты» вошли немногие и — не знаю, самые ли талантливые. Всех точнее выразил ее канон Анатолий Штейгер — в стихах по пять-шесть строчек, прозаических по тону, не музыкальных, но щемящих. У самого Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего «неокончательного», не-обязательного, декоративного. Вот пример:

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней — все потеряты.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

Писать стихи, утверждал Георгий Викторович, надо, «отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой». Но порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда... тогда, нарушая свой догмат: «делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула» — он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, «предметы роскоши», как

«розовый идол, персидский фазан», как «арфы, сирены, соловьи, прибор». Больше того: он вводил патетические сравнения: «как голос из-за океана», вводил декламационные, риторические интонации. И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, как будто заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все-таки книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) — «Единство». Не странно ли?

Пожалуй, хорошо, когда человек не однозначен, когда не умещается он в одной категории. Душевно живые люди особенно часто двоятся. Если Адамович противоречил сам себе, то в житейском плане это, пожалуй, составляло часть его обаяния. Но в искусстве... в нем разностильность в пределах книги стихов (да еще названной «Единство») оправдана только, если вызвана какими-то поисками. Но тут поисков не было.

Могут возразить, что порой большое единство стиля утомляет. Действительно, вот вы видите сразу в собрании картин: это — Миро, это Бюффэ, это Утрильо, это Модильяни... А в поэзии: это — Цветаева, это Пастернак... Не всегда доставляет это, говоря мандельштамовской строкой, «выпуклую радость узнавания». Но, думаю, мы бы предпочли в поэзии Адамовича скорее монотонность, чем эту добавку «контрастной поэтической» риторики.

Конечно, нельзя не любить такие его стихи, как «Невыносимы становятся сумерки», «Один сказал: нам этой жизни мало», и особенно прекрасное «Там где-нибудь, когда-нибудь», а также «Ну вот, и кончено теперь. Конец», затем «Патрон за стойкою» — с этим щемящим призывом несчастного пьяного эмигранта выпить «за небо, вообще!»:

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим — огонь и дым — борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом,
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела... и те, иные звуки...
Летел полуночью... за небо, вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
— И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно — все равно. Зато это пронзительно, незабываемо.

В своей книге «Комментарии» Георгий Адамович о поэзии говорит особенно много. Говорит, в частности, о том «воздухе», в котором парижская нота возникла. В его статьях большое единство голоса. Они радуют уже одной своей стилистической стройностью. Очень многие до сих пор склонны в Адамовиче, вне его стихов, видеть только критика — не больше. Столь ограничительное толкование, может быть, еще простительно, более или менее, когда речь идет о Ходасевиче. Пусть прекрасного ходасевичевского «Державина» в рамки «только критики» не вместишь, все же, за пределами замечательной своей поэзии, Ходасевич порой может показаться почти лишь критиком и литературоведом, да еще мемуаристом (хотя нечто гораздо большее приоткрывает в нем этот удивительный контраст между демоничностью главных его стихов и стилизованной ампирно-пушкинской, умно-ограниченной, суховатой, вылощенной прозой его статей). Но, в отличие от Ходасевича, в «нестихотворном» наследии Адамовича литературно-критические статьи — не самое важное, как они ни значительны. Еще менее исчерпывается он рецензиями. Ни они, ни статьи не заслоняют его «вольных философствований».

Рецензии его импрессионистичны, в них больше от абсолютного слуха, от интуиции, чем от пристального изучения. Разумеется, критика не литературоведение, но именно от че-

ловека, одаренного такой чуткостью, хотелось нередко большей доказательности: более подробного разговора о том, что, кроме него, у нас способны заметить только человек семь-восемь. Хотелось подробностей и тогда, когда встречались у него возражения кому-нибудь. Но всякую аргументацию, разборы, медленное чтение — это он всегда оставлял в удел литературоведам. К сожалению, труд их он склонен был недооценивать. О давней статье Бор. Эйхенбаума «Как сделана шинель Гоголя», хотя и односторонней, но во многом полезнейшей, Г. В. мне писал: «К чему это копание? 'Как сделана Шинель'... Сделана — и сделана». Он так и не захотел признать, что слишком часто без тщательного всматривания в произведение искусства видишь лишь туманный его силуэт.

Случалось Адамовичу и отводить глаза навсегда от чего-нибудь, что почему-либо ему не пришлось по душе. Как известно, уничижительно отзывался он о Марине Цветаевой — пусть, пожалуй, невыносимой, но драгоценной же, драгоценной. Да, демонстративный титанизм ее, «ячество», вечный крик с отбиванием чуть ли не каждого слога — все это раздражает. Но как отрицать силу и новизну ее ритмов? Увы, Адамович это делал, тем вновь напоминая о тягостной их ссоре, заставляя вспомнить запальчивую цветаевскую статью «Поэт о критике», недавно перепечатанную в СССР. В некоторых своих статьях — не столько в тех, что вошли в «Комментарии», сколько в других — «недооценивал» Георгий Адамович даже Достоевского. Аллергию к Достоевскому можно понять. Многое у него, быть может, «чересчур», слишком нажата педаль, почти «белая горячка» то в стиле, то в шовинистических чувствах. Но... как же не видеть, Боже мой, гениальность Достоевского, его великую глубину? Конечно, Адамович в нем видел и признавал гораздо больше, чем отрицавший его начисто Бунин. Но как бы то ни было, в некоторых своих статьях Адамович соглашался за Достоевским признать чуть ли не одно только то, что Достоевский непревзойденный мастер темы страдания, почти не желая видеть даже и того, что страдание Достоевский не только ведь чувствует и «описывает», но и пытается осмыслить, едва ли не более страстно, чем пытались и до него и после него. Тему же свободы, в связи с темой Бога, Адамович у Достоевского вовсе игнорировал, как и многое другое. Даже Легенда о Великом инквизиторе интересовала

его не в связи с «тоталитарной альтернативой»: свобода или насильственное «счастье» (а это как уж близко касается русского читателя!).

В «Комментариях», на стр. 123, Адамович приводит слова знаменитого английского поэта Одена о Достоевском: «Общество, которое забудет то, что он рассказал, недостойно называться человеческим». Да — и спасибо, Георгий Викторович, что вы эти слова привели. Спасибо, что на стр. 102 вы пишете: «Достоевский — великий, огромный писатель». Но... вот что сказано на стр. 87: «В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок». (Три? А как же с Пушкиным, Тютчевым, Некрасовым, Гоголем, Розановым, Цветаевой? Хорошо, пусть все они не в числе «только трех»). Но если, говоря об интонации, назвать надо только три имени, то без Достоевского никакие «три» не убедительны.

В «Комментариях» Георгий Адамович говорит «на разные темы». Это — вольное философствование о многом, для него самом существенном. Тем в книге Адамовича много — и тем важнейших. Он говорит о Боге и мире, о Христе, христианстве, говорит о России и Западе в их противостоянии друг другу, о культуре как вечном заимствовании и продолжении — не подражании, а продолжении. Адамович пишет о католицизме и социализме, о равенстве и свободе и вечном, неустрашимом конфликте между свободой и равенством; пишет об аристократизме красоты и несовместимости ее со справедливостью. В «Комментариях» идет речь о Толстом и Достоевском, об их полярности, о Пушкине и Лермонтове, в их тоже противоположности друг другу; Адамович говорит о музыке Вагнера, о Блоке, о Серебряном веке, о декаденстве, его грехах и его правоте, говорит о модернизме в поэзии и невозможности поэзии абсолютной... Отсылаю читателя к тексту «Комментариев». Эту книгу надо прочесть самому, чтобы почувствовать ее органическое и стройное единство, при внешней отрывочности и порой даже противоречивости.

Георгий Адамович — собеседник... Чаше всего беседы бывали о стихах и о том, чем поэзия должна быть. Правда, после войны он об этом говорил не так охотно, как в монпарнасские времена. Но вера в высокое назначение поэта в нем оставалась, как и уверенность, что стихи должны быть «ответом на всё». Он повторял: «всё можно сказать в стихах

— и как сказать!» И не соглашался, когда ему возражали, что поэзия никогда полноты жизни не вмещала и не вместит. До конца остался он, по существу, максималистом и анархистом в поэзии, с эсхатологическим порывом к «финальному аккорду» — и от поэта требовал — «чтоб просиял ты — и погас!». Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия — чтобы свершилось мировое чудо — а затем пусть, как молния, поэзия исчезнет. Не правда ли, странно? Стихов, в которых это стремление стать острием (вонзающимся в небо) ослаблено орнаментом, он не признавал: «лучше останемся без стихов». И только головой качал на возражения, что не стоит «оставаться без стихов», что и так уже остались мы, или всегда были, без очень многого...

А порой, апостол простоты, он удивлял собеседника, говоря, что писать надо, как Анненский написал свое «О нет, не стан»:

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю, —
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Это вызывало на спор. Да, в стихотворении этом, поразительном, незабываема концовка:

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

Незабываемо и это прозаическое и все же насквозь преображенное «где-то там», но первая строфа — «югендштильная», манерная, и редкостное и драгоценное ее великолепие никак не тот насущный и насыщающий «хлеб», которого Адамович от поэзии требовал.

Чаще же он осуждал метафоры, уверял, что без них стихи лучше, приводил в пример «Я вас любил, любовь еще, быть может...»: «Там ни одной метафоры. Ни одной», говорил Адамович. Он был не совсем доволен, когда я возразил, что удача Пушкина доказывает только, что можно обойтись без метафор, но вовсе не то, что нужно обходиться без них.

Да, он не всегда принимал возражения, и все-таки с ним было очень легко говорить. Он был гораздо веселей и шутливей в разговорах, чем можно предположить по его писаниям, веселей, особенно с теми, кого причислял к способным понимать оттенки. Грусть, которой, конечно, было много в его душе, он скрывал от всех. Бесед «по душам» не любил, как и «трагических» разговоров о смысле жизни. Предпочитал, чтобы ум собеседника проявлялся в болтовне о пустяках. Стихи свои читал редко и как бы стесняясь, тоном очень обыденным и сдержанным, с еле заметным дребезжанием как бы за строками — и не забыть, как прочел он однажды одно из самых прекрасных своих стихотворений:

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

Он прочел, если и с каким-то волнением, то все-таки стараясь его скрыть, как бы уверяя собеседника, что ничего ему не навязывает. Ничего не навязывающим тоном он и говорил, словно намекая голосом, что предоставляет слушателю полную свободу. И все же предпочитал, когда собеседник с ним соглашался... И все-таки на этих страницах я ему иногда возражаю...

Может быть, скажут, что еще не время для «споров» с покойным. Не знаю. У открытого гроба, конечно, не спорят. Но несколько месяцев спустя, думается, пора раскрыть полнее облик покойного и оценить, хоть приблизительно, им написанное. И это требует разговора и о том, что в наследии Адамовича спорно. Я надеюсь, статья эта, при всей ее недостаточности, не вызовет обвинений в неуважении к писателю, памяти которого мне сейчас снова хочется низко поклониться. Однако всего нужней не поклон, а показ (хотя бы и не в полный рост), ибо кое-кто предпочитает, чтобы Адамовича не показывали.

Странное дело: дня через два после кончины Г. В., еще не зная о ней, я вдруг мысленно его увидел, даже услышал.

Это было в Остине, Техас, на Международном фестивале поэзии. Был перерыв, полчаса уединения, я думал о том, как изменилась жизнь с тех пор, когда в Париже мы, несколько поэтов, еще продолжали как-то «парижскую ноту». Уже почти никого из участников этой «ноты» нет в живых, нет молодых на смену, и я уже не «сравнительно еще молодой», как назвал меня Адамович в «Комментариях». Захотелось об этой ноте сказать что-то прощально-благодарное, сказать, что в чем-то все еще остаюсь верен ей — и пришли на память те адамовичевские строки, с отзвуком знаменитого «декадентского» брюсовского стихотворения, в которых говорит Г. В. о своей верности покинутому им «декадентству»:

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услышать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

Я прочел скорее мысленно, чем произнося, но все отчетливей вспоминая его интонацию — и вдруг увидел его и услышал с совершенной ясностью, будто не в воображении, а в двух шагах... Через час, на фестивале, я читал стихи, очень далекие от «парижской ноты». А вернувшись домой в Нашвилл, развернул «Русскую мысль» и — имя Адамовича в траурной рамке.

В тот самый день, когда он так отчетливо мне вспомнился, его хоронили. Да — как это сказано у него:

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому
Как на большой дороге, под дождем,
Под ледящим ветром, к дому, к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

Обманувшее? Но хочется верить, что ширится над ним
сиянье, которое не обманывает.

Игорь Чиннов

ПОЛИГИМНИЯ

Медленным шагом вступаю я в храм твой, высокая муза,
Тёмен, упрям, — неофит, — скромн, как странник-аскет,
Встал пред тобою, смущённый, и крылья мои потемнели.
Слушаю, как ты во мне ритмом пространство зажгла.
Дории звуки немые! Раздел и суровый, и гордый,
В трезво-могучих чертах он простотою пьянит,
Контуром хладным рисунка. Фронтоны, рельефы и фриз
Вместе с рядами колонн — истина их в чистоте.
Тихо я снова вступаю под сени их ясности строгой,
Робко встаю пред тобой, Дева, Творящая Гимн, —
Муза, моя чаровница! Свое заклинанье, как пламя,
Произнеси и заставь стих неумелый запеть.

ОТРЕШЕНИЕ

Тихо, в безветрии ночью листва опадает на травы.
Точно касается дождь чутко уснувшей земли.
Первый призыв тишины. И последняя жалоба ветра.
Лист, говоришь ты с другим? Или с собою, душа?
Падают листья. И вижу, как месяц на хрупкой рябине
Точно в рубашке дитя, тощее, в ветках сидит.
Смотрит оттуда, как мёртвый. Из дали глаза остеклянил.
Губы скривил и молчит. Машет мне белой рукой.
В замкнутом круге брожу я. В блужданье безвыходность давит.
Ночь — безысходный тупик. Только остались одни
Листьев, как птиц, переклички. И песнь обречённой цикады.
Путь отрешения, рок. Зов совершенного — смерть.

Алексис Раннит
перевел с эстонского Борис Нарциссов

ПАМЯТИ БРАТА АЛЕКСЕЯ



Кан-ле-Бокка — цветы и пальмы.
Стальное море и закат.
Я посетил сей берег дальний,
Который так любил мой брат.
Он умер там . . . И этот город,
Весь утопающий в цветах,
Впервые видел я сквозь горе,
Сквозь слезы на похоронах.



Всю ночь летели километры.
При свете фар редела тьма.
В однообразном шуме ветра
Бежала белая кайма.
А утром — пальмы и оливы,
Безоблачных небес шафран.
И вдруг — с высокого обрыва —
Над морем утренний туман.
И поворот за поворотом,
Среди отвесных, красных скал —
Лазурных берегов красоты —
Перед глазами открывал.
Но я не находил отрады:
Мне был ликующий рассвет —
Напоминаясь беспощадным —
О том, что брата больше нет.

А. Величковский

ПИСЬМА И ЗАПИСКИ С. А. ЕСЕНИНА

ПУБЛИКАЦИЯ ГОРДОНА МАКВЕЙ

Мы печатаем некоторые письма и записки Сергея Есенина, любезно предоставленные нам английским славистом проф. Гордоном Маквей с его комментариями к ним. Этот материал собран Г. Маквей в бытность его в Совсоюзе. Г. Маквей — исследователь творчества С. Есенина и Н. Клюева. Печатаем мы всё это, сохраняя орфографию, знаки препинания (вернее, их отсутствие) и даже грамматические ошибки С. Есенина. Нецензурные слова в письмах Есенина мы, щадя читателей «Н. Ж.», обозначаем либо первой их буквой либо многоточием. За предоставленный нам материал мы приносим проф. Г. Маквей благодарность. РЕД.

М. П. Бальзамовой (Петроград, 24 апреля 1915 г.)

Мария Парьменовна!¹

В Рязани я буду числа 14 мая. Мне нужно на призыв.

Напишите мне лучше к 7 мая относительно сказанного.

Я не знаю не расписаний поезда ни самого вокзала. Был и не припомню. Сегодня я уезжаю в Москву. К 1-му буду дома. В Константинове. Итак сообщите.

Уважающий Вас

С. Е.²

¹ Письмо-открытка (с почтовым штемпелем 24. 4. 15) адресована: — *Рязань*. Троицкая слобода. Квартира диакона Бальзамова. Марии Парьменовне Бальзамовой.

² В 1967 г. краевед Д. Коновалов сообщил о том, что сохранилось двенадцать писем и одна почтовая открытка Есенина, адресованные Марии Бальзамовой (см. газету «Приокская правда», Рязань 1967 г., 18 августа). Коновалов приводит текст письма, написанного в Петрограде в 1915 г.:

«Мария Парменовна!

Извините, что я обращаюсь к Вам со странной просьбой. Голубушка, будьте добры написать мне побольше частушек. Только самых новых. Пожалуйста. Сообщите, можете ли Вы это сделать. Поскорей только. Адрес: Петроград, Преображенская ул., д. 42-а, кв. 12, Сергею Есенину».

Надо надеяться, что все письма Есенина к М. П. Бальзамовой будут опубликованы полностью.

А. М. Сахарову (Ростов, июль 1920 г. ?)

Милый, милый Сакша!

Сидим на яйцах в Ростове и все никак ничего не можем вывести. Вдалеке Сочи Екатеринодар Туапсе, а здесь почти тоже что и у нас

... .. В краю родном

Пахнет сеном и гАвном.

Очень и очень маленькая разница, особливо ежели насчет выпить, одно утешение, что на Кавказе говорят *куда лучше!* Все время жалею, что ты не с нами но успокаиваем себя тем что осенью облобызаемся и напихаем твой рот мукой и сладостями. Это обязательство у нас даже вывешено в вагоне: — «Помним Сакшу!»

Милый Сакша просим тебя до самого пупа сделай голубчик все что возможно с книгами. С деньгами попроси устроить Шершеневича он парень *ходовой* в этом отношении.

Да, еще есть к тебе особливая просьба. Ежели на горизонте появится моя жена Зинаида Николаевна¹ то устрой ей как нибудь через себя или Кожебаткина так 30 или 40. Она вероятно очень нуждается а я не знаю ее адрес. С Кавказа она кажется уже уехала и встретить я ее уже не смогу.² Ну грива (?) милый лопай, толстой (?) мордой и ж.... Мы полны тобой с утра до вечера. Будь же и ты к нам таким каким был при нашем присутствии. Если можно черкни что нибудь о себе, о магазине и о прочем нам близком.

Адрес Сочи, высший совет народн. хозяйства. Трамт окружн. уполн. Колобову для Есенина.

¹ Зинаида Николаевна Райх, первая жена Есенина, с которой он развелся в октябре 1921 г.

² Мариенгоф, однако, рассказывает, как «случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с Зинаидой Николаевной Райх» («Роман без вранья», Л. 1928, стр. 94). По словам Мариенгофа, Есенин не хотел посмотреть на своего сына, Константина (который родился в марте 1920 г.) — когда Есенин все же увидел Константина, он будто бы заметил: «—Фу! Черный!.. Есенины черные не бывают...» (там же, стр. 95).

«Манифест» Есенина и Мариенгофа (12-го сентября 1921 г.)*Манифест*

Мы верховные мастера ордена имажинистов, непрестанно пребывая в тяжких заботах о судьбах нашего стиха русского и болея неразумением красот поэтических форм любезными нам современниками, в тысячный раз громогласно возвещаем через тело своих творений о первенстве перед прочим всем в словесном материале силы образа.

В тысячный раз мы выдвигаем значение формы, которая сама по себе есть прекрасное содержание и органическое явление художника.

Принося России и миру дары своего вдохновенного изобретательства, коему суждено перестроить и разделить орбиту творческого воображения, Мы устанавливаем два непреложных пути для следования словесного искусства:

1) пути бесконечности через смерть, т.е. одевания всего текучего в холод прекрасных форм, и 2) пути вечного оживления, т.е. превращения окаменелости в струение плоти.

Всякому известно имя строителя тракта первого и имя строителя тракта второго.¹

Созрев на почве родины своего языка без искусственного орошения западнических стремлений, одевавших российских поэтов то в романтические плащи Байрона и Гете то в комедианские тряпки мистических символов то в ржавое железо урбанизма, что низвело отечественное искусство на степень

¹ Наверно, «строителем тракта первого» является Мариенгоф, а «имя строителя тракта второго» — Есенин. Выражение «струение плоти» напоминает нам статью «Ключи Марии» (1918 г.), где Есенин дважды употребляет понятие «струения» (IV, 193), и фрагмент «Быт и искусство» (1921 г.), в котором он пишет: «Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова».

Еще в марте 1920 г. Мариенгоф написал в стихотворении:

«И будет два пути для поколений:
Как табуны пройдут покорно строфы
По золотым следам Мариенгофа
И там, где оседлав, как жеребенка, месяц
Со свистом проскакал Есенин».

(Анатолий Мариенгоф, «Стихами чванствую», М. 1920)

раболепства и подражательности, мы категорически отрицаем всякое согласие с формальными достижениями Запада, и не только не мыслим в какой либо мере признания его гегемонии, но сами упорно готовим великое нашествие на старую культуру Европы.

Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются: доморощенные Верланы (Брюсов, Белый, Блок² и др.), Маринетти (Хлебников, Крученых, Маяковский), Верхарнята — (пролетарские поэты — имя им легион).

Мы буйные зачинатели эпохи Российской поэтической независимости. Только с нами Русское искусство вступает впервые в сознательный возраст.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

ДАН: в городе Москве 12 сентября 1921 года.³

А. М. Сахарову (1 июля 1922 г. ?)

Park Hotel

telefon 4902,3,45

Düsseldorf, Corneliusplatz

1 ию/н//л/я 1922¹

Друг мой Саша! Привет тебе и тысячу поцелуев. Голубь милый Уезжая я просил тебя помоч моим сестрам денежно, с

² «Доморощенный Верлан» Блок умер незадолго до этого — 7-го августа 1921 г.

³ Этот манифест открывает верстку книги «Эпоха Есенина и Мариенгофа» (Имажинисты, М. 1922). Книга издана не была. На верстке книги — написанная Мариенгофом дарственная надпись Якулову: «Верховному мастеру ордена имажинистов создателю декоративной эпохи Георгию Якулову посвящают поэтическую эпоху Есенин и Мариенгоф».

Этот манифест представляет большой интерес, ибо четыре месяца до этого Есенин опубликовал фрагмент «Быт и искусство», в котором он — по словам одного советского критика — «выступил с решительной критикой имажинизма как идейно-творческой системы!»

Сборник «Эпоха Есенина и Мариенгофа» упоминается в воспоминаниях Мариенгофа (журнал «Октябрь», М. 1965, № 10, стр. 114).

¹ Копия написана, кажется, рукой С. А. Толстой. Автограф нам неизвестен. Опубликованный текст печатается по тексту, опубликованному в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», М. 1922, № 1.

этой просьбой обращаюсь к тебе и сейчас. Дай им сколько можешь, а я 3-го июля еду в Брюссель и вышлю тебе три посылки «Ара». Прошу тебя как единственного родного мне человека. Об Анатолие я сейчас не думаю, ему вероятно самому не сладко. Я даже уверен в этом...

(Дальше письмо как в опубликованной форме, за исключением несколько нецензурных слов и выражений. Письмо кончается так):

...душе моей в тот час легче станет. Друг мой! Если тебя обо мне кто-нибудь спросит, передай, что я пока утонул в сортире с надписью на стенке —

Есть много разных вкусов и вкусику²

— — — — —

Остальное пусть докончит Давид Самойлович и Сережа. Они это хорошо помнят. Передай им кстати мой большущий привет и скажи что я пишу им особо.

Твой Сергунь.

Гоголевская приписка

Ни числа ни месяца

Если б был ... большой

То лучше б на ... повеситься.³

А. Б. Мариенгофу (?) (19-го ноября — 1922 г.?).¹

Ура! Варшава наша!

Сегодня 19 ноября пришло письмо от Лившица три тысячи герм. марок 10 ф. сахару 4 коробки консервов и оттиск наших

² Известна дальнейшая строка: «Кому нравлюсь я / А кому — Кусиков», прим. редакции.

³ У Есенина нецензурные слова написаны полностью.

¹ Автограф нам неизвестен. Копия написана, кажется, рукой С. А. Толстой. Письмо написано «19 ноября» — но какого года? Есенин упоминает в письме Айседору Дункан, с которой он познакомился в 1921 г. В ноябре 1922 г. они были в США; а к ноябрю 1923 г. они уже разошлись. Есенин упоминает также свое стихотворение «Исповедь хулигана» (опубликованное в 1921 г.), и «Разочарование» (стихотворение, написанное Мариенгофом в августе 1921 г. и опубликованное в его же книге «Разочарование», Имажинисты 1922). Думаем, что письмо Есенина написано 19-м ноября 1922 г. — см. Примечание 4-е.

переведенных стихов на Еврейский язык с испов. хулиг. и разочарованием.² Америка делает нам предложение через Ригу. Вена выпускает к пасхе сборник на немецком, а Берлин в лице Верфеля бьет челом нашей генеальности.

Ну что сволочи?! Сукины дети?!³ Что прохвосты?!

Я теперь после всего этого завожу себе пару кобелей и здороваться буду со всеми только хвостами или лапами моих приближенных.

Что там Персия? Какая Персия? Это придумывают только молодожоны такое сентиментальное путешествие. Это Вам не кондукторы из Батума а *Вагоновожатые Мира!!!*

Ах Клопиков Клопиков⁴ как же это ты так обмазался своей кондукторшей? Что это? Как это? Неужели шведская кровь настолько горячая что ты даже без толкача напролет просиживаешь и пролеживаешь с ней ночи? Где же девалась твоя былая ретивость? Поймали конягу! Обидно даже. Добро бы верзилой каким а то так недоуздком паршивым. Ну да ладно. Все это простится тебе если я скоро получу от тебя не менее ведра вина. Живу Ваня (?) отвратно. Дым все глаза сожрал, Дункан меня заездила до того, что я стал походить на изнасилованного. А книгу все печатают и печатают. Особенного конечно кроме этих немного обманывающих вестей от Лившица ничего нет.

И так жду вина с поцелуями

Сергей и Кузя (?)

Г. А. Бениславской (после 28-го апреля 1924 г.).¹

Милая Галя! тысячу приветов. Простите что не писал. Погода была скверная настроение от безденежья — тоже. На днях получу. Главным образом грустен потому что дьявольски растолстел. Костюм не сходится. Белье приходится перепаривать. (?) Чорт знает что такое! Утром не могу без пота натянуть ботинки. Одним словом стал вроде Сахарова.

² См. 1-е Примечание.

³ Есенин как бы отвечает на письмо Мариенгофа, написанное в июне 1922 г., где Мариенгоф так написал Есенину: «...Вы самая определенная сволочь... В самом деле — грамоте что ли ты, сукин сын, разучился... Я уже и отпутешествовал (по Персии!)...»

⁴ Валентин Клопиков — знакомый Есенина.

Дитя мое! Возьмите у Приблудного сборник и наберите сами 500 строк для Анатологии.² Материал отдайте Клычкову и получ. 20 червонцев. Гребень, сей Приблудный, пусть вернет. У меня все это связано с капризами суеверия. Потом пусть он бросит свою хамскую привычку обворовывать ближних!

Да! со стойлом дело не чисто. Мариенгоф едет в Париж. Я или Вы делайте отсюда выводы. Сей вор хуже Приблудного. Мерзавец на пуговицах — опасней так что напрасно — радуетесь закрытию.³ А где мои деньги?

Я открывал Ассоциацию⁴ не для этих жуликов. Позвоните Воронскому и сговоритесь, чтоб он сделал распоряжение⁵ выдать мне аванс. Звоните к нему на дом. 10 он уезжает на Кавказ.

Любящий Вас

С. Есенин

Привет Жене Рите, Берзиной и Вардину.

Е. А. Есениной (Тифлис, 17-го сентября 1924 г.)¹

Екатерина пошли мне спешно письмо и пиши что творится в Москве. Получила ли ты деньги и устроил ли Эрлих то о чем мы с ним говорили. Уезжать отсюда мне пока оч. не хочется. Я страшно хочу переждать дожди и слякоть. Здесь погода изумительная.

У меня к тебе просьба — и наказ:

Скажи Сахарову что б он в октябре дал мое зимнее пальто починить Ивану Ивановичу. Как дома и сколько нужно денег еще для постройки.² Посылаю тебе для них еще 10 червонцев.

¹ Письмо без даты. В ИМЛИ — фотокопия автографа Есенина. Датируется нами по тексту письма от Г. А. Бениславской 28-го апреля 1924 г. (которое тоже публикуется нами).

² Анатологии — так у Есенина.

³ Ср. письмо от Г. А. Бениславской 28-го апреля 1924 г.: «Стойло, к моей неопишуемой радости, закрыто». Кажется, что «Стойло Пегаса» в конце 1924 г. снова закрылось — 15-го декабря 1924 г. Бениславская написала Есенину: «'Таверна' закрыта — прогорела».

⁴ Т.е. Ассоциацию Вольнодумцев.

⁵ Распоряжение — так у Есенина.

¹ Автограф нам неизвестен. Возможно, что список — рукой С. А. Толстой.

² Указание на новую избу родителей Есенина, которая должна была строиться в Константинове. См. письмо Есенина А. А. Берзинь, 14 августа 1926 г. (V, 132).

Больше 30 не давай считая в сумме и то что я дал. Для тебя я скоро пришлю стихи продашь их Казину или Флеровскому и с тебя хватит. Скажи Сашке чтоб он запер мой чемодан, а ключ отдаст пусть Анне Ивановне.

Эрлиху напиши письмо и пришли мне его адрес. Я второпях забыл его. Что нового? Как чувствуют себя и как ведут Мариенгоф с Ивневым?

Передай Савкину³ что этих бездарностей я не боюсь чтобы они не делали. Мышиными зубами горы не подточишь. Узнай как вышло дело с Воронским. Мне страшно будет неприятно если напостовцы его съедят. Это значит тогда бей в барабан и открывай лавочку.

По линии писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска что мухи сдохнут.

Сейчас немного работаю. Завтра поеду в Баку, а потом в Кисловодск. Вардин ко мне очень хорош и очень внимателен. Он чудный простой и сердечный человек. Все что он делает в литературной политике он делает как честный коммунист. Одна беда что коммунизм он любит больше литературы.⁴

Записки Г. А. Бениславской (без даты).

Галя милая.

Простите что обманул.

Для я еще не видел какой он — есть.

Думаю что не смогу поехать с Вами.

Немного разбит настроением физически.

Есенин.

Милая Галя! Вы мне близки как друг.

Но я Вас нисколько не люблю как женщину.

С. Есенин

21/III 25¹

³ Н. Савкин был ответственным редактором первых номеров журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном».

⁴ И. Вардин (Мгеладзе), литературный критик, «напостовец», вместе с Есениным приехал на Кавказ. Есенин скоро «от его опеки убежал» (V, 138). 17-го октября 1924 г. он написал Бениславской: «С Вардиным я разъехался около месяца тому назад» (V, 135).

¹ В ИМЛИ — фотокопия автографа Есенина. Эта записка опубликована в воспоминаниях А. Мариенгофа (журнал «Октябрь», М. 1965, № 11, стр. 90), но в пятитомник не включена.

Телеграмма Г. А. Бениславской (18 мая 1925 г. ?)

Еду домой буду дней через десять найдете лучшего врача по чахотке. Есенин.¹

Список гостей, которых Есенин хотел пригласить на свою свадьбу с С. А. Толстой (июль 1925).¹

Воронский, Казанский, Казин, Богомильский, Аксельрод, Вс. Иванов, Шкловский, Савкин, Берлин, Грузинов, Марк, Ан. Абрамовна, Като, Лебединский, Ключарев, Яблонский.

**Записки с отдельными словами, чтобы объяснить
имажинистскую теорию (1925).**

Слова написаны карандашом и вложены в конверт. На конверте С. А. Толстая написала: «Эти кусочки с разными словами Сергей нарезал, чтобы объяснить мне, как он во времена Мариенгофа делал

¹ На телеграмме разные цифры: «Баку 1337, 18, 5, 16, 30». Есенин лежал в бакинской больнице 11-го мая 1925 г. — см. V, 162-163: «Через 5 дней выйду здоровым... Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки».

¹ В приписке С. А. Толстая-Есенина объясняет: — «Список гостей, кот. Сергей хотел пригласить на нашу свадьбу в июле 1925 г. Поправки моей рукой. Попытка переделать в стихотворение рукой Сахарова Ал. Мих-ча. С. Есенина». — В самом деле С. А. Толстая прибавила две фамилии: Орешин, Клычков. Все остальные написаны рукой Есенина. Что касается шуточного стихотворения А. М. Сахарова, то он, кажется, так переделал список Есенина:

Приглашение на обручение —
им радость, а нам мучение.

А. С.

Воронский, Сахаров, Петр Пильский,
Казанский, Казин, Богомильский,
с ним Аксельрод и Вс. Иванов
Шкловский из «Лефа» 5 болванов
один Савкин два Берлин
Грузинов Марк 5-6 скотин
Ан. Абрамович Като
Плебединский без пальто
Ключарев Яблонский Орешин Клычков
и даже Бабель без очков.

Редакция Сахарова.

и придумывал целую теорию, как писать стихи. С. Е.» Следующие слова написаны Есениным:

Руки	розовый	плачет	горит	кости
жуёт	синий	солнце	стучит	туман
гниёт	травя	кусает	(неразб.)	солома
вода	ноч ¹	красный		скалитса
капаёт	лист	дерево	снет	
степь	огонь	голос	чорт	
зубы	день	бумага	голова.	

Эти отдельные слова представляют некоторый интерес. Как известно, около 1921 г. Есенин увлекался идеей о «машине образов». Сергей Городецкий вспоминает: «Я застал однажды Есенина на полу, над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о 'машине образов'. На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово — название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трех-степенные имажинистские сочетания образов. Я отнесся скептически к этой идее, но Есенин тогда очень верил в возможность такой машины» (в журнале «Новый мир», М. 1926, Кн. 2, стр. 142). Иван Старцев рассказывает об этом же (в сборнике «Сергей Александрович Есенин», М.-Л. 1926, стр. 80): «...Есенин хотел написать о своей машине образов целое теоретическое исследование, потом охладел и совершенно забыл об этом». Иван Грузинов утверждает: «Насколько мне известно, Есенин прибегал иногда к способу писания стихов посредством примитивной стихомшины. У него была небольшая сумка, куда он складывал слова, написанные на отдельных бумажках, он тряс эту сумку, чтобы смешать бумажки, затем вынимал несколько бумажек. Комбинация из слов, полученных таким путем, давала первый толчок к работе над стихом. Этим способом писания стихов поэт хотел расширить рамки необходимого, хотел убежать из тюрьмы своего мозга, хотел многое предоставить стечению обстоятельств, игре случая... Разумеется, к искусственному способу писания стихов Есенин относился несерьезно; это была только забава и притом на короткий срок». (там же, стр. 142-143).

Телеграмма к С. А. Толстой (Константиново, 15 июля 1925 г.)

чувствую хорошо скоро увижу люблю Сергей¹

¹ ноч — так у Есенина.

¹ Есенин находился в Константиново. 16 июля он вернулся в Москву.

**Приписка Есенина в письме С. А. Толстой к В. И. Эрлиху
(26 июля 1925 г.)**

Милый Вова
Здорово
У меня — не плохая «жись»
но если ты не женился
то не женись.¹

26/VII 25

Эрлих, милый, мы в поезде по дороге в Баку. Ужасная Москва где-то далеко и верстами и в памяти. Последние дни были невероятно тяжелы. Сейчас блаженно сонное состояние и физического и душевного отдыха. Вас вспоминаю часто и очень очень хорошо и никогда не забуду Вашего отношения. Очень надеюсь что у Вас все совсем совсем хорошо. Напишите Баку «Бакинский рабочий» П. И. Чагину — нам.

Толстая».

Под письмом Толстой — приписка Есенина. Написана твердым почерком, карандашом. Приписка Есенина цитируется в книге Вольфа Эрлиха «Право на песнь», Л. 1930, стр. 93. Эрлих приводит также слова Есенина: «Жениться захотел!.. Ты мой совет запомни: холостая жизнь для поэта все равно что мармелад! И стихи идут, и все идет! Жениться — света божьего не взвидишь. Вот что!» (там же, стр. 91).

Письмо отцу, А. Н. Есенину (20 августа 1925 г.)¹

Дорогой отец! пишу тебе очень сжато. Первое то, что я женат. Второе то, что с Катькой² я в ссоре. Я все понял. Мать ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну.³ Теперь я понял, куда ушли эти злосчастные 3000 руб.

¹ На почтовой открытке (штемпель: Ростов н/Д. 26.7.25).

² На обороте копии С. А. Толстая-Есенина написала: «Оригинал не был послан. Письмо было написано в Мардакьянах (Баку). Оригинал я отдала Кате Есениной для передачи отцу. С. Есенина». Копия написана рукой С. А. Толстой. Под копией приписка: «Верность копии заверяю. Василий Наседкин. 5/1-26 г.»

³ Катька — очевидно, Екатерина Есенина, сестра поэта.

³ У матери Есенина был еще сын. «У Татьяны Федоровны был еще один сын — Александр Иванович Разгуляев. Он родился в то

Я все узнал от прислуги. Когда мать приезжала, он приходил ко мне на квартиру и они уходили с ним чай пить. Передай ей, чтоб больше ее нога в Москве не была.

Деньги тебе задержались не по моей вине. Катька обманула Соню и меня. Она получила деньги и сказала, что послала их. Потом Илюша⁴ выяснил. Пусть она идет к чорту хоть в (жополадницы ?). Ведь при всех возможностях никуда ни попала и научилась только благодаря Т. Ф.⁵ выжимать меня. Беспokoюсь только о Шуре.⁶ Из нее чтонибудь выйдет.

Дяде Федору скажи, что о Сашке похлопочу.

Дайте отдохнуть. В сентябре приеду все устрою. Только, конечно, не на Рабфак. Там коммунисты и комсомол. Поэтому не попал и Илюшка. Илюшка — настоящий благородный брат. Думаю, что он заменит мне потерянную сестру.

Твой сын Сергей.

**Дело С. А. Есенина по обвинению его по статье 176
Уголовного кодекса. Заявление С. А. Есенина (29 окт. 1925 г.)**

6-го сентября по заявлению Дип Курьера Рога я на проезде из Баку (Серпухов Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями.

гр. Левита я не видел совершенно и считаю что его показания относятся не ко мне. Агент из Г.П.У. видел меня. Просил меня не ходить в ресторан. Я дал слово и не ходил. В Бога я не верю и ни каких «Ради Бога» не произношу лет приблизительно с 14. В купе я ни к кому не заходил имея свое. Об остальном ничего не могу сказать. Со мной ехала моя трезвая жена. С ней могли и говорить. Гр. Левит никаких попыток к осведетельствованию¹ моего состояния не проявлял.

время, когда Александра Никитична много лет не была в Константинове» (К. С. Есенин, в кн. «Есенин и русская поэзия», Л. 1967, стр. 315).

⁴ Илюша — очевидно, Илья Иванович Есенин, двоюродный брат поэта (V, 343).

⁵ Т. Ф. — очевидно, Татьяна Федоровна, мать поэта.

⁶ Шура — Александра Есенина, младшая сестра поэта.

¹ Осведетельствованию — так у Есенина.

Это может и показать представитель Азербайджана ехавший с промыслов на съезд профсоюзов. Фамилию его я выясню и сообщу дополнительно к 4 ноября нач. 48-го отд. милиции.

Сергей Есенин

19-29/X 25²

² Об этом немаловажном событии напечатано очень мало. Содержится намек на эпизод в кн. В. Наседкина «Последний год Есенина», М. 1927, стр. 43: «Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорбленный подал в суд. Есенин волновался и искал выхода».

На проезде из Баку 6-го сентября 1925 г. Есенин купил по крайней мере бутылку портвейна (квитанция, ГЛМ Н-6 243/8). 8 сентября А. Рога, дипломатический курьер НКВД, письменно жаловался, что «известный писатель» Есенин старался ворваться в его купе: «Причем при предупреждении его, он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием... По всем наружным признакам Есенин был в полном опьянении, в таком состоянии он появлялся в течение дня несколько раз... По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левин, член Моссвета, но последнего Есенин не подпустил к себе и обругал жидовской мордой... Есенин несколько раз просил охранника выпустить его в ресторан-вагон «ради бога». (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 29). 25 сентября НКВД попросил Московского губернского прокурора привлечь Есенина «к надлежащей ответственности». 24 октября врач Левит (не «Левин»; «национальность: еврей») письменно показал: «...Всю дорогу с момента посадки, кажется в Тифлисе, гр. Есенин пьянствовал и хулиганил в вагоне... (Есенин) ругался нещадной площадной бранью... упорно ломался в купе Рога и обещал «избить ему морду». (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 31). Левит также показал, что Есенин обругал его «жидовской мордой». 26 октября Дип. Курьер Адольф Мартынович Рога, 49 лет, объявил: «Поведение гр-на Есенина было возмутительное. Все пассажиры его поведением возмущались и составили акт...» (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 32).

Итак, вовсе неудивительно, что, по словам Наседкина, Есенин «волновался». Ведь тот же Наседкин пишет: «Больше всего Есенин боялся... милиции и суда» («Последний год Есенина», М. 1927, стр. 43). Уже в декабре 1923 г. Есенин подвергся «общественному порицанию» за «выходки антисемитского характера» (газ. «Правда», 16 декабря 1923 г., стр. 3) — а теперь «грозили новым судом» (В. Наседкин, «Последний год Есенина», М. 1927, стр. 45). На допросе 29 октября 1925 г. Есенин ответил, что по национальности он — «великоросс» (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 33). Интересно, что за Есенина

заступились А. Луначарский и Илья Вардин. В ИМЛИ — письмо Луначарского (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 34):

«Народному Судье т. Липкину.

Дорогой товарищ,

На В. рассмотрении имеется дело о «хулиганском поведении» в нетрезвом виде известного поэта Есенина.

Есенин в этом смысле больной человек. Он пьет, а пьяный перестает быть вменяемым.

Конечно его близкие люди позаботятся о том, чтобы происшествия подобные данному прекратились.

Но мне кажется, что устраивать из-за ругани в пьяном виде, в кот. он очень раскаивается, скандальный процесс крупному советскому писателю не стоит. Я просил бы Вас позтому дело, если это возможно, прекратить.

Нар. ком. А. Луначарский».

Дальше следует письмо И. Вардина, 12-го ноября 1925 г.

(ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 35):

«Народному судье т. Липкину.

Ув. товарищ! В дополнение к сказанному т. А. В. Луначарским сообщаю Вам, что поэт Есенин в настоящее время находится под наблюдением Кремлевской больницы. На-днях его освидетельствовал консилиум больницы.

В ближайшие дни Есенин будет помещен в одну из лечебниц.

Присоединяюсь целиком к мнению А. В. Луначарского, со своей стороны подчеркиваю, что антисоветские круги, прежде всего эмиграция, в полной мере используют суд над Есениным в своих политических целях.

С коммунист. приветом

Ил. Вардин»

12/XI, 1925

Наседкин пишет: «— Выход есть, — продолжала сестра (Екатерина), — ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься». («Последний год Есенина», М. 1927, стр. 43). 27 ноября 1925 г. Есенин написал П. И. Чагину: «...Пишу тебе из больницы... Все это нужно мне, может быть, только для того, чтоб избавиться кой от каких скандалов» (V, 171). В следующий день, 28 ноября 1925 г., добились удостоверения из конторы психиатрической клиники 1-го Московского Государственного Университета: «Больной Есенин С. А. находится на излечении в Психиатрической Клинике с 26 ноября с/г по настоящее время, по состоянию своего здоровья не может быть допрошен на суде» (ГЛМ, 397/8). До самой смерти поэта ему угрожала возможность суда; лишь 12-го января 1926 г. прекратилось это дело (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 36).

Записки к С. А. Толстой (1925 г.)

Дорогая Соня я должен уехать к своим привет Вам любовь
и целование!¹

Не знаю что сказать
Больше ты меня
не увидишь.
Ни почему
Люблю люблю²

Соня Прости что обидел. Ты сама виновна в этом. Я в
ГИЗЕ еду красную новь огонек и позвоню
Сергей

Милой Соне
Ни той ни этой

Соня. Переведи комнату на себя. Ведь я уезжаю и потому
не целесообразно платить лишние деньги тем более повышенно
С.³

Соня! пожалуйста
пришли мне книжку Б

С. Есенин

9/XII 25.⁴

¹ ГЛМ, 374/1. Написано диким почерком. На обороте — слова
рукой С. А. Толстой: «Собирался в Константиново в XI 1925. Пья-
ный». (Может быть, это — «в VI 1925»?).

² ГЛМ, 374/2. Толстая объясняет: «Письмо мне. Пьяный. Июль
1925. С. Е.».

³ ГЛМ, 374/5. На обороте — слова написаны рукой С. А. Тол-
стой: «Из клиники XII 1925».

⁴ ГЛМ, 374/6. «Книжку Б» — неизвестно, какая книга имеется
в виду. Может быть, «Б.» обозначает Блока. В комментариях к
стихам Есенина, составленных С. А. Толстой и Е. Н. Чеботаревской
в 1941 г. (ГЛМ, 439, 1, стр. 28), читаем: «...Последние книги, которые
читал Есенин в своей жизни, были два тома стихотворений Блока».
Возможно, об этом знала С. А. Толстая-Есенина.

Вадиму Шершеневичу (не раньше 1918 г.)

Диме милому
с любовью и дружбой

С. Есенин

Россия не забудет
нас трех великих

скандалистов.¹

Неизвестному адресату (не раньше 1919 г. ?)

Что бы между нами
не было а любовь
останется.
Как ты меня не
ругай
как я тебя
Все таки мы с тобой
из одного сада
сада яблонь
баранов коней и волков

С. Есенин

Мы яблони и волки
смотря потому как надо!¹

¹ На отдельном листе бумаги. С В. Г. Шершеневичем Есенин познакомился в 1918 г. «Россия не забудет нас трех великих скандалистов» — очевидно, имеются в виду имажинисты Есенин, Мариенгоф и Шершеневич.

¹ На книге «Голубень», П. 1918 надпись по новой орфографии. Думаем, что она обращена, быть может, к Н. А. Клюеву. Ведь в одном стихотворении Клюев так называет Есенина: «Добрый волк и друг — китоврас» (см. Н. Клюев «Львиный хлеб», М. 1922, стр. 64). Уже в 1915 г. Клюев написал Есенину: «...Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде...» (цит. по кн. Е. Наумова «Сергей Есенин. Жизнь и творчество», Л. 1960, стр. 34).

А. Е. Крученых (14-го октября 1921 г.)

А. Крученых

В память

встречи

Баку

С. Есенин, 1920.¹**Николаю Хорикову (1923 г. ?)**

Николаю Хорикову

за то что он русский

С. Есен...¹

¹ На этом же листе бумаги написаны слова, кажется, рукой В. Хлебникова:

«Полетевший

Из рязанских полей

в Питер

ангелочек

делается типом Ломброзо

и говорит о себе 'я хулиган'» (ИМЛИ, ф. 32, оп. 2, № 11).

Эти слова, написанные красными чернилами, цитируются в кн. «Записная книжка Велимира Хлебникова» (Собрал и снабдил примечаниями А. Крученых). М. 1925, стр. 10.

¹ На тексте стихотворения «Волчья гибель», из журнала «Гости-ница для путешествующих в прекрасном», М. 1932, № 2. Почерк дикий — быть может, Есенин был пьян? Ср. надписи Есенина, кото-рые цитируются Евгением Соколом в кн. «Памяти Есенина», М. 1926, стр. 68-69:

«Тех, кто ругает,

Всыпь им.

Милый Сокол

Давай навеки

За Русь

Выпьем».

(на «Радунице»).

«Милому Соколу

С любовью

Русской

Великорусской

Обязательно

Апрель 1924»

(Альбом).

«Сокол милый

Люблю Русь —

Прости

Но в этом

Я шовинист».

(на «Ключах Марии»).

«Милому Соколу

Ростом не высокому

Но с большой душой

Русской

И все прочее

1924 — 4/II».

(на «Голубени»)

Н. П. Стору (18-го октября 1924 г.)

Хранится у адресата, в Москве.

т. Стору
на память о Тифлисе
всадниках и прочем
Сергей Есенин
18/X 24¹

Гордон Маквей

¹ На книге «Преображение», М. 2-й год 1 века (1918). Надпись требует комментария. Речь идет о дуэли, которая чуть не состоялась между Есениным и Н. К. Вержбицким. Н. П. Стор пишет: «Дуэль Есенина с Вержбицким, о которой Вы знаете, действительно 'состоялась' в ночь на 18 октября. Я был секундантом С. Есенина, а Костя Соколов — Вержбицкого. Уже к 8 часам утра 'дуэлянты и секунданты' были освобождены и это событие мы отмечали два дня подряд 18 и 19 октября довольно шумно и весело...» (письмо Н. П. Стора к пишущему эти строки, Москва, 14-го ноября 1967 г.). Николай Павлович Стор был в то время сотрудником газеты «Заря Востока» (Тифлис). «С. А. Есенин в Тифлисе обыкновенно останавливался или у Ник. Вержбицкого или у меня...» (Письмо Николая Стора к С. А. Толстой, Тифлис, 2-го июня 1927 г. ГЛМ, Н-в 79).

«Дуэль» Есенина с Вержбицким предотвратило вмешательство конной милиции — «всадников» в надписи Есенина. Итак, намеченная дуэль не состоялась.

ИЗ ДНЕВНИКОВ И. А. БУНИНА

ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

23 мая (по старому стилю) 1918 года Бунины навсегда уехали из Москвы. Немногочисленные записи этого времени составлены, повидимому, на основе дневничка Веры Николаевны, который она вела во время пути и от которого сохранилось несколько исписанных карандашом листков, вырванных из записной книжки. Текст дневниковых записей Бунина очевидная стилистическая переделка путевых заметок Веры Николаевны.

25 мая 1918 г. (старый стиль)

11 часов утра (по «Нов/ому/ вр/емени/»), Орша.

Вдоль полотна ж/елезной/ д/ороги/ досчатые шалаши, в них беженцы из России, возвращающиеся на родину, на Украину.

Мы третий день в пути. В Москве приехали на Савёловский вокзал в 3 ч. дня, 23-го, провожал Юлий,¹ простившийся с нами на подъезде. В поезд сели только в 7 ч. — раньше отправляли «пролетарских» детей на каникулы в Саратовс/кую/ губ/ернию/ — затеи Луначарского. С Сав/ёловского/ вокзала мы тронулись только в час ночи, а с Александровского — в 3 ч. Спать пошли только в час ночи — до того сидели с доктором этого санитарного поезда, пили тминную водку.² В Вязьме были в 3 ч. 24 мая и стояли там до вечера. В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в 5 утра. В Орше стоим уже 3 часа, не зная, когда поедем дальше.

26 мая. Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой» Орше — за границей. Я со слезами сказал:

См. Кн. 108 «Нового Журнала».

¹ Юлий Алексеевич Бунин, старший брат Ивана Алексеевича.

² «Нам предоставили купэ в санитарном вагоне, где находилась столовая для медицинского персонала и купэ доктора», пишет в своих неизданных воспоминаниях Вера Николаевна. «Это было для нас сюрпризом».

«Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевицки. Время здесь уже нормальное.

Немецкий пост, купил у немцев бутылочку кюммеля. За завтраком и обедом у нас в поезде был помощник коменданта станции, немец 23 лет.

Едем на Жлобин.

27 мая (9 июня). Воскресенье.

Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи. Из поезда пришлось непосильно тащить вещи на другой, Александровский, вокзал — больше версты. Помогли 2 больных солдата.

На этом путевые записи Ивана Алексеевича кончаются, следующая запись касается Киева. О продолжении пути говорится в заметках Веры Николаевны:

«...На вокзале (т.е. Александровском вокзале в Минске, М. Г.) выпили кофе с миндальными пирожными. Рядом сидели два студента из Киева, кот/орые/ дали нам сахару и рассказали о взрыве. От коменд/анта/ станции, немца, я узнала, что нам нужно ехать на Виленский вокзал...³ На вокзале мы узнали, что нужно взять пропуск для получения билетов на выезд. Поехали за разрешением, на главной улице в каком-то большом доме уже у подъезда стоят пруссаки и жаждущие выехать обыватели.

Когда мы поднялись наверх и прошли мимо немецких часовых и, наконец, попали в комнату, где что-то писали и чего (вероятно, «чего-то», М. Г.) ожидали, нас охватило отчаяние, т.к. выяснилось понемногу, что пропуска выдаются с большим трудом, что нужно коменданту подавать прошение, написанное на немецком языке...

Ян был взбешен, расстроен, прямо не знал, что делать. Я все думала, все обращалась то к тому, то к другому, и получала в ответ «keine Zeit», довольно грубым тоном.

Вдруг мы увидели сестру милосердия, в кожаной курточке и пенсне. Когда она узнала, в чем дело, она выразила готовность помочь, сказав: «Да кто же вас не знает, Ив/ан/ Ал/ексеевич/».

³ Пропуска обозначаются многоточием.

Она сказала немцам, кто Ян, и те согласились дать нам пропуск... в конце концов, мы получили пропуск и, поблагодарив сестру, отправились на вокзал...

Затем мы сели обедать, и вдруг Ян говорит: «Да это Вера Инбер⁴ идет. Мы раскланялись, они подошли к нам. Оказывается, она проехала с датским посольством. В Орше ее чуть было не вернули обратно. Она едет в Одессу...

Билеты нам продали в III-ий класс... Ян был мокр, ветер гулял по вагону. Когда пошел контроль, я попросила их, нельзя ли за хорошую мзду перевести нас во второй, и он быстро согласился. Они перенесли наши вещи и посадили нас в просторном купе, где уже сидело 2 польских офицера, инженер-поляк и какой-то уса...

(Без даты, М. Г.)

Сидим на палубе.⁵ Как хорошо. Легкий ветерок, солнце. Мне только жаль оставшихся в Московии. Но Ян долго не позволяет быть на воздухе и сейчас мы пьем пиво и едим удивительно хорошее сало. Он повеселел. Много говорит. Сейчас я устала, и мне трудно записать все его слова...

Седьмой час, мы где-то стоим. После грозы в воздухе разлилась приятная прохлада. Чувствуем сильную усталость и очень рады, что плывем на пароходе. В вагоне могла быть такая же теснота, какая была и вчера, когда в наше купе ввалилось человек 8 офицеров польского легиона со своими пожитками, занявшими все пространство на полу и целую верхнюю лавочку...

Тут путевые заметки Веры Николаевны обрываются. Возвращаясь к дневниковым записям Ивана Алексеевича.

Лето, восемнадцатый год, Киев.

Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их всё перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин — бросаются в воду, бьют ногами, заходясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искушавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы,

⁴ Советская поэтесса.

⁵ На поезде Бунины проехали в Гомель. Оттуда на пароходе поехали в Киев.

раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается — и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий белый бурак в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него.

Одесса

В Одессу Бунины приехали в начале июня 1918 года, вероятно 3/16 июня, т.к. в Одесском дневнике Веры Николаевны под датой 3/16 июня 1919 года сказано: «Год, как мы в Одессе...» Пространный и подробный Одесский дневник Веры Николаевны, который я надеюсь опубликовать отдельно, начинается записью 17/30 июня 1918 г. Поселились Бунины временно на даче Шишкиной, Большой Фонтан. К этому периоду относится единственная дневниковая запись Ивана Алексеевича:

15/28 Авг. 18 г., дача Шишкиной (под Одессой).

Пятый час, ветер, прохладный и приятный, с моря. За воротами стоит ландо, пара вороных лошадей — приехал хозяин дачи, ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий — кучер так и сказал — «это ландо из погребальной конторы.» Кучер с крашеной бородой.

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам общества, кроме этих самых «радикалов». О проклятие!

Следует длинный перерыв в записях Бунина, вплоть до весны 1919 года. Эти записи сохранились в том виде, как они были сделаны в свое время и не были им переписаны. Это пожелтевшие, исписанные рукой Бунина листки бумаги, размера «фолио», сложенные пополам. Почерк нервный и местами неразборчивый. Начало и конец отсутствуют. Относятся эти записи ко времени, когда Одесса находилась в руках большевиков. Предполагаю, что из этих заметок частично родились впоследствии «Окаянные дни».

Начинаются записи со странички, на которой сбоку синим карандашом написано 1919 и продолжается начатая прежде фраза, даты нет.

...Часто теперь, читая какую-нибудь книгу, останавливаюсь и дико смотрю перед собой, — так оглушила, залилала (вероятно, залила, М. Г.), все затмила низость человеческого слова и так

дико вспоминать, на минуту выплывая из этого моря, что существовало и, может быть, где-нибудь еще существует прежнее человек/еское/ слово!

4 ч. Гулял, дождя нет, пышная зелень, тепло, но без солнца. На столбах огромн/ые/ афиши: В зале пролеткульта грандиозный Абитур-спектакль-бал... «После спектакля «призы»: 1. за маленькую изящ/ную/ ножку, 2. за самые красивые глаза, киоск в стиле «модерн», «в пользу безработных спекулянтов», губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачок, шалости электричества, катильон, серпантин итд. 2 оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 ч/асов/ по старому времени... Хозяйка вечера супруга командующего 3-й советской Армией Марфа Яковлевна Худякова».⁶ Прибавьте к этому новую орфографию.

25 мая/7 июня

Прочел «Знамя» и 1 № «Советск/ой/ власти», орган одес/ского/ Совдепа, долженствующ/ий/, повидимому, заменить собою «Голос красноарм/ейца/», который уже давно не виден в городе, отправл/ен/, как говорят, «на фронт». Все то же! Все ликвидация григорьев/ских/ банд и «разрастающаяся» во всем мире революц/ия/, — между прочим, крупно напечат/ано/ сообщение/ о большевицк/ом/ восстании в Турции...

Вчера весь вечер дождь, настроение оч/ень/ тяжкое. Дождь и ночью, льет и сейчас.

В «Сов/етской/ вл/асти/» две карикатуры, несомненно Минского. До содрогания, до тошноты гнусно...

26 мая/8 июня

«Знамя борьбы» на половину занято Марьяшем. «Проф/есиональный/ союз пекарей извещает о трагическ/ой/ смерти стойкого борца за царство социализма...» И еще неск/олько/ таких же объявлений; некрологи, заметки: «Ушел еще один... Не стало Марьяша... Стойкий, сильный, светлый...» итд.

Затем идет смехотв/орное/ известие о том, что «приморские города вблизи Дарданелл заняты турецк/ими/ коммунистами, которые принимают меры к закрытию Дард/анельского/ пролива, сообщение..., что «на Галицию идет огромная польская сила с Петлюрой в авангарде» (я говорил, что Петлюра опять вынырнет!)...

⁶ Похожая запись есть в «Окайных днях», стр. 167.

В полдень телефон из Сергиевского училища: приехал из М/осквы/ Личкус, сообщил Вере,⁷ что у Мити Муромцева⁸ тронуты верхушки легких и миокардит. Вера заплакала, оч/ень/ расстроена.

После этой записи следует перерыв почти в 2 месяца. О жизни Буниных повествует Вера Николаевна. 3/16 июня, мысленно подводя итог году, проведенному в Одессе, она записывает:

«Год, как мы в Одессе, как не похожа она на прошлогоднюю, немецкую. Та была еще нарядная, и ветчина стоила всего 6 рублей... теперь она стоит 48 рублей фунт, то есть в восемь раз дороже. Хлеб сегодня стоил 22 рубля фунт. Клубника стоила одно время 30 рублей за фунт, а сегодня 10, но и это нам не по карману.

Все еще прохладно, — это наше счастье, а то в городе в жару будет очень трудно.

Сколько мы пережили за этот год, год беженства. Одни «смены власти», как говорит наша горничная, чего стоят! Вид города сильно за год изменился. Все ходят в чем попало. У детей вместо туфель деревянные сандалии, которые очень приятно стучат по тротуарам. На всех углах продают разную снедь, — можно дома и не готовить».

Полуголодное состояние, противоречивые слухи, надежды, разочарования, волнения о близких и встречи с друзьями — Нилусом, Федоровым, Тальниковым, Варшавскими и другими — вот атмосфера жизни Буниных в это время.

20 июля /2 августа Вера Николаевна записывает:

«Нет света, весь город погружен в тьму. Уже много дней нет воды... Слух, что немецкие колонисты отступают. Большие аресты немецких заложников. Жутко. Чем все кончится».

В тот же день Иван Алексеевич пишет:

20 VII /2 VIII

Вчера разрешили ходить до 8 ч. вечера — «в связи с выяснившимся положением»(?)...⁹ Голодая, мучаясь, мы должны прожить теперь 200 р. в день. Ужас и подумать, что с нами будет,

⁷ Вера Николаевна Муромцева-Бунина.

⁸ Брат Веры Николаевны, Дмитрий Николаевич.

⁹ Вопросительный знак поставлен Буниным.

если продлится здесь эта власть. Вечером вчера пошли слухи, подтверждающие отход немцев...¹⁰

9 ч. веч/ера/. Опять наслушался уверений, что «вот-вот»... В порту все то же, до сих пор непонятное, за последнее время особенно, вследствие каких (вероятно, «каких-то», М. Г.) беспрерывных уходов, приходов, — контр-миноносец и два маленьких, все бегающих по рейду и куда-то вдаль.

Купил по случаю 11 яиц за 88 р. 0, анафема, чтоб вам ни дна, ни покрышки — кругом земля изнемогает от всяческого изобилия, колос чуть не в 1/2 аршина, в сто зерен, а хлеб можно только за великое счастье достать за 70-80 р. фунт, картофель дошел до 20 р. фунт и т.д. ...Электричества почему-то нету (Я таки жег за последнее время тайком, — «обнаглел»).

21 VII /3 VIII

В газетах хвастовство победами над Колчаком, в Алешках и над колонистами, — на Урале «враг в панике, трофеи выясняются» — всегда не иначе, как «трофеи»!...

А крестьяне будто бы говорят на великолепнейшем русском языке: «Дайте нам коммуны, *лишь бы избавьте нас от кадетов!*»...

Отнес свои рассказы Туган-Барановской. Очень приятна, смесь либеральной интеллигентки с аристократизмом.

Погода отличная, но, хотя я и спокоен сравнительно сегодня, все таки, как всегда, отношение ко всему как во время болезни. Все чуждо, все не нужно, все не то... Многие говорят, что им кажется, что лето еще не начиналось.

Масло фунт уже 160 р., хлеб можно доставать рублей за 90 фунт.

Сейчас 4 ч., как всегда, кто-то играет, двор уже почти весь в тени, небо сине-сероватое, акации темно-зеленые, за нами белизна стен в тени и в свете.

22 VII /4 VIII

Почему-то выпустили газеты — «Известия» и «Сов/етская/власть» — хотя сегодня понедельник. Ничего особенного. Махно будто бы убил Григорьева, «война» с колонистами продолжается, красные «дерутся как львы», — так и сказано, взяли Александровку..., это напечатано жирным шрифтом, «трофеи выясняются», но между строк можно прочесть, что дело это еще далеко не потушено; говорят, что немцы уже перерезали ж/елезную/ д/о-

¹⁰ Речь идет о восстании немецких колонистов.

рогу/ на Вознесенск. На базаре еще более пусто и еще более дорого. Прекрасное утро. Прочитав «Известия» на столбе, встретил Ив. Фед. Шмидта. Он зашел ко мне. Кабачки нынче 50 р. десяток.

Матросы пудрят шеи, носят на голой груди бриллиант/овые/ кулоны. Госуд/арственный/ Межд/ународный/ Красный Крест чрезвычайн/айно/ переводит деньги за границу, арестовывают членов этого креста для отвода глаз.

Как отвыкли все писать и получать письма!

Скучно ужасно, холера давит душу как туча. Ах, если бы хоть к чорту на рога отсюда?...

23 VII /5 VIII

Снова прекрасный летний день, каких было много, — то же серовато-синее чистое небо, зелень акаций, солнце, белизна стен, — и никакой видимой перемены, все буднично. А меж тем вчера, как никогда, была уверенность, что нынче должна быть перемена непременно.

Вчера после трех пришел Кондаков,¹¹ безнадежно говорил о будущем, не веря в прочность ни Колч/ака/, ни Деникина, вспоминал жестокий отзыв Мишле¹² и его пророчества о том, что должно быть в России и что вот уже осуществилось на наших глазах. Потом пришел Федоров и г-жа Розенталь, принесла весть об эвакуации большев/иков/ из Одессы. Кондаков не отрицает эвакуации, но говорит, что она делается для того, чтобы грабить город и куда-то вывозить, расхищать награбленное, — тянут, в самом деле, всё, что только можно, не только ценности, мануфактуру, остатки продовольствия, но даже все имущество ограбляемых домов, вплоть до мебели, — и для того, чтобы разворовать те 50 миллионов, которые, говорят, прислали из Киева на предмет эвакуации. Потом прибежал Коля: у них был (неразборчиво написанное слово, поставленное в кавычки, *М. Г.*) которому (неясно, *М. Г.*) официально заявил об этой эвакуации. Пошел к ним. «Одесса окружена повстанцами. Подвойский прислал телеграмму об эвакуации Одессы в 72 ч., перехвачено радио Саблина, — сообщает Деник/ину/, что взял Очаков, совершил десант в Коблеве и просит позволения занять Одессу»... Как было не верить? Но вот опять день, каких было много...

¹¹ Н. П. Кондаков, искусствовед.

¹² Вероятно, французский историк Жюль Мишлэ.

Вчера говорили о новых многочисленных арестах и расстрелах. Нынче похороны «доблестных борцов» с немцами...

4 ч. дня в городе. Читал приказы. Унылые слова. О проклятая жизнь!

24 VII /6 VIII

...Ночи прекрасные, почти половина луны. В одиннадцатом часу смотрел в открытое окно из окна Веры. Луна уже низко, за домами, ее не видно, сумрак, мертвая тишина, ни единого огня, ни души, только собака грызет кость, — откуда она могла взять теперь кость?... Соверш/енно/ мертвый город! На ночь опять читал «Обрыв»... А все таки это головой сделано. Скучно читать... Сколько томов культивировалось в подражание этому Марку! Даже и Горький из него.

Нынче опять такой прекрасный день, жаркий на солнце, с прохладным ветерком в тени. Были с Верой в Театральном кр/ужке/.

...Коммендант печатает в газете свое вчерашнее объявление — о лживости слухов, что они уходят: «Эвакуация, правда, есть, но это мы вывозим из Одессы излишние запасы продовольствия» и еще чего-то. Бог мой, это в Одессе-то «излишние запасы»!... На базаре говорят, что мужики так ненавидят большевиков, что свиньям льют молоко, бросают кабачки, а в Одессу не хотят везти...

25 VII /7 VIII

Во всех газетах все то же, что вчера... Возвращаясь, чувствовал головокружение и так тянуло из пустого желудка — от голода. В магазин заходил — хоть шаром покати! «Ничего нет!» — Это я все таки в первый раз в жизни чувствую. А все обычно, солнце светит, люди идут. Прошел на базар — сколько торгующих вещами. На камнях, на соре, навозе — кучка овощей, картошек — 23 р. ф/унт/. Скрежетал зубами. «Революционеры, республиканцы, чтоб вам адово дно пробить, дикари проклятые!»

«Распаковываются», — говорит один. Да, м/ожет/ б/ыть/, сами ничего не знают и трусят омерзительно. Другие твердят — «все равно уйдут, положение их отчаянное, про победы всё врут, путь до Вознесенска вовсе не свободен» и т.д.

Вечером. Опять! «Раковский привез нынче в 6 ч. вечера требование сколь можно скорее оставить Одессу».

Какая зверская дичь! «Невмешательство»! Такая огромная

и богатейшая страна в руках дерущихся дикарей — и никто не смирит это животное! Все горит,¹³ хлопают дерев/янными/ сандалиями, залито водой — *все* с утра до вечера таскают воду, с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить, что сожрать. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая, трудовая, что-нибудь творящая жизнь — все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет!..

Грабеж продолжается — гомерический...

26 VII /8 VIII

Слышал вчера, что будут статьи, подготавл/ивающие/ публику к падению Венгрии. И точно, нынче...

Ужас подумать, что мы вот уже почти 4 месяца ровно ничего не знаем о европейских делах — и в какое время! — благодаря этому готентотскому пленению!

Вечером. Деникин взял, по слухам, Корестовку, приближается к Знаменке, взял Черкассы, Пирятин, Лубны, Хотов, Лохвацу, весь путь то Ромодан до Ромен. Народ говорит, что немцы отбили Люстдорф... У власти хватило ума отправлять по деревням трупы актеров — в какой (вероятно, «какой-то», М. Г.) деревне, говорят, такая труппа вся перебита мужиками, из 30 музыкантов евреев, говорят, вернулось только 4.

Позавчера, идя с Верой к Розенберг, я в первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице человека с наклеенными усами и бородкой. Это так ударило по глазам, что я в ужасе остановился как пораженный молнией. Хлеб 150 р. фунт.

27 VII /9 VIII

«Красная Венгрия пала под ударами империалист/ических/ хищников...» ...«Восстание кулаков» растет, — оказывается и под Николаем (вероятно, Николаевым, М. Г.) началось то же, что и под Одессой, хотя, конечно, и нынче то же, что читаю уже 3 месяца буквально каждый день: «восстание успешно ликвидируется». С одесск/ого/ фронта тоже победные (следует неразборчиво написанное слово, М. Г.), но народ говорит, что немцы опять взяли Люстдорф... Сейчас опять слышна музыка — опять «торжеств/енные/ похороны героев». Из-за (? из, М. Г.) этого сделана какая-то дьявольская забава, от которой душу переворачивает. Масло 275 р. фунт.

¹³ Судя по записям Веры Николаевны, стояли знойные дни, а водопровод не работал.

28 VII /10 VIII

«К оружию! Революция в опасности!»... «Мы на Голгофе... Неумолимо сжимаются клещи Деникина и Петлюры...» На фронте, однако, везде «успехи», все восстания успешно ликвидируются (в том числе и новые — еще новые! — на левом берегу Буга), «красные привыкли побеждать», «Деникин рвет и мечет от своих последних неудач», «набеги остатков Петлюровщины уже совсем выдохлись». Все напечатано в одной и той же «Борьбе», почти рядом!..

29 VII /11 VIII

Был в Театральном, чтобы решить с Орестом Григор/ьевичем/ Зеленюком (?)¹⁴ об издании моих книг. Он занят. Видел много знакомых. Погода чуть прохладная, превосходная, солнечный день. Море удивит/ельной/ синевы, прелестные облака над противоположным берегом.

Туча слухов. Взята Знаменка, Александрия, вчера в 12 ч. «взят Херсон» — опять! «Эвакуация должна быть завершена к 15 авг/уста/»... Поговаривают опять о Петлюре, будь он проклят... Многому не верится, все это уже не возбуждает, но кажется, что-то есть похожее на правду...

Бурный прилив слухов: взят Орел, Белая Церковь, Киев!.. Над Одессой летают аэропланы...

30 VII /12VIII

Ничего подобного!.. Издеваются над слухами. Да, я, м/о-жет/ б/ыть/, прав, — многое сами пускают.

«Чрезкомснаб, Сквуз» — количество таких слов все растет!

1/14 VIII

Дней шесть тому назад пустили слух о депеше Троцкого — «положение на фронте улучшилось, Одессу не эвакуировать». Затем об (этом, М. Г.) не было ни слуху, ни духу и власть открыто говорила об эвакуации. Но третьего дня депешу эту воскресили, а вчера уже сами правители совали ее в нос чуть не всякому желающему и уже говорили, что она *только что* получена вместе с известием, что с севера на Украину двинуто, по одной версии, 48 дивизий, — цифра вполне идиотская, — по другой двадцать дивизий, по третьей 4 латышских полка и т.д. И цель была достигнута — буквально весь город пал духом, тем более, что частично эта эвакуация и впрямь была прекращена...

¹⁴ Вопросительный знак поставлен Буниным.

Соответственно с этим сильно подняли нынче тон и газеты: «Панике нет места!» «Прочь малодушие!»... «Передают, что Троцкий двинул с *Колчаковского фронта через Гомель*», каково! — «войска на Украину»... Все это, конечно, брехня, — известно то, что позавчера состоялось очень таинств/енное/ заседание коммунистов, на котором было констатировано, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье, оставаться по мере возможности в Одессе с целью терроризма и разложения деникинцев, когда они придут, а вместе с тем и твердо решено сделать наглую и дерзкую мину при плохой игре, «резко изменить настроение в городе», — однако, факт тот, что они *опять* остаются!..

В Балте «белые звери устроили погром, душу леденящий: убито 1300 евреев, из них 500 *мамуток*».

Немцев восстание действительно заглохло. Нынче газеты победоносно сообщают, что многие «селения восставших кулаков снесены красными до основания». И точно — по городу ходят слухи о чудовищных разгромах, учиняемых красноармейцами в немец/их/ колониях. Казни в Одессе продолжают с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его *одежду*. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности...

Вчера ночью опять думал чуть не со слезами — «какие ночи, какая луна, а ты сиди, не смей шагу сделать — почему?» Да, дьявол не издевался бы так, попади ему в лапы!

Вечером. Слухи: взят Бобруйск поляками, Гомель вот-вот возьмут... добровольцы будто бы верстах в 30-ти от Николаева. А про Херсон, кажется, соврали — теперь уж говорят, что взят будто бы только форштат Херсона.

Нынче утром был деловой разговор с этим Зелеником, что-ли. Хочет взять «Госп/одина/ из Сан-Фр/анциско/», все рассказы этой книги за гроши...

2/15 VIII

В «Борьбе» передовая: «Человечество никогда еще не было свидетелем таких грандиозных событий... в последней отчаянной схватке бьются прихвостни контр-революции с реакцией на Украине. Наша победа близка, несмотря на наши частичные неуспехи...» и т. д.

«Хищники хотят посадить на трон в Венгрии Фердинанда румынского...» но — «мировая революция надвигается... в Англии стачка хлебопек и полицейских... в Гамбурге тоже забастовка...»

В Одессе вчера важное заседание пленума Совдепа, ораторы громили контр-революционеров, появившихся среди рабочих в Одессе... Вообще тон всех газет необыкновенно наглый, вызывающий, победоносный — решение «резко изменить на-строение Одессы» осуществляется. Цены падают, хлеб уже 15-13 р. ф/унт/, холера растет, воды по прежнему нет, весь город продолжает таскать ее из (неразборчиво написанное слово, М. Г.) колодцев, что есть во дворах некот/орых/ домов. Буржуазии приказывают нынче явиться на учет, — после учета она вся будет отправлена на полевые работы. Угрожают, что через несколько дней будет обход домов и расстреляют «на месте» тех буржуев, кои на этот учет не явились...

4/17 VIII

Вчера опять у всех уверенность, возбужденность — «скоро, скоро!», утверждения, что взят Херсон, Николаев... Пошел слух по городу, что кто-то читал в Крымских газетах, что Колчак взял Самару, Казань (а по словам иных — и Нижний!). Вечером секретная сводка такова: Саратов обойден с с/еверо/-з/а-пада/, взят район Глазуповки (под Орлом — и даже Орел!), взят Бахмач, поляки подошли к Гомелю, Киев обстреливается добровольцами...

Нынче опять один из тех многочисл/енных/ за последние месяцы дней, который хочется как-нибудь истратить поскорее на ерунду — на бритье, уборку стола, франц/узский/ язык и т.д. Конечно, все время сидит где-то внутри надежда на что-то, а когда одолевает волна безнадежности и горя, ждешь, что может быть Бог чем-нибудь вознаградит за эту боль, но преобладающее — все же боль. Вчера зашли с Верой в архиерейск/ую/ церковь — опять почти восторгом охватило пение, поклоны друг другу священнослужителей, мир всего того м/ожет/ б/ыть/ младенческого, бедного с высшей точки зрения, но все же прекрасного, что отложилось в грязной и неизменно (эти слова написаны очень неразборчиво, М. Г.) скотск/ой/ человеч/еской/ жизни, мир, где (следует неразборчиво написанное слово М. Г.) как будто кем-то всякое земное страдание, мир истовости, чистоты,

пристойности...¹⁵ Вышли в архиерейск/ий/ садик... А газета (читал только «Борьбу») ужасна — о как изболело сердце от этой скотской грубости!..

6/19 VIII

В субботу 3-го взял в «ДнепроСоюзе» восемь тысяч авансом за право перевести некот/орые/ мои рассказы на малорусский язык. Решение этого дела зависело от Алексея Павловича Марковского, с ним я и виделся по этому поводу.

Вчера твердый слух о взятии Херсона и Николаева. Красные перед бегством из Николаева будто бы грабили город и теперь, грабя по пути, идут на Одессу — уже против большевиков... Был 2 раза в архиерейск/ом/ саду. Вид порта все поражает — мертвая страна — все в порту ободранное, ржавое, облупленное... торчат трубы давно издохших (? неразборчиво написано, М. Г.) заводов... «Демократия»! Как ей-то не гадко! Лень, тунеядство... Прибывшие из Франции все дивятся дороговизне, темному, голодному городу... Говорят, что много красных прибежало из под Николаева — больные, ободранные.

9/22 VIII

В «Борьбе» опять — «последнее напряжение, еще удар — и победа за нами!»... Вообще грабеж идет ужасный... Много учреждений «свернулось», т.е., как говорят, перевязали бумаги веревками и бросили, а служащих отпустили, не платя жалования даже за прежние месяцы; идут и разные «реквизиции»: на складах реквизируют, напр/имер/ перец, консервы...

По перехвач/енному/ радио белых они будто бы уже в 30-40 верстах от Одессы. Господи, да неужели это наконец будет!

Погода райская, с признаками осени. От скверного питания худею, живот пучит, по ночам просыпаюсь... со страхом и тоской.

Грабеж идет чудовищный: раздают что-попало служащим-коммунистам — чай, кофе, какао, кожи, вина и т.д. Вина, впрочем, говорят, матросня и проч/ие/ товарищи почти все выпили ранее — мартель особенно...

Летал гидроплан, разбрасывал прокламации Деник/ина/. Некоторые читали, рассказать не умеют.

После этой записи на той же странице следует еще одна, датированная предыдущим днем:

¹⁵ Стилистической переделкой этого отрывка заканчиваются «Окаянные дни», см. стр. 207. Т. Х. Изд. «Петрополис», 1935.

8/21 VIII.

«В Кроации вспыхнула революция...» «Мы оставили Херсон, Николаев, Воронеж...» — наконец то сознались!..

Дальнейшие события описаны в дневнике Веры Николаевны. 11/24 августа она, между прочим, сообщает:

«Сегодня утром проснулась от пушечной пальбы. Было 6 часов утра. Ян уже не спал, мы мигом оделись. Когда пальба прекратилась, Ян исчез. Он был в соборе, и при нем вынесли из алтаря георгиевское знамя... Потом мы с Яном встречали на Херсонской въезжавшие автомобили с добровольцами: масса цветов, единодушное ура, многие плакали...»

Уже на следующий день Вера Николаевна записывает: «Мы решили уехать из Одессы, при первой возможности, но куда — еще не знаем». В пространных записях рассказывается о жизни Буниных в Одессе после занятия ее белыми. 2/15 декабря опять тревожная запись: «Мы опять как на иголках. Каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить...»

Только 24 января /6 февраля 1920 Бунины удалось уехать из Одессы, к которой подступали красные. Вера Николаевна записывает: «В четыре часа дня мы тронулись в путь. Простившись с хозяином нашим, Ев. Ос. Буковецким, с которым мы прожили полтора года,¹⁶ и с его домоправительницей, мы вышли через парадные двери, давно не отпиравшиеся, и навалили чемоданы на маленькую тележку, которую вёз очень старенький, пьяненький человек... Отыскали наш пароход, Спарту, маленький, не внушивший доверия».

31 января/13 февраля 1920 года запись: «На Константинополь смотрю безучастно. Ян в каюте, он даже не захотел взглянуть на столь любимый им город».

Продолжение следует

Публикация Милицы Грин

¹⁶ В особняке художника Е. И. Буковецкого на Княжеской улице Бунины с октября 1918 года снимали 2 комнаты. В том же доме жил и друг Ивана Алексеевича, художник Петр Александрович Нилус.

КГБ В ДЕЙСТВИИ

Автор этого документа Юрий Васильевич Кротков, драматург и сценарист, в Совсоюзе в течение 17 лет (как он сам печатно рассказал) был «кооптированным сотрудником» КГБ и «работал» в Москве среди иностранного дипломатического корпуса. В 1963 году в Лондоне Ю. Кротков «избрал свободу», оставшись на Западе. На Западе он рассказал о провокационной работе КГБ среди иностранных дипломатов в Москве, в результате чего тогдашний президент Франции генерал де Голль отозвал из Москвы французского посла Мориса Дежана. Рассказы Ю. Кроткова об охоте КГБ за французским послом Морисом Дежаном и другими иностранными дипломатами были опубликованы на Западе: в большой голландской газете «De Telegraaf», (20 июля 1971 г.), во французском парижском журнале «Minute» (3-го сент. 1970 г.), в лондонском «The Sunday Telegraph» (20 сент. 1970 г.), в берлинской газете «Berliner Morgenpost» (2 сент. 1971 г.) и наконец в США самый распространённый журнал «Reader's Digest» (август, 1970) посвятил рассказу Ю. Кроткова об охоте КГБ за французским послом Морисом Дежаном большую статью Джона Баррона.

Кроме того, в ноябре 1969 года Ю. Кротков давал подробные показания в американском Сенате о работе КГБ среди дипломатов в Москве перед сенатской комиссией по внутренней безопасности. Эти показания напечатаны в 3-х частях (U.S. Government Printing Office, Washington, 1970).

Но полностью свою рукопись «КГБ в действии» Ю. Кротков до сих пор не мог опубликовать по не зависящим от него обстоятельствам. Мы публикуем главную часть этой рукописи, считая ее не только политически важным документом, но и документом актуальным, ибо КГБ при Брежневе продолжает ту же свою «работу», какую вел при Хрущеве. Кстати, тогда КГБ вел ее как раз в разгар пресловутой «оттепели» и «дружбы». РЕД.

КТО УБИЛ ГЕНЕРАЛА ГИБО?

Случайно у Сивцева-Вражка я встретил Риту, красивую голубоглазую девушку, которая, подморгнув, озорно сказала:

— Ох, выпить хочца. Но в кабак не поеду. Не велено. Карантин.

Я понял, что она была в очередной операции КГБ и что ее выдерживали.

Мы зашли в продмаг, взяли пару бутылок белоголовки, к счастью, оказалась любительская колбаса, шпроты, еще что-то вроде съедобное, и направились к ней. Рита жила за углом. Вместе с Кирой Аваковой. Одна темная, замызганная комната на двух. Девки снимали ее за 25 рублей в месяц, выдавая себя, разумеется, за «родственниц» хозяйки квартиры (это для фининспектора). Я хорошо знал обеих. И та и другая были кооптированными сотрудницами, или как их еще называли — ласточками, наших «славных» разведывательных органов. Собственно, Риту Прокофьеву я лично, в свое время, порекомендовал подполковнику Кунавину, и он, «профильтровав» ее, пустил в работу. Кира же была вне поля моего зрения, но Рита как-то сказала, что и она «наша». Кира была секретарем в УПДК, то есть в Управлении по обслуживанию дипкорпуса, при Министерстве иностранных дел СССР, которое (управление) фактически подчиняется КГБ. Там девицы почти все кооптированные ласточки.

Ну, сели, выпили первую, вторую. Кира, захмелев, сверкнув своими карими очами (она была армянкой), вдруг бабахнула:

— А слышали новость? Французский военный атташе застрелился!

— Что-о? — я ушам своим не поверил. — Какой?

— Генерал Гибо, — весело сказала Кира.

Я почувствовал на себе острый взгляд Риты. Не обращая на нее внимания, я спросил Киру:

— Откуда ты это знаешь?

— У-п-пи, — на английский лад воскликнула ласточка, — это же сенсация во всем дипкорпусе. И у нас в УПДК, конечно. Такого «кейса» еще никогда не было. Все было, но чтобы военный атташе в Москве сам себя ухлопал... Нет, такого еще не было.

Рита работала с французами, одно время на нее делалась почти королевская ставка, но она оказалась простоватой, недостаточно хваткой, во всяком случае она догадывалась, что в штурме французского посольства — я один из тех, кто, говоря образно, держит в руках бикфордов шнур. Она, наверное, что-либо сболтнула Кире, как девка девке — под честное слово. Обе они смотрели на меня с особым любопытством, но понимали, что задавать лишние вопросы даже во время выпивки нельзя.

— А почему... он застрелился? — спросил я Киру. — Что говорят об этом в УПДК?

Кира стала таинственно-серьезной:

— Все шепчутся. И говорят всякое. И что романтическая история. И что... запутался он в чем-то...

— Когда это случилось? — перебил я.

— Вчера днем.

Я не стал засиживаться у девок, хотя первоначально настроился остаться у них на ночь (они были гостеприимными). История с Гибо выбила меня из колеи. Я отправился домой. Звонить на Лубянку в такое время было бессмысленно. Надо было дожидаться утра.

Спалось мне так, как, вероятно, спится убийце. Мысль о том, что я и есть убийца или соучастник убийства, не давала мне покоя.

В девять часов я вскочил с постели, быстро оделся и убежал на улицу, чтобы свободно поговорить из телефонной будки. Ведь я жил в коммунальной квартире, где один общий телефон конечно же контролировался 21-м жильцом. Я набрал номер. Как всегда послышался приятный женский голос:

— Алло?

— Вера Ивановна?

— Я...

Забыв сказать доброе утро или здравствуйте, я спросил:

— Это правда о самоубийстве?

Голос стал жестк:

— Откуда вы узнали?

Я сослался на Киру Авакову. Майор гос. безопасности, Вера Ивановна Андреева, ответила утвердительно и сказала:

— Где вы пропадали? Я звонила вам вчера весь день. Вот что... надо поехать к Машеньке. Нам важно выяснить, что

у них там внутри... как они сами расценивают этот выстрел. Понимаете? Позвоните ей и скажите, что вы случайно услышали это печальное известие и что вы хотите поговорить с ней... Машенька непременно пригласит вас на завтрак... Будут ждать вас в пять на квартире по улице Неждановой...

Машенькой мы называли жену чрезвычайного и полномочного посла Франции в СССР, Мориса Дежана, — Мари-Клер.

Да, все было именно так, как предположила Андреева. Я позвонил Мари-Клер. Голос у нее был скорбный. Она сразу же пригласила меня к себе. В посольстве, на Якиманке, перед завтраком мы гуляли по небольшому, но уютному саду. Светило солнце. Щебетали птицы. Мари-Клер и на этот раз была элегантна, изящна, а печаль лишь смягчала ее облик.

От Мари-Клер я узнал следующее:

Генерал Гибо, кстати, совсем недавно получивший звание генерала, перед тем, как ехать в атташет, у себя на квартире по 4-ой Тверской-Ямской, поссорился с женой, Жиннет, в возбужденном состоянии сел в машину, приехал на работу, вошел к себе в кабинет, что-то сказал секретарю, затем, оставшись один, застрелился. Жиннет, после его отъезда, минут через десять, вышла на улицу, взяла такси и помчалась в атташет. Но было уже поздно. Гибо лежал распростертый на полу.

— О-ля-ля... — как-то подавлено произнесла Мари-Клер.

По секрету, чуть понизив голос, точно нас в саду могли услышать посторонние, она сказала, что Гибо и Жиннет давно уже не ладили, ссорились и жили как кошка с мышью. (Она мне, мне это рассказывала, когда я до мельчайших подробностей знал отношения супругов Гибо!) Машенька сказала, что, по мнению Мориса, т.е. посла и ее мужа, объяснение этого ужасного происшествия кроется в характере Гибо, который был человеком мрачным, раздражительным и вспыльчивым. Вероятно, сказались годы алжирской войны, добавила Машенька. Она явно старалась создать впечатление, что все это из области абсолютно личного и не имеет отношения к посольству, к дипломатии, к политике и пр. Нет, нет, никакого отношения! Она упомянула о переживаниях Жиннет, о том, что у нее остались дети, сын и дочь, правда, взрослые. По-женски Мари-Клер сказала даже о новой квартире, которую совсем недавно

в Париже купили Гибо, и о том, что теперь, уплатив за нее все деньги, Жиннет, о-ля-ля, окажется при пиковом интересе...

От Мари-Клер я узнал и то, что Жиннет, в траурном платье, сопровождая гроб с телом Гибо, улетела в Париж.

Мой нюх подсказал мне, что жена посла вела себя так, как этого хотелось в данном случае Вере Ивановне, а стало быть, и самому Олегу Михайловичу Грибанову, генерал-лейтенанту, начальнику 2-го Главного управления КГБ СССР.

Жена посла, на мой взгляд, старалась нейтрализовать выстрел Гибо. Разумеется, это было и в личных интересах посла. Да и знал ли он правду об этом выстреле, ту правду, которую знали Андреева и Грибанов? (Посол мог знать что-либо только при условии, если Гибо оставил посмертное письмо).

В пять часов я сидел в кресле напротив Веры Ивановны. Это было на агентурной квартире генерала Грибанова по улице имени Неждановой. Кстати сказать, дом этот был построен при Сталине для работников Большого театра и на фасаде его висели мемориальные доски с именами знаменитых Пирогова, Голованова и других певцов, дирижеров, балерин и т.д. А вот в квартире 16 «жил» крупный чекист. Опытный глаз сразу определил бы эту квартиру, как государственную, ибо обставлена она была по правительственному стандарту: полированная тяжелая мебель, текинские ковры, белые телефоны, зеркала в золоченых рамах, в столовой — черный «Бехштейн», в кабинете огромный письменный стол с синим сукном и массивные стеклянные шкафы с книгами, преимущественно издания «Академия». Да, здесь можно было бы, при необходимости, принять и посла великой державы, благо у такого глаз наверняка не опытный. Обслуживала квартиру «домработница», Мария Гавриловна, на вид «классная дама» дореволюционных времен, вежливая, предупредительная, в белом крахмальном переднике, в любой час подающая кофе с блинчиками и вареньем. (Однажды эта Мария Гавриловна пожаловалась мне на то, что устает, так как приходится, кроме основной работы «по квартире», быть еще и агитатором «по партийной» линии. Оказалось, что она из «старых большевиков»).

Итак, я передал Вере Ивановне рапорт, то есть содержание моего разговора с Мари-Клер, изложенного на бумаге и подписанного, как обычно, агентурным именем. На словах я

повторил, что Машенька старалась нейтрализовать факт самоубийства французского военного атташе.

Вера Ивановна, пробежав глазами мой рапорт, проговорила:

— Значит после Гибо ничего не осталось? Никакой записки, письма? Это точно?

Я пожал плечами и ответил, что Мари-Клер об этом ничего не сказала, следовательно это известно одному Богу. Было очевидно, что именно это больше всего беспокоило Веру Ивановну. Не оставил ли Гибо перед смертью какое-либо письмо с каким-либо секретом? И хотя Андреева понимала, что если бы даже что-то подобное и существовало, то, во-первых, Мари-Клер могла просто не знать об этом, муж мог не сказать ей об этом, во-вторых, если бы она и знала что-нибудь, она могла не сказать этого мне, тем не менее моя беседа с женой послала несколько успокоила Веру Ивановну. (Я предполагал, что она сама уже разговаривала, быть может, по телефону с Мари-Клер на эту тему, так сказать, по *своей* линии. А может быть, уже был и разговор между генералом Грибановым и Морисом по *их* линии.)

— Да, да, это верно, — произнесла Андреева, — Гибо был мрачным человеком, неуравновешенным, почти больным. Вы же его знали...

И по тому, как она сказала это, я понял, что между ней и Мари-Клер, как между Грибановым и Морисом Дежаном, существовал неписанный, несогласованный, так сказать, инстинктивный *союз*, точно обе стороны, руководясь, конечно, разными мотивами, стремились избежать раскрытия этой истории, сваливая все на мрачность Гибо.

Интересен чисто психологический узор в отношениях со мной. Андреева знала, что мне многое, очень многое известно, хотя она и не знала, известно ли мне *всё*, скорее она предполагала, что мне *всё* не известно. Однако главным было чисто формальное обстоятельство. Ведь я не носил погоны КГБ и не был офицером КГБ, я был всего лишь кооптированным, следовательно Вера Ивановна должна была вести игру и со мной. Вот она и играла, пытаясь, между прочим, сделать так, чтобы и я поверил в то, что Гибо — по «собственной инициативе» и без участия КГБ — застрелился. Я же не мог поверить в это, потому что я знал *всё*, или почти всё, принимая непосред-

ственное участие в этой провокации в широком смысле слова. Генерал Грибанов, провоцируя Гибо, не думал, что тот закончит жизнь самоубийством, он рассчитывал на трусость француза, а тот взял и ответил ему так, что у всех дыхание перехватило.

Но люди забывчивы. Вскоре о Гибо забыли. Помню, прошел, может быть, месяц, и мы, сидя в бордово-красной гостиной Мари-Клер, у чудесного камина, уже беседовали о чем угодно, кроме Гибо.

Этого мужественного человека похоронили, кажется, в его родном городе Марселе... Я лично не сомневаюсь в том, что Гибо убил КГБ СССР в лице генерала Грибанова. Это было еще одно убийство на счету этого чекиста.

Но какова мера моего преступления, если не уголовного, то морального? Насколько я был замешан в это? Наконец, *что* именно толкнуло Гибо на выстрел? И как это все было организовано?

Самоубийство генерала Гибо я считаю вершиной всей длительной осады французского посольства в Москве. Дело кончилось смертью человека. Но ведь едва жив вышел из «боя» сам Дежан, история его дискредитации неповторима. Правда, он уцелел, но выскочил из мышеловки, бесславно закончив свою дипломатическую карьеру.

Выстрел Гибо неразрывно связан с остальными элементами этой уникальной в истории КГБ операции, которую мы, ее участники с советской стороны, между собой прозвали «Операцией Морис», так как острие ее было направлено, разумеется, против посла.

Чтобы вникнуть во все подробности провокации против Гибо, приведшей к роковому выстрелу, чтобы ответить на собственные вопросы, я должен открыть «Операцию Морис». Говорить о самоубийстве Гибо отдельно нельзя, оно звено *одной цепи*.

«Операция Морис» — это как бы жизнь на краю пропасти...

Представьте себе, читатель, следующее:

Жаркий июльский день. Я прихожу в ресторан «Арагви». В кабинете № 3 меня ждут подполковник Кунавин и полковник Мелкумов. (Накануне Кунавин позвонил мне по телефону и пригласил на этот обед). Кунавин — плотный, широкопле-

чий, с вьющимися волосами, в новом костюме. Мелкумов — среднего роста, чуть смуглый, очень изящно одет. Первый прост и грубоват, второй на голову выше в интеллектуальном смысле, умен. В «Операции Морис» он был, пожалуй, правой рукой генерала Грибанова.

Стол накрыт на троих. Коньяк — пять звездочек, минеральная вода «Боржоми», закуски. Официант приносит жареный сыр «Сулгуни», потом цыплят «Табака», потом шашлыки по-карски. Словом, все честь честью. В таких случаях КГБ тратит на одну персону не больше пяти рублей. Это в среднем, бывает, когда разрешается тратить в ресторанах без лимита, особенно в обществе с иностранцами.

Мы поднимаем тосты. Разговоры идут главным образом на одну тему: «Операция Морис». Я должен подчеркнуть и тут занятую деталь. Дело в том, что события, связанные с этой операцией, развивались порой так причудливо, что я, всего лишь кооптированный работник КГБ, знал даже то, чего не знали Кунавин и Мелкумов, хотя я, конечно, не знал много того, что знали они. Интересно, что каждый из них, как и Вера Ивановна, да и другие офицеры КГБ, занятые в этой операции, встречаясь со мной отдельно, часто говорили мне все же больше того, что требовалось, считая меня вполне «своим». Но вот находясь вместе, Мелкумов и Кунавин были осторожны, сдержанны, боясь сказать что-то, чтобы не обнаружить дружеские отношения со мной.

Приближается конец обеда. Мелкумов встает, извлекает из кармана пиджака золотые часы с золотой браслеткой и с почетом вручает их мне от имени Комитета Государственной Безопасности при Совете министров СССР. Он произносит короткое, но «прочувственное» слово, заявив, что без меня они не достигли бы того, чего они достигли, и что этот ценный подарок знак благодарности за высокую патриотическую деятельность, которую я веду много лет «на благо Родины». Он добавляет, что, к сожалению, на крышке часов не может быть выгравирована надпись, как это делается в случаях преподнесения ценного подарка в Советской стране. О нем могу знать один я. Приятелям же мне придется сказать, что я купил эти часы у спекулянта за 300 рублей. Иным путем *такие* часы у нас не купишь.

Я отвечаю «прочувственным» словом. Официант подает

десерт. На левой руке у меня красуются часы фирмы «Докса».

(Я не раз слышал от Кунавина, что КГБ собирается сделать мне подарок. Он говорил, что Грибанов уже наложил соответствующую резолюцию на рапорте. Как то Кунавин сказал, что он сам ходил на склад КГБ смотреть, что там есть. Эти часы появились неожиданно, их конфисковали у какого-то иностранца в таможне. Мог ли этот иностранец предположить, что его часы достанутся мне и что в них, как в фокусе, сосредоточится такая гигантская подлость?)

Полковник Мелкумов хвастливо называет «Операцию Морис» — одной из самых блестящих в истории советской разведки и просит меня подумать о том, чтобы сделать запись этой Операции для того, чтобы использовать ее как учебное пособие в Высшей школе КГБ. От этой идеи Кунавин приходит в восторг. (Позже генерал Грибанов отверг эту идею).

Тогда, когда Мелкумов предлагал мне подумать о записи «Операции Морис», я уже об этом начал подумывать, но я думал сделать ее не для Высшей школы КГБ, а для всех людей.

Вот она, эта запись!

«ОПЕРАЦИЯ МОРИС»

Удавалось ли ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ когда-либо еще «обыграть» посла *великой* державы? Однажды Кунавин рассказал мне о том, что КГБ пытался завербовать посла Бенилюксов в Москве (он не назвал страну). Его сфотографировали в пикантном положении с одной из кооптированных ласточек, затем шантажировали. Но посол этот, кажется, сразу же уехал из Москвы. Однако это же был посол Бенилюксов.

А тут Морис Дежан — чрезвычайный и полномочный посол Франции!

Началось же все с хитрого мужичка, Никиты Хрущева. На одном из гос. приемов он разглядел живого, общительного французского посла, заметил его интерес к женскому полу, прикинул, значит, и, нуждаясь в «улучшении» отношений с Францией, позвонил председателю КГБ СССР генералу Серову. Так и так, сказал, надо бы «схватить посла за ножку».

Я не знаю дословно, что сказал Хрущев Серову, но Дежана таки «схватили за ножку».

Повторяю, это было невиданное в анналах Лубянки меро-

приятие. По масштабам оно было колоссальным. Руководил им непосредственно Олег Михайлович Грибанов, больше того, он в нем сам участвовал. Это была планомерная, многолетняя и неумолимая атака всего французского посольства, целого ряда его ответственных сотрудников, в том числе и генерала Гибо.

По приказу Грибанова, первой на мушку взяли Мари-Клер. Предполагалось проникнуть в сейф и в голову посла через сердце или тело его жены. Однако Мари-Клер оказалась «твердым орешком». Меня включили в дело именно на этом этапе, и дальше я принимал участие в самых фантастических затеях генерала Грибанова.

Прежде чем перейти к подробному рассказу об «Операции Морис», а следовательно, и о том, как был убит генерал Гибо, я хотел бы в общих чертах охарактеризовать некоторых действующих лиц.

Начну с Веры Ивановны Андреевой. В то время ей было лет сорок пять. Внешность ее: рыжие волосы, полная комплекция, подвижность, веселость, отсутствие печати «органов». Она была достаточно мягкой и покладистой в обращении и разговорах. С ней можно было говорить на любую тему, как с интеллигентным человеком. Она имела высшее филологическое образование и великолепно знала французский язык, хотя и не могла избавиться от русского акцента. Сразу после войны, если я не ошибаюсь, она работала уже по линии «органов» в миссии по репатриации советских военнопленных во Франции.

На мой взгляд, Вера Ивановна, не будь она чекистом,шла бы свое счастье в жизни, ибо она была женщиной с явными дарованиями. Но служба в КГБ, звание майора гос. безопасности, ограничивали ее и делали, может быть, помимо воли, несчастной.

Андреева жила с сестрой и сыном где-то на Ленинградском шоссе, в доме КГБ. Мужа у нее, кажется, не было. Отношения с сыном, старшекласником, определяли материнскую и гражданскую трагедию Веры Ивановны.

Сын часто задавал вопросы, на которые она не могла дать честных и исчерпывающих ответов, фальшивить же с сыном, вероятно, было трудно. На многие вопросы нашей жизни Вера Ивановна не могла ответить и самой себе. Вероятно, сидя в

кабинете на Лубянке, она не имела времени задуматься о том, что она делает, зачем она это делает и что вообще происходит в стране. Но дома, общаясь с сыном, она, я думаю, превращалась в человека.

Из некоторых высказываний Андреевой, я сделал вывод, что она либо верит в Бога, но скрывает это, либо близка к тому, чтобы поверить в Бога. Несколько раз она говорила мне о том, что прежде у людей было сдерживающее начало — Бог, и что это дисциплинировало, а ныне, мол, все можно. Мне кажется, что, возвращаясь домой и встречаясь с сыном, Вера Ивановна не могла не видеть или не угадывать то, что видит и угадывает всякий честный и мыслящий человек в СССР, то есть неправду, обман, демагогию, принуждение. Латы КГБ не спасали Веру Ивановну. На работе она обманывала себя. Быть может, она старалась обманывать и сына, дома, думая о его будущем. Но жить так — я думаю — было трагедией.

В период «Хрущевской оттепели», Андреева высказывала весьма либеральные идеи. К этому надо присовокупить и то, что встречаясь со мной по делам, она старалась соответствовать, так сказать, духу времени и не ронять себя в интеллектуальном отношении. И это несмотря на то, что я был «кооптированным» литератором. Но вот когда появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», то Вера Ивановна, помню, с гневом и искренне возмущалась тем, что автор, де, подрывает авторитет органов государственной безопасности, что, де, автор написал пасквиль и пр. Это была защита мундира, который, собственно, кормил ее и ее сына. Вот таким сложным, с психологической точки зрения, человеком была Вера Ивановна Андреева.

В московском дипкорпусе она выступала под вымышленной фамилией Горбуновой, переводчицы Министерства культуры СССР. (Это было согласовано с министром культуры). «Работала» с иностранцами Горбунова не одна, а в содружестве со своим высокопоставленным мужем. Она представляла его как «Ответственного работника Совета Министров СССР», Горбунова.

Кто же был этот высокопоставленный, но «липовый» муж? Внешность: — среднего роста, плотный, подвижной, очки в светлой роговой оправе, одевается хорошо, но «по-совет-

ски», как все «ответработники», то есть широкие брюки и пиджак с подложенной грудью, плечами и длинными рукавами. В разговоре Горбунов проявляет не очень свойственные «ответственным» независимость и смелость суждений. Он даже остроумен. Горбунову нельзя отказать в проницательности и смысленности. Я бы даже сказал, что Горбунов — талантлив, хотя талант его и зловещ. Иностранными языками не владеет. (Но ведь есть «жена» — с французским). По-русски говорит грамотно, но допуская некоторые огрехи. Я думаю, что он вышел из низов, учился на «медные гроши» и попал в какое-либо высшее учебное заведение уже с укоренившимся говором простолюдина, который так у него навсегда и остался, как, например, и у Хрущева. И Горбунов и Хрущев сами пробили себе дорогу в жизни.

Мне было известно, что Горбунов обладал неограниченными возможностями, пользовался полным доверием в верхах, был на короткой ноге с зав. отделом административных органов ЦК КПСС, генералом Мироновым, и уже много лет находился в руководящей номенклатуре ЦК.

Откроем карты. Горбунов был не кем иным, как генералом Грибановым. Тем самым Олегом Михайловичем Грибановым, генерал-лейтенантом государственной безопасности, начальником 2-го Главного управления КГБ СССР, в прошлом заместителем начальника 1-го Главного управления (начальником тогда был генерал Панюшкин), инициатором многих акций КГБ за рубежом, в том числе и политических убийств.

В КГБ Грибанова называли «маленьким Наполеоном». В мое время Грибанов контролировал всю внутреннюю службу КГБ, но главная работа его концентрировалась на московском дипломатическом корпусе.

Если у Грибанова была ахиллесова пята, то, пожалуй, она была в чрезмерной самоуверенности, проистекавшей из его положения человека, наделенного, повторяю, неограниченными возможностями.

Теперь о Кунавине, который закончил свою службу в КГБ в звании полковника государственной безопасности. С Леонидом Петровичем я «проработал», так сказать, бок о бок что-то около пятнадцати лет. У нас были приятельские отношения.

После того, как Кунавина отчислили из «органов», он

разошелся с женой и уехал из Москвы. Кстати, женат он был на дочери известного советского драматурга Николая Погодина. Нина тоже работала в КГБ и имела звание капитана, но затем перешла в Министерство внешней торговли. Кунавин уехал в Ригу, где он когда-то начинал свою чекистскую карьеру. Там он и осел, женился в третий раз, устроился на работу, не теряя связи с КГБ.

Этого человека я не забуду до конца своих дней. С одной стороны, он был примитивен, так сказать, от сохи, племей. С другой же — в нем сидел кулак, стяжатель, собственник, стремящийся взять от жизни все, что попадает под руки, и взять сегодня, потому что завтра может быть уже поздно. Он был патриотом советской власти в том смысле, что партийный билет и погоны КГБ давали ему неисчислимые блага, удобства, положение. Он получал огромную зарплату, имел квартиру на Смоленской площади, пользовался услугами всяких спец. магов и спец. ателье, поликлиник КГБ, приобрел автомобиль по спец. спискам, в то время, когда купить автомобиль рядовому смертному было невозможно, и т.д. и т.п.

Все это сочеталось в нем с гигантской силой воли, упорством и полной отдачей тому делу, которым он занимался. И дело это он любил, горел на нем. Работал и днем и ночью, не считаясь с временем.

Внешне он был привлекателен: силач с мясистым лицом, широкий шаг и размах рук, приятный голос. Профессии в собственном смысле слова у него не было. Но она и не требовалась. Он был сообразителен от рождения. А его интеллектуальная ограниченность больше помогала, чем мешала. Помогала там, где была необходимость в решительных, жестких и немедленных действиях. В таких случаях он был незаменим. И не случайно во время венгерской революции, в 1956 году, генерал Грибанов, лично руководивший карательными акциями в Будапеште, взял с собой и Кунавина.

По рассказу Леонида Петровича, их было 65 человек, отборных офицеров КГБ. Они приземлились на военном аэродроме, который контролировали советские войска. Здесь Грибанов обосновал свой штаб, имея прямую связь (ВЧ) с Москвой. Кунавин и остальные, без сна и отдыха, получив специальные пистолеты-автоматы в деревянных кобурах, каждый в сопровождении советского солдата, производили в городе повальные

аресты. По словам Кунавина, брали каждого второго, потому что нельзя было брать всех подряд, хотя он лично и считал, что каждый был «мятежником» и «контрреволюционером». Арестованных венгров сажали в теплушки и под стражей гнали составы в отдаленные районы Сибири.

За участие в этой кровавой операции Кунавин был награжден очередным орденом Красной Звезды (у него их было четыре), а «славный» генерал Грибанов — даже боевым орденом Красного Знамени. Разумеется, и Грибанов и Кунавин рисковали. Могли ведь найтись и такие венгры, которые встретили бы их пулей. Но Кунавин любил рисковать. Он много раз ставил на карту жизнь. Особенно, когда работал в Латвии.

Словом, если бы Леонид Петрович не пил водку, а этим грешат 90 процентов чекистов, я думаю, что, несмотря на свои прочие недостатки, он пошел бы дальше и стал бы генералом государственной безопасности. Грибанов его ценил. Много раз он выручал его из всяких скандальных историй, а в решающий момент в «Операции Морис» он вызвал Кунавина из отпуска, хотя мог заменить его любым другим сотрудником КГБ.

Перехожу к героине, к той женщине, которая и определила успех в «Операции Морис».

Летом 1963 года, перед своим отъездом в Лондон, я зашел как-то в Дом Кино. Показывали итальянский фильм. Он был не очень интересен, и многие мои коллеги, друзья, прогуливались в фойе. И вот тут среди них я и увидел Лору. Да, это была она, та Лора, которая схватила Мориса Дежана «за ножку». Это была киноактриса Лариса Кронберг-Соболевская. Это была Лорка, Лорелея. Я невольно вспомнил и своего двоюродного брата, Валерия, который был безумно в нее влюблен, и нашу банальную постельную связь. В то время Лора отснялась в фильме «Ночь без милосердия». Я знал, что эту картину смотрели в Кремле и приказали переделать, так как американские летчики на военных базах в Европе, по мнению советских руководителей, были изображены слишком мягко и даже привлекательно, а их следовало показать бандитами и фашистами. Фильм переснимали.

Лора пришла в Дом Кино со своим новым мужем, режиссером этой картины, Файнцимером. Забавно, но Файнцимер

также принимал участие в «Операции Морис», видимо, сам того и не предполагая. Лора использовала его «втемную».

Она заметила меня. Наши взгляды встретились. О, как она изменилась, постарела, пожалуй. Я не видел ее несколько месяцев, но она сильно сдала. Что с ней? Еще совсем недавно она была неотразима. Глаза ее стали какими-то тусклыми и безразличными, а прежде они сверкали, как алмазы, и поражали любого мужчину. Волосы, выкрашенные в черный цвет, свисали, как клочья шерсти. Но фигура, по-прежнему, была великолепной. Такое тело вероятно было у Мессалины.

Лора кивнула мне. Я ответил. Она прошла мимо, не остановившись. А Файнцимер бросил в мою сторону явно враждебный взгляд и даже не поклонился. Это понятно, он давно не любил меня из-за Лоры, подозревая, что между нами был роман.

Мы были партнерами в необыкновенной игре. До известного момента она полностью подчинялась мне. Самое же важное и решающее произошло, естественно, без меня, и по ее расчетам об этом я информирован не был. Однако она ошибалась...

Мари-Клер Дежан. Я уже несколькими словами описал ее. Может быть, ее образ станет более рельефен после вот этого обращения к ней: — «Дорогая Мари-Клер, если случится так, что вы прочитаете эту книгу, самой тяжелой минутой для меня будет та, когда я почувствую в своем сердце ваш укор. Нас с вами связывали долгие и сложные отношения. Увы, я никогда не мог быть с вами откровенен, потому что вы были женой французского посла, за которым охотился КГБ, а я был, так сказать, щупальцем этой дьявольской организации и помогал ей в этой подлой охоте. Но если бы вы знали, как мне самому порой это было противно... Вы прелестная женщина, умная, тонкая, духовно незаурядная, как вы сами о себе шутили, «женщина де люкс». Кажется, ваша личная жизнь сложилась не очень удачно. Я полагаю, что ваш брак с Морисом Дежаном носил характер, простите меня, высоко-светской сделки. Это, по-моему, в известной мере и способствовало тому, что ваш муж попался на удочку КГБ. Просто страсть — не ваша стихия. Ваша внутренняя изощренность препятствовала голому чувству, в вас преобладал рассудок, он стоял на страже эмоций. Это и спасло вас в Москве. Но в

то же время, по-моему, вы типичная француженка, веселая и многообразная. В моей памяти вы остались образцом женского ума, изящества, грации. Всегда, разговаривая с вами, несмотря на мою двуличность, я получал истинное удовольствие от свежести и оригинальности ваших суждений... Вы всегда были достойной хозяйкой французского посольства в Москве! И мне мучительно сознавать, что я всегда был недостоин вас, ибо я был не тем, за кого себя выдавал. Вы часто называли меня «самым большим русским другом». О, как вы заблуждались в отношении меня, да и многих других русских, которые вас окружали... Бедная Мари-Клер, ведь вы действительно ничего не подозревали, я это знаю. Ведь вы видели в Ларисе, например, только красивую русскую женщину, киноактрису, милую, общительную, но вы не знали, что Лариса была, кроме того, кооптированной ласточкой, внештатным сотрудником КГБ, как и все мы — остальные ваши русские знакомые... Я понимаю, что эта книга будет для вас — как гром в чистом небе. Да, я наношу вам удар, двойной, ибо я открываю такие стороны вашей жизни, о которых нельзя было бы говорить, если бы за ними, не стояло нечто большее. Я не прошу вас простить меня за это. Но я всегда буду повторять, что вы были *великолепным* представителем Франции в Москве. Ах, если бы вы были чрезвычайным и полномочным послом Франции в СССР!»

Коротко о «жертве», о после.

Скажу правду, узнав Дежана (я а узнал его достаточно хорошо и с самых различных сторон его характера), не отнимая у него тех достоинств, которыми он обладал, то есть большим опытом дипломатической службы, светскими манерами, лингвистическим талантом, колоссальной работоспособностью, я внутренне никогда не испытывал угрызения совести по отношению к нему. У меня почти никогда не возникало желания, хотя бы желания, намекнуть ему на необходимость быть осторожнее, осмотрительнее. А ведь это было так возможно. Намекнуть. Эта мысль приходила мне после каждой встречи с Мари-Клер. И если я все же этого не сделал, то только потому, что знал, что в здании посольства слышали и стены, только потому, что я был под полным контролем и таким шагом мог бы не только испортить всю игру, но и вызвать подозрения, при этом с двух сторон.

Меня поражало, что Морис Дежан не сознавал ответствен-

ности своего положения как государственный деятель, представляющий интересы своей страны и пользующийся доверием своего правительства. Меня поражало, что Дежан не понимал, или, если понимал, то пренебрегал необходимыми мерами безопасности ради удовлетворения достаточно мелких человеческих страстишек, точнее, ради удовлетворения своей плоти. Если же ему было дано указание из Парижа сблизиться с русскими, с руководством и т.д., то, и в этом случае, на такого рода сближения послы идти не могут.

Может быть, будет верно назвать Мориса Дежана филистером, психологическим мещанином. Впрочем, и во внешности его было что-то «бюргерское». Он был чуть ниже среднего роста, толстенький, круглолицый, с розовыми щеками и похотливыми губами. Короче, в этом человеке не было никакого духовного дарования.

В заключение, несколько слов о генерале Гибо.

Как сейчас, вижу перед собой невысокого, плотно сложенного, темноволосого француза с легкой проседью на висках, в сине-сером военном костюме, кажется, с аксельбантами. В лице его действительно было что-то мрачное. Но иногда он улыбался, и тогда в нем обнаруживалось и что-то мягкое, живое. Однако больше он смотрел исподлобья. Глаза у него были острыми и уходящими в глубину орбит. Говорил он мало, коротко, отрывисто. Таким он мне запомнился на приемах во французском посольстве. Но по всему тому, что я знал от своих «товарищей» по КГБ, Гибо следовало считать человеком мужественным и решительным. Одно время даже было подозрение, что он — «резидент» французской секретной службы.

Ну вот, главные действующие лица как будто бы очерчены.

(Продолжение следует)

Ю. Кротков

АНТИСЕМИТИЗМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1. Евреи в России в древние времена

Следы еврейских поселений первых веков христианства были обнаружены на северном побережье Черного моря. Исповедуя еврейскую религию, жители этих поселений говорили на греческом языке. Уже в VIII веке у них произошел религиозный раскол, в результате которого выделилась секта караимов. Секта эта возникла еще в 767 году до Р. Х. в Вавилоне и оттуда распространилась на берега Крыма. Караимы отличались от так называемых «раввинских» евреев тем, что признавали только Библию и отвергали учение Талмуда и его устное истолкование. В России караимы считались **потомками** потерянных еврейских девяти колен, не участвовавших в убийстве Христа, и поэтому никогда не преследовались.

В пределах русского государства евреи появлялись постепенно в течение веков в силу исторических событий. Первое из этих событий было завоевание Хазарского царства Святославом в 1010 г. Между восьмым и десятым веками нашей эры на территории между Доном и Волгой и на берегах Черного, Каспийского и Азовского морей процветало большое Хазарское государство. Один из его «каганов», так назывались хазарские цари, Гулан, в поисках «истинной веры» перешел в еврейство вместе со своим дворянством. Народ остался язычниками. Таким образом завоевание Святослава принесло

К сожалению, мы печатаем статью С. Л. Кучерова уже посмертно. Он недавно скоропостижно скончался и погребен в Вашингтоне. Покойный С. Л. напечатал у нас статьи в кн. 67 «Правовой режим космического пространства и СССР» и в кн. 78 «Судебная реформа Александра II». В лице С. Л. мы потеряли ценного сотрудника. РЕД.

в Киевскую Русь первое поколение, исповедывавшее еврейскую религию, но не бывшее еврейским по происхождению.

С принятием христианства русская православная церковь проявляла враждебность к евреям, как «врагам Христовым». Эта враждебность особенно усилилась в 15 веке благодаря возникновению ереси «жидовствующих», проникшей из Литвы в Новгород и нашедшей там, а позднее и в Москве, многих последователей. «Жидовствующие» отвергали Троицу, утверждали, что Мессия еще не являлся, что Христос был простым человеком и что, таким образом, не христианство, а еврейство является истинной верой. Последователи этой секты были даже и в царской семье. Так Елена, невестка Ивана III, жена его умершего сына и мать Дмитрия, наследника престола, была жидовствующей. В причастности к этой секте подозревался даже митрополит Захария (1490-1494).

Ересь была окончательно осуждена в 1504 году, ее последователи сожжены на костре. Елена была пострижена в монахини и заключена в монастырь, а ее сын Дмитрий лишен наследования престола в пользу младшего сына Ивана III — Василия. Ересь сильно способствовала усилению враждебности к еврейству, как носителю еврейской религии, со стороны православной церкви.

Когда Иван IV взял Полоцк, он заставил всех тамошних евреев перейти в православие под угрозой смерти. На ходяцтво польского короля Августа разрешить еврейским купцам посетить Москву по торговым делам Иван ответил отказом и просил короля больше не возбуждать этот вопрос.

Польскому королевичу Владиславу, избранному на русский престол в 1610 году, бояре поставили условием не допускать евреев в Москву ни под предлогом торговых сношений, ни по какому-нибудь другому поводу. С присоединением Малороссии в 1654 г. Московское государство приобрело некоторое количество подданных евреев, живших там.

2. Евреи в императорский период

Петр Великий, несмотря на свою любовь к иностранцам, не изменил общего отрицательного отношения русского правительства к евреям. Все же он допускал исключения из общего правила. Так, он разрешил курляндскому еврею, банкиру

Липману Леви ездить в Москву по делам. Крещение отменяло все запреты, как при Петре, так и при всех последующих царях. Два крещеных еврея сделали при Петре блестящую карьеру: Петр Шафиров и Антон Девиер. Первый, сын польского крещеного еврея, осевшего в Москве, дослужился до звания сенатора, вице-канцлера и баронского титула. Шафиров часто ездил с Петром за границу. Однако он был заподозрен в каком-то заговоре против царя, лишен всех должностей и титула и приговорен к смертной казни. Когда он уже стоял на эшафоте, Петр его помиловал и сослал в Сибирь. Екатерина I вернула его из ссылки и возвратила ему титул и звания.

Девиер, португальский еврей, жил в молодости в Амстердаме, где был представлен Петру. Девиер так понравился царю, что был взят на службу, разумеется, после крещения, и назначен Санкт-Петербургским полицмейстером. Он сыграл значительную роль при постройке города. Был женат на сестре Меншикова. Но позже Девиер попал в опалу и был сослан в Сибирь, где все же выполнял важные административные поручения. Возвращен он был в Петербург Екатериной I после смерти Петра.

Указом этой императрицы от 1727 года все евреи изгонялись из пределов империи. Но очевидно этот указ не был приведен в исполнение, так как императрица Елизавета I вновь указала выселить всех евреев из пределов России в 1742 году. Она предписала, — «все евреи обоего пола, всякого сословия и всякой профессии должны быть немедленно высылаемы вместе со всем их имуществом из всей Нашей Империи, из всех городов, как Великороссии, так и Малороссии, деревень и местечек. Они впредь не будут допущены в пределы Нашей Империи, если они не примут православной христианской веры. Лица, принявшие крещение, будут дозволены жить в Нашей Империи».

По некоторым, возможно, преувеличенным данным, 35.000 евреев должны были покинуть страну. — Однако от этой меры пострадали не только евреи, но в значительной степени и интересы русской торговли с другими странами, находившейся отчасти в руках евреев. Посыпались протесты русского купечества, особенно из пограничных областей, жаловавшихся на вред, причиненный международной торговле высылкой евреев из России. Протесты были столь убедительны, что Сенат

был склонен допустить возвращение евреев в пограничные губернии. Тем не менее, Елизавета осталась непреклонной, заявив, что «от врагов Христовых я не желаю никакой прибыли или дохода».

Но настоящий «еврейский вопрос» возник уже не только на религиозной почве, а также и в государственном масштабе при императрице Екатерине II. Дело в том, что вследствие раздела Польши и присоединения к России западных губерний число евреев в империи сильно возросло. Когда в конце пятнадцатого века евреи были изгнаны из Испании и Португалии, Польское королевство приняло значительное число этих евреев. Евреи в Польше жили своими автономными общинами, блюдя свои древние религиозные законы и свой быт. Однако завоеванная Новороссия сильно нуждалась в населении. И вот Екатерина II решила открыть евреям доступ в новороссийские губернии на одинаковых правах с остальным русским населением. Евреи могли записываться во все три купеческие гильдии, голосовать на выборах в городские муниципалитеты, управлять автономно внутренней жизнью своих общин под руководством раввинов, совершавших обряды венчания и развода. Словом, евреи продолжали пользоваться теми же правами в Новороссии, что и в Польше, согласно указу 1772 года. Разумеется, они могли оставаться жить и в западных губерниях на своих прежних местах. Но в коренные русские губернии Екатерина евреев не пустила. Против этого протестовало русское купечество, возможно опасаясь экономической конкуренции евреев.

Таким образом, право жительства евреев осталось ограниченным западными губерниями и Новороссией. Екатерина была создательницей пресловутой черты еврейской оседлости. Только в ее границах евреи могли пользоваться правами, дарованными указом 1772 года.

Под влиянием либеральных идей начала своего царствования Александр I был не прочь расширить права евреев. Однако задуманные меры были сопряжены с руссифицированием. Появилось стремление правительства прекратить еврейскую самобытность и обособленность, заменить их специфическую одежду европейским платьем. Евреи — члены муниципалитетов, раввины и другие еврейские старшины должны были знать русский язык.

Для того, чтобы устранить трения между евреями и крестьянами в деревнях, евреям было предложено «сесть на землю», заняться сельским хозяйством не только в 11 губерниях черты оседлости, но также и в Курляндской и Астраханской губерниях и на Кавказе. Тем же, кто не хотел сесть на землю, было указано покинуть деревни и переселиться в местечки и города в течение двух лет, не позднее 1 января 1807 года. Лишь незначительная часть еврейского населения воспользовалась возможностью заняться сельским хозяйством, от которого оно отвыкло в изгнании. Переселение евреев в города и местечки и размещение их там оказалось делом столь сложным, что этот указ не был приведен в исполнение.

«Кровавая легенда», т.е. обвинение евреев в употреблении христианской крови в ритуальных целях, возникшая в средние века и появлявшаяся то здесь, то там в Европе, нашла себе дорогу и в Россию при Александре I, что побудило царя издать специальный указ в 1817 году, запрещавший властям возбуждать дела против евреев, основанные на этой легенде.

«Православие и народность» (два из трех принципов, на которых зиждилось правление Николая I), привели к значительному ухудшению положения евреев при нем. Действительно «православие» означало примат православной веры над всеми другими исповеданиями; «народность» требовала преобладания великороссов над другими народностями.

Но самым большим несчастьем, постигшим еврейский народ в царствование Николая I, было распространение на него рекрутского набора. До 1827 года евреи были освобождены от военной службы, замененной для них специальным налогом. Правда, и евреи могли заменять рекрута другим лицом, как и христиане, но и заменявший призванного должен был быть также евреем. Замена рекрута была обыкновенно сопряжена с денежной затратой, так что вся тяжесть закона падала на неимущее население. Освобождены от воинской повинности были купцы всех трех гильдий и раввины.

Воинскому набору на двадцатипятилетнюю службу подлежали юноши 18 лет. Но закон разрешал брать 10-12-летних мальчиков евреев, так называемых «кантонистов», для подготовки к военной службе в аракчеевских военных поселениях. Специальные рекрутские чиновники разыскивали этих детей там, где они скрывались от преследования, отрывали от семьи.

Для этих мальчиков военная служба длилась не 25 лет, а 31 год.

Разумеется, в этих школах старались всеми мерами обратить еврейских детей в православие. Немногие из них находили в себе мужество оказать сопротивление. Но были и случаи героического отказа отступить от веры отцов.

Начатые при Александре I попытки руссификации и ассимиляции евреев были продолжены и в царствование Николая I. Были открыты специальные средние учебные заведения с преподаванием на русском языке всех предметов по программе общих средних учебных заведений. Прошедшие через эти школы евреи получали все права русских подданных. Но и высшие учебные заведения были доступны евреям без всякой процентной нормы. Все же очень мало евреев воспользовались возможностью получить образование в этих школах и государственных университетах. Евреи сопротивлялись руссификации, сопряженной, по их мнению, с переменой религии. Так, в 1835 году было 11 евреев среди 1.906 студентов русских университетов. В средних школах училось 48 евреев из 80.017 учеников этих школ в 1840 году.

Все же, в середине прошлого века стала появляться тенденция среди еврейской молодежи избежать традиционного обучения в хейдерах и талмудторах и посещать русские учебные заведения. Но для этого нужно было согласие родителей, а старшее поколение относилось к этой тенденции весьма отрицательно. Немногие пошли на разрыв с семьей, как поступил мой отец, о чем будет сказано ниже, чтобы получить русское образование. Все же в 1857 году количество учеников еврейского вероисповедания в гимназиях достигло 3.293 человек, а в 1864 г. их было уже 5.711; число, однако, весьма скромное по сравнению с количеством всех еврейских детей школьного возраста.

«Узнав о смерти императора Николая I, — пишет В. О. Ключевский, — Россия вздохнула свободней. Это была одна из тех смертей, которая расширяет простор жизни».¹ Действительно, на смену ему пришел Царь-Освободитель. Александр II отменил военные поселения и «кантонистов» в 1857 г. Закон о всеобщей воинской повинности 1874 г. уравнивал евреев

¹ В. О. Ключевский, «Курс русской истории», М. 1958, т. 5; стр. 311.

в смысле отбывания воинской повинности со всем остальным населением. Хотя военная карьера осталась закрытой для евреев, к поступлению на гражданскую службу преграды были устранены. Судебная реформа 1864 г. открыла евреям двери в магистратуру и адвокатуру.² Черта еврейской оседлости не была отменена для всех евреев, но окончившие высшие учебные заведения и купцы первой гильдии получили право повсеместного жительства в империи. Нет сомнения, что, как писал Г. Б. Слиозберг, и все немногие оставшиеся ограничения были бы отменены в эпоху «диктатуры сердца» Лорис-Меликова.³ Но Александр II был убит. Как справедливо заметил американский историк С. Грахам, «убийство Александра II было самым чудовищным преступлением XIX-го века».

Члены «Народной воли» убили царя-освободителя, самого большого реформатора после Петра, и единственного человека на троне, могшего путем постепенных преобразований вывести Россию на путь конституционной монархии и этим может-быть предотвратить катастрофу 1917 года. Утром 1-го марта 1881 года, уезжая на парад, с которого ему было суждено вернуться смертельно раненным, он утвердил проект, выработанный Лорис-Меликовым, о привлечении народных представителей к законодательной деятельности. Убийство Александра II открыло дорогу к престолу консерватору, реакционные убеждения которого были укреплены и оправданы бессмысленным убийством его отца.

Во время двух последних царствований антисемитизм, сохраняя свой религиозный характер, приобрел также и другую черту: он стал орудием борьбы правительства с все усиливающимся освободительным движением. С этой целью антисемитизм поощрялся сверху. Устраивались еврейские погромы через посредство крайне-правых организаций каждый раз, когда нарастало революционное движение. Так, первый еврейский погром был в Елизаветграде 17 апреля 1881 г., т.е. меньше чем через два месяца после убийства Александра II. В период усиления освободительного движения, в 1903-904 годах, про-

² Об известных адвокатах-евреях см. С. Л. Кучеров «Евреи в русской адвокатуре», в Книге о русских евреях, Нью-Йорк, 1960, стр. 400-437.

³ Г. Б. Слиозберг, «Дела минувших дней», Париж, 1934, стр. 27.

исходили погромы в Кишиневе, Гомеле и других местах. А в день провозглашения манифеста 17 октября 1905 г. разразился трехдневный погром в Киеве.

Граф С. Ю. Витте в своих мемуарах пишет: «Я не решусь сказать, что Плеве (министр внутренних дел) непосредственно устраивал эти погромы, но он не был против этого, по его мнению, революционного противодействия».⁴ Во всяком случае, Плеве ничего не сделал, чтобы предотвратить или остановить погромы. Это видно из следующих разговоров Плеве с еврейскими деятелями и раввинами в Париже. Вот как Витте передает эти разговоры: «Заставьте ваших (евреев) прекратить революцию, я прекращу погромы и начну отменять стеснительные против евреев меры», заявил Плеве.

Доказательства устройства погромов департаментом полиции в Петербурге были представлены в докладе от 15 февраля 1906 г. статского советника Макарова министру внутренних дел П. Н. Дурново, сменившему Плеве, убитого бомбой Сазонова.⁵ В докладе было сказано, что в одной из отдаленных комнат департамента полиции печатались и распространялись в тысячах экземпляров прокламации, возбуждающие христианское население против евреев. Эти прокламации составлялись чиновником особых поручений Комиссаровым. В докладе было также приведено следующее заявление Комиссарова: «Какой угодно погром может быть устроен: хотите — на 10 человек, а если хотите, то и на 10.000».

Дурново, однако, ничего не предпринял по поводу этого доклада. Тогда А. А. Лопухин, в то время директор департамента полиции, доложил председателю совета министров С. Ю. Витте о докладе Макарова. Витте лично допросил Комиссарова, заявившего, что он действовал по приказу Рачковского, директора политического отдела департамента полиции. Витте уволил Рачковского со службы и распорядился уничтожить секретную типографию.

По поводу доклада Макарова правительству был предъявлен запрос в первой Государственной Думе. На заседании Думы 8 июня 1906 г. депутаты Родичев, Винавер и кн. Урусов

⁴ Речь идет о кровавом кишиневском погроме. С. Ю. Витте. «Воспоминания». М. 1960, т. 2, стр. 215.

⁵ Доклад был полностью напечатан в газете «Речь» от 5 мая 1906 г.

в своих речах представили несомненные доказательства участия департамента полиции и полиции на местах в устройстве еврейских погромов. Объяснения П. А. Столыпина, сменившего Дурново на посту министра внутренних дел, Дума нашла неудовлетворительными и вынесла следующую резолюцию 9 июня 1906 г.: «В погромах и массовых избиениях мирных граждан, имевших место и происходящих теперь в России, наблюдаются несомненные признаки общей организации и участия чиновников, оставшихся безнаказанными».⁶

Но вернемся ко времени Александра III, когда были изданы новые ограничительные законы по отношению к евреям. 13 мая 1882 г. были опубликованы «Временные правила о евреях». Они должны были оставаться в силе до издания постоянных правил, регулирующих еврейский вопрос. Эти «Временные правила» просуществовали 35 лет, до падения монархии. Они подтвердили черту оседлости и запрещение селиться вне городов и местечек и внесли еще ряд ограничений.

В 1887 году была введена процентная норма для поступления евреев в средние и высшие учебные заведения. Норма была в 10% в черте оседлости и 5% вне черты; она была впоследствии понижена до 7% и 3% в черте и вне ее. Хотя в Уставе о службе, изд. 1896 г. все еще значилось, что «евреи, имеющие ученые степени (дипломы 1-й степени были приравнены к ученым степеням)... допускаются на службу по всем ведомствам», фактически евреев больше не допускали на государственную гражданскую службу, включая магистратуру.⁷ В 1889 г. двери в адвокатуру, столь широко открытые во время судебной реформы 1864 г., закрылись перед ними. Согласно высочайше утвержденному докладу министра юстиции, зачисление евреев в присяжные поверенные нуждалось в согласии этого министра.

Представляя к утверждению доклад, министр заверил государя, что согласие не будет даваться ни им, ни его преемниками. Это обещание исполнялось министром юстиции, и ни один еврей не был зачислен в присяжные поверенные с 1889

⁶ Государственная Дума. Первый созыв 1906 г. Стенографический отчет, С.-Петербург. 1906, стр. 1129 и след.

⁷ Цитируется А. А. Гольденвейзером в его статье «Правовое положение евреев в России». Книга о русском еврействе. Нью-Йорк. 1960, стр. 130 и примеч. 71 и 72.

по 1904 г., когда, под влиянием революционной атмосферы, нашли возможным адвокатов, застрявших в звании помощников присяжных поверенных, причислить к сословию присяжных поверенных.⁸ Но как только началась «ликвидация революции», доступ был вновь закрыт. А в 1912 г. сенат распространил распоряжение 1889 г. и на помощников присяжных поверенных, так что прием евреев в адвокатуру был совершенно прекращен.

Во время первой мировой войны, в 1915 году, для отбывших стаж помощников присяжных поверенных евреев была установлена, как правило, процентная норма в 15 и 10 процентов для зачисления в присяжные поверенные, смотря по округу судебной палаты. Независимо от процентной нормы евреи, уже отбывшие стаж и имевшие свидетельства на ведение гражданских дел, были зачислены в присяжные поверенные. Прием же евреев в помощники был «временно» прекращен до установления повсеместно соответственной нормы в составе присяжных поверенных. Впоследствии они должны были зачисляться в помощники при соблюдении вышеупомянутой нормы.

В царствование императора Николая II правовое положение евреев непрерывно ухудшалось. В 1913 году «кровавая легенда» вновь ожила в процессе Бейлиса, организованного министром юстиции Щегловитовым.

Когда 20 марта 1917 г. Временное правительство уничтожило все ограничения для евреев, пришлось отменить 140 законов, распространявшихся почти на все области жизни.

Однако я уверен, что массе русского народа антисемитизм был чужд. Русская интеллигенция его всегда отвергала. Крестьянство вне черты еврейской оседлости с евреями не соприкасалось, их не знало и не могло питать к ним неприязни. Отношение же крестьянства в черте оседлости было чисто индивидуальным: если Грицько дружил с Янкелем, он ничего не имел и против всего еврейства. Но поссорившись с Янкелем, Грицько ругал всех жидов.

В общем же, в черте оседлости евреи прекрасно ужива-

⁸ Такие выдающиеся русские адвокаты, как М. М. Винавер и О. О. Грузенберг, оставались помощниками, первый 15, а второй 16 лет.

лись с христианским населением, пока последнее не возбуждалось искусственно против евреев. Разумеется, бесправие всей своей тяжестью ложилось на еврейскую бедноту. Евреи, получившие высшее образование, купцы и вообще состоятельные круги еврейского населения или были освобождены от него по закону, или всякими правдами и неправдами обходили закон.

II

В России острили, что разница между христианами-анти-семитами и евреями-антисемитами (такие тоже были) заключается в том, что христиане ненавидят еврейство и любят отдельных евреев, евреи же любят еврейство и ненавидят отдельных евреев. В этой остроте правильно, несомненно, то, что даже сильно юдофобски настроенные христиане хорошо онтосились к отдельным евреям и дружили с ними. Позволю себе иллюстрировать это утверждение известными мне примерами. Мой дед со стороны отца был раввином в местечке недалеко от Белой Церкви, Киевской губернии, в черте еврейской оседлости.⁹ Когда ему ампутировали ступню на одной ноге из-за начавшейся гангрены, крестьяне приносили ему подарки: хлеб, молоко, яйца, кур, кто что мог отделить «нашему раббу», как они его называли. Отношение к нему христианского населения было самое сердечное.

По рассказам дедушки, его предки по мужской линии были с незапамятных времен все раввинами. Два старших брата отца были тоже раввинами. Когда мой отец, в 17-летнем возрасте, бежал из дому, чтобы не продолжать учения на раввина, это произвело впечатление разорвавшейся бомбы не только в семье, но во всем местечке. Один из братьев отца писал дедушке, что отца следует отравить, так как он опозорил семью.

Под влиянием настроений среди части еврейской молодежи, о чем я писал выше, отец задумал учиться в русской гимназии и университете. В Белой Церкви он кончил гимназию экстерном и поступил в Киевский университет. Чтобы добыть средства к существованию, он поступил на службу к граждан-

⁹ Киевская губерния находилась в черте оседлости, за исключением города Киева.

скому инженеру Г. П. Позднякову, занимавшемуся строительными подрядами. Отец быстро изучил подрядное дело, бросил университет, стал, с помощью Позднякова, сам брать подряды и очень быстро разбогател. Первые деньги на дело ему одолжил Поздняков, и между ним и моим отцом была самая настоящая, теплая дружба, основанная не только на деловых отношениях, но и на глубокой взаимной симпатии. Помню, какими горячими слезами рыдал Поздняков на похоронах моего отца.

Другим другом моего отца был директор Киевской духовной семинарии Гневушев. Дружба завязалась на деловой почве. Отец много строил для духовного ведомства: Киевскую семинарию, епархиальное училище и т.д. Насколько хороши были его отношения с духовным ведомством и лицами, его возглавляющими, следует хотя бы из такого факта. Однажды у нас обедало, насколько помню, очень важное духовное лицо, киевский митрополит Флавиан. Вся улица была запружена народом, пришедшим посмотреть на митрополита «в гостях у жида». Меня, восьмилетнего мальчика, учили, как нужно держать ладони, чтобы митрополит мог меня благословить. Под благословение должны были подходить все участники обеда: и христиане и евреи.

Когда в 1905 году разразился погром в Киеве, через несколько часов за нами (за отцом, матерью, теткой и мною) приехала карета, и мы провели все три дня и три ночи погрома в ограде Софийского собора, в квартире Гневушева. Он был членом Союза русского народа, сотрудником «Двуглавого Орла». Через некоторое время Гневушев постригся в монахи и сделался игуменом одного из монастырей в Москве, под именем отца Макария.

Мой отец распространил свою строительную деятельность и на Москву: построил там убежище для престарелых воинов имени Великого князя Сергея Александровича,¹⁰ театр Солодовникова, больницы на Ходынском поле и т.д. И вот, когда отец в первое время приезжал в Москву по делам, он останавливался не в гостинице, а в монастыре у отца Макария.

¹⁰ Великая княгиня Елизавета Федоровна не только поручила еврею постройку убежища, о котором очень заботилась, но по окончании постройки выхлопотала отцу большую золотую медаль на Андреевской ленте.

Но и наша квартира и весь наш дом не пострадали от погрома. В одной квартире у нас жил военный судебный следователь, полковник, потом генерал-майор, Гречко. Он вызвал отряд казаков для охраны своей квартиры и таким образом спас от погрома всю нашу сторону улицы.

Когда большевики заняли Киев, в промежутке между Петлюрой и Деникиным, Гречко был арестован. Моя мать не могла, как буржуйка, лично хлопотать за Гречко. Но она организовала комитет из самых бедных квартирантов наших домов, ходатайствовавших за него, доказывая комиссарам, что он спас их от погрома в 1905 г. Ничто не помогло. Гречко был расстрелян.

Богатых евреев принимали в аристократических домах и клубах, и у них бывали самые высокопоставленные должностные лица в городе. Так например: мой тесть, М. И. Бродский, постоянно играл в карты в Дворянском клубе. А с командующим войсками Киевского военного округа, генералом М. И. Драгомировым, произошел следующий случай. Однажды он играл в винт в доме Л. И. Бродского. Остальные партнеры, кроме Л. И., были мой тесть и его свояк, Якия, турецкий еврей. Так как Якия не говорил по-русски, разговор за картами шел, по-французски. В ходе игры один из евреев объявил: «*Je dis passe*», второй еврей тоже сказал «*Je dis passe*», и третий еврей произнес «*Je dis passe*». Тогда Драгомиров сказал «Если жида пас, то и я пас». Разумеется, он не мог бы себе позволить эту остроумную, но, может быть, в другой обстановке неуместную игру слов, если бы не был в достаточно хороших отношениях с хозяином дома.

III

Я получил воспитание, обычное тогда в состоятельных семьях в России: меня воспитывали французские гувернантки, немецкий гувернер и английские преподавательницы.

С ограничительным законодательством в отношении евреев я познакомился впервые, когда поступил в гимназию: чтобы быть зачисленным, мне следовало выдержать вступительные экзамены на 5. С этим требованием я легко справился и был принят в первый класс Киевской первой, впоследствии Императорской Александровской гимназии. Должен сказать, что

за все мое восьмилетнее пребывание в гимназии я никогда не слышал слова «жид» ни по отношению к себе, ни к моим четырем единоверцам-одноклассникам. Мои христианские товарищи и все учителя относились ко мне очень хорошо. У меня было много приятелей среди христианских одноклассников, как например князь Р., который бывал у нас в доме, а я у них.

Погром 1905 года — мне было тогда 13 лет — произвел на меня потрясающее впечатление. До отъезда к Гневушеву я успел увидеть, как громили еврейские квартиры на другой стороне улицы. Несколько громил вытащили на балкон квартиры на 4-м этаже пианино и усердно старались сбросить его вниз. Это им в конце концов удалось, и пианино полетело на мостовую под дикое улюлюканье толпы и разбилось на куски. Ударившись о булыжники, струны издали какой-то жалобный звук, долго стоявший в моих ушах. Противоположная сторона улицы была как бы покрыта снегом: это был пух из еврейских распоротых перин и подушек. Он кружился в воздухе и медленно падал на мостовую. Тогда впервые в моем сознании возник роковой вопрос: «За что?». Этот вопрос встал передо мной еще с большей силой и чувством незаслуженной обиды позже, в Германии.

Преследования евреев, их общность судьбы объединили еврейский народ, несмотря на различие классов и состояний. «Все евреи товарищи» — говорится в одной еврейской молитве. Все они чувствовали себя товарищами по несчастью в России, невзирая на то, что некоторые из них гонений непосредственно не испытывали. Достаточно было сознавать бесправие и угнетение своих братьев по крови. На этом чувстве товарищества основана особенная еврейская благотворительность, не практикуемая так ни одним другим народом. Нуждающийся еврей просит у богатого как бы не милостыни, а исполнения его товарищеского долга: уделить неимущему брату посильную толику. В этом меня убедил такой эпизод. Как то, зайдя утром в столовую, мать застала там еврея в лапсердаке, с длинной черной бородой, запустившего руку в ящик с серебром. Мать сначала испугалась, но, видя перед собой еврея, успокоилась и только воскликнула: «Что вы тут делаете?» На это он преспокойно ответил: «Что вы меня спрашиваете, разве вы не видите?». «Так я сейчас вызову полицию», сказала мать. «Нет, вы не можете этого сделать,

так как у меня нет права на жительство и меня вышлют по этапу». Мать опешила. Но незванный гость был прав: она не могла выдать его полиции для позорного водворения по месту жительства, по этапу. «Так убирайтесь вон!» закричала мать. «Дайте же мне сперва пожертвование», сказал он. И мать исполнила его просьбу. Ведь он решился на кражу только по нужде, и мать чувствовала свою обязанность ему помочь, несмотря на его поступок.

Для того, чтобы попасть в университетскую процентную норму, я должен был кончить гимназию с медалью. Все четыре мои одноклассника-евреи и я получили медали, и я был зачислен на юридический факультет Киевского университета св. Владимира. В этом же 1911 году произошел случай, о котором я хочу рассказать.

Каждое лето в детстве и в юности я уезжал с матерью за границу на лето, преимущественно на немецкие или австрийские курорты. На этот раз мы были в Эмсе. Мать пила воды, а я проводил большую часть времени на теннисной площадке. Как-то директор гостиницы сказал мне, что приехал какой-то русский, видел, как я играю и хотел бы со мной сразиться. Знакомство состоялось. «Ротмистр кавалергардского полка, П. П. Р.» — представился новый, знакомый, назвав одну из известных фамилий в России. П. П. приехал в Эмс поджидать здесь свою подругу. Мы стали играть по утрам в теннис и проводить вечера в немецких кабачках.

И вот во время одной из наших бесед он вдруг меня спросил: «А вы жидов любите?» Опешив сперва от неожиданного вопроса, я все-таки спокойно ответил: «Приходится, я ведь сам еврей». Услышав это, П. П. был явно сконфужен и стал говорить то, что обыкновенно говорят в таких случаях: «Вы совсем не похожи на еврея, барон Гинцбург в Петербурге мой лучший друг...» и так далее. Я отлично понимал, что он совсем не юдофоб, что о евреях он никакого представления не имеет, что он употребил слово «жид» только потому, что оно в ходу в полковых и светских кругах, где он вращается, и постарался замять всю эту историю. И мы продолжали наше приятное времяпрепровождение.

Вскоре приехала в Эмс и подруга П. П. г-жа С. Вот она была настоящей антисемиткой. Она говорила, что евреи способнее русских, что если бы ей понадобился врач или адвокат,

она обратилась бы только к еврею, но что *евреи погубят Россию*, и поэтому она понимает погромщиков, разбивающих еврейские лавки. Однако ее убеждения нисколько не помешали нашим приятельским отношениям: мы продолжали играть в теннис и развлекаться втроем. Расстались в конце сезона большими приятелями.

Затем пришла война, революция. После того, как моя часть «самодемобилизовалась», я через некоторое время уехал в Германию и в 1920 году работал в газете «Голос России» в Берлине. В одно утро дверь редакционной комнаты открылась, и на пороге я увидел П. П. В нем трудно было узнать прежнего блестящего кавалергарда. Я ему искренне обрадовался. «П. П., какими судьбами?» воскликнул я, подбегая к нему. Он посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом, не подал руки и сквозь зубы процедил: «Что, *погубили Россию?*», повернулся и вышел из комнаты. По его понятию, исполнилось предсказание его приятельницы: евреи погубят Россию. Это было время, когда для многих события в России вменялись в формулу: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия — Троцкого».

С. Л. Кучеров

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР?

События пятидесятих годов, связанные с посмертным разоблачением культа Сталина и возвращением из лагерей тысяч настрадавшихся и ни в чем неповинных узников, многим дали пищу для новых надежд в отношении судеб России. И все же подлинным громом из ясного неба явился роман крупнейшего поэта России — «Доктор Живаго». Без излишнего нажима, на изумительнейшем языке поэтической прозы Борис Пастернак раскрыл перед миром ту психологическую драму, которая происходила в душе подлинного русского интеллигента в первое десятилетие после трагических, сумрачных дней петроградского октября. Внимательный читатель мог увидеть, что трагедия происходила не столько в социальном мире, сколько в душевном. Юрий Андреевич произносил вещие слова, обращаясь к своим психологически перерождавшимся друзьям: «Единственно живое, что в вас было, — это то, что вы знали меня». Многим было невдомек, что, обращаясь к своим друзьям, Борис Пастернак обращался к тем, кто так или иначе приспособился к новому режиму, порожденному поистине богоборческими, демоническими и античеловеческими силами. Принося добровольную жертву на алтарь обновления России, затравленный поэт вскоре после несостоявшегося присуждения ему Нобелевской премии был похоронен на том самом

Автор этой статьи Юрий Яковлевич Глазов, бывший научный сотрудник Академии Наук СССР и преподаватель индологии в Московском университете, эмигрировал из Совсоюза 20 апреля 1972 года. В СССР он участвовал в движении протеста советской интеллигенции против незаконных репрессий и близко знал многих участников т.н. демократического движения. Мы печатаем его статью без всяких изменений и сокращений, хотя с некоторыми утверждениями и высказываниями автора редакция не согласна. *Р. Г.*

кладбище, которое виделось ему в одном из лучших его предсмертных стихотворений.

«Кровь мучеников — семя Христово». Ни одно крупное событие бурных шестидесятых годов в России нельзя должным образом понять без связи с нравственным подвигом поэта. Монументальная фигура Александра Солженицына с его рассказом о неистребимости человеческого духа в первых кругах ада, величие Анны Андреевны Ахматовой, после десятилетий травли и полуголодного существования получившей премию Этна-Таормина в Италии и *honoris causa* в Оксфорде, скромная фигура Иосифа Бродского, отказавшегося признать свою вину в том, что он хотел быть человеком и поэтом, Андрей Синявский, предложивший миру плоды свободного ума, творящего в пещере Полифема, готового в любую минуту зажарить на костре своего пленника, страстные протесты интеллигенции против возрождения сталинизма после падения Хрущева, великолепнейшие песни Александра Галича, видящие гипсовые обрубки от разрушенных памятников Сталина в шутовской ночной процессии в предвидении скорой своей полезности, подробный рассказ Надежды Мандельштам, как шаг за шагом в тридцатых годах убивали ее гениального мужа, беспрецедентная смелость Андрея Амальрика, прямо под дулом пистолета, приставленного к его виску, спокойно говорящего бандиту, что он бандит, не могущий отнять у него права чувствовать себя свободным человеком, десятки книг, полившиеся, словно из рога изобилия, на западного читателя из глубины тоталитарной России в последние годы, — все это можно понять только в свете того, что значил для России роман «Доктор Живаго».

В шестидесятых годах мир стал свидетелем небывалого явления, — впервые за сорок с лишним лет против властей начали высказываться не отдельные индивиды, проникшие с помощью того или иного трюка на Запад, а целые группы людей. Начали доходить сначала сбивчивые сообщения корреспондентов о каких-то демонстрациях на площадях. Писатели, в течение многих лет переправлявшие украдкой от властей рукописи за границу и печатавшиеся там под псевдонимом, перед судом «всей негодующей общественности» отказались признать себя виновными. Проникли сообщения о новых демонстрациях, причем иностранные корреспонденты смогли

сфотографировать протестующих, и их имена стали достоянием гласности. Один за другим пошли судебные процессы над лицами, в той или иной мере открыто выступавшими против репрессий властей по отношению к интеллигенции. Владимир Буковский на своем первом открытом суде заявил, что после своего освобождения он будет вновь выступать против попрания прав человеческой личности в стране. На Запад вывели книги Жореса Медведева и Анатолия Марченко. Перед процессом Александра Гинзбурга и Юрия Галанкова в столице страны начал нарастать едва ли не шквал протестов. Каждый день иностранные радиостанции передавали в эфир, не заглушаемый работой московских глушилок, очередные письма московских протестантов. Мир людей, интересующихся ходом событий в тоталитарной стране, с небывалым вниманием наблюдал за схваткой возмущенных интеллигентов с властями. Единоборство напоминало ристалища, где герои выступали против полчищ свирепых хищников. После бесконечных расстрелов без суда и следствия в первые годы советской власти, после массовых репрессий в сороковых и пятидесятых годах, когда протест отдельного человека против властей казался безумием, после всех этих долгих лет набившего оскомину славословия, после ставшей правилом молчаливой покорности людей, идущих под нож властей, после тех многолетних ожиданий, когда ожидавшим надоело ждать, мир стал свидетелем мощной и многолетней волны протеста со стороны советских людей против собственных властей.

Потом пошли новые репрессии против протестующих, и все же до сих пор Запад видит, что каждый очередной шаг властей, направленный на усмирение инакомыслящих, неизбежно вызывает реакцию возмущения со стороны хотя бы нескольких десятков протестантов. Движение протеста даже получило название демократического движения. И все же протесты становятся все более глухими. Исходят они, как правило, от одних и тех же лиц. Репрессии между тем усиливаются, ряд активных участников демократического движения оказался на Западе, и представляется небезынтересным окинуть беглым взглядом историю демократического возбуждения в советской России в недавний период и понять, какова же природа этого движения. Невозможно объяснить ее в трех-четырех словах. Для правильного понимания движения нужно

очень кратко охарактеризовать то время, которое предшествовало рассматриваемому периоду.

Как правильно писал Николай Бердяев, Россия — страна, где живет восточный народ и западная интеллигенция. Разрыв между народом и интеллигенцией оказался для России роковым и наряду с другими факторами в конечном счете привел к катастрофе семнадцатого года. Коварное пламя потенциальных возмущений было сокрыто в глубине неграмотного народа, чья покорность и религиозность приводили в восторг стольких русофилов. Крепостное право отменили на Руси слишком поздно. Монархи в ряде случаев оказывались неадекватными высокому назначению сеятелей просвещения и охранителей порядка, покоящегося на всеобщем благоденствии. К тому же действия наиболее просвещенных монархов, например, Александра Освободителя, не получали надлежащей поддержки народа.

После трехсотлетнего кровопускания, учиненного на Руси татарами, Россия с каждым столетием все более и более приближалась к Западу. Правда, подтягивалась к Западу, в основном, верхушечная часть общества. Православная церковь при всех своих похвальных сторонах была одной из причин противопоставления России Западу. Россия, заметим попутно, всегда отличалась одним замечательным качеством: она видела в Западе жупел, но заимствовала у Запада отнюдь не лучшее. Относительное уважение ко всем членам общества и возможность перехода из одного клана общества в другой Россия не заимствовала. Уважительное отношение к личности, чисто рациональный подход к бытовым вещам, взаимная пронизанность начал божественных и человеческих не являлись в России объектом подражания. Зато просветительские идеи, явно противопоставляемые сфере религиозной, ложились на русскую почву без всякого критического подхода. Зато марксизм, к которому мало кто относился в свое время на Западе серьезно, был воспринят в России как религия откровения, и в октябре семнадцатого года у власти оказались люди, провозгласившие себя адептами марксизма.

Цвет России был уничтожен или изгнан. Правительство с самого начала объявило о своей богоборческой природе, и это обстоятельство исключительно важно для понимания структуры нового строя. Божественное объявлялось крамолой, но

и человеческое подавлялось в зародыше. Словно бы одурманные перспективой построения нового и счастливого общества без Бога, энергичные партийные функционеры принялись за дело, засучив рукава. Виднейшие философы, желавшие оставаться в России, должны были вскоре эмигрировать под угрозой жестокой расправы. Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Федор Степун и другие виднейшие представители русского интеллектуального мира оказались изгнанными из пределов России. Именно в это время начало оформляться понятие русской диаспоры, и можно вести дискуссии по поводу того, в какой степени та страна, которая территориально продолжала совпадать с дореволюционной Россией, является наследницей прежней культуры. Рушилась вся та основа, на которой стояла традиционная Россия: последний монарх погиб мученической смертью; крестьянская община была разрушена; православная церковь, загнанная в катакомбы новой властью, не могла выработать линии поведения, независимой от государства; пришли в запустение после многих актов святотатства великолепные русские монастыри.

В России делала первые шаги культура совершенно иного рода: псевдокультура. Псевдокультура создавалась литераторами и художниками по заказу новой власти. Реальная жизнь, проходившая перед глазами писателей, отныне имела косвенное отношение к изображаемому. Псевдокультура ставила перед собой цель служить интересам партии, а сама линия партии круто меняла свое направление едва ли не каждые десять лет. Та мировая культура, в русле которой в последние десятилетия перед революцией шло лучшее, что было на Руси, стала все более отодвигаться в прошлое или на Запад. Творчество Федора Достоевского и Льва Толстого замалчивалось или рассматривалось как реакционное. Подобно тому, как ребенок в первые годы самостоятельного развития упорно делит весь мир окружающих его людей на хороших и плохих, так новая псевдокультура, ко всему богатейшему наследию человечества подходила лишь с той точки зрения, понимало ли оно мессианскую роль рабочего класса. С первых лет советской власти образовалась особая группа писателей, которых называли «попутчиками». Со временем это название исчезло, но само понятие и люди, охватываемые этим понятием, не исчезали никогда. Попутчики, отказывавшиеся от стремления

противодействовать новой власти, способствовали созданию новой культуры, которую можно было бы назвать буферной. Буферная культура оказывалась на стыке мировой культуры и псевдокультуры: она не выполняла откровенно партийного заказа, создавалась в атмосфере видимой свободы творчества, но очень многие мысли не высказывались и многие чувства были просто заперты на замок. Евгений Замятин, стремившийся к совершенной свободе творчества и в открытом письме Сталину жаловавшийся на то, что его приговорили к высшей мере наказания — молчанию, вынужден был в начале тридцатых годов эмигрировать. Попытка оставаться на позициях буферной культуры для таких писателей, как Михаил Зощенко и Константин Федин, окончилась для каждого трагически. Первый был обречен на смерть от физического голода. Второй, умиртвив в себе все живое, погибает от духовной смерти.

История советской культуры — беспрецедентный пример приспособления культуры к партийным лозунгам. Но лозунги менялись. Первое десятилетие прошло под знаменем мировой революции. Второе десятилетие, отодвинув проблему мировой революции, внушало уверенность в возможность построения социализма в одной стране, находящейся в капиталистическом окружении, но всего более имело целью превратить всех граждан страны в приверженцев нового культа «человекобога» — Иосифа Сталина. После тридцать седьмого года, когда гильотинирование цвета партии было завершено и фактически произошла реставрация монархии в ее самом изуродованном облике, от жителей страны, где закончили «построение основ социализма», требовали слепой веры в Сталина. Так продолжалось до смерти диктатора, сумевшего возродить элементы традиционного мессианства России и русского народа. После смерти Сталина вплоть до падения Хрущева в связи с развенчанием культа личности и необходимости нового идола произошла гальванизация трупа партии: все «ошибки» прошлого, выражавшиеся в истреблении миллионов ни в чем неповинных людей, приписывались одному Сталину, тогда как партия оказывалась непричастной ко всем трагедиям прошлого. Божественными атрибутами наделялась теперь не фигура Сталина, а партия. После падения Хрущева партия в своих лозунгах отбросила «волютаризм», то есть своеволие очередного ее лидера, и провозгласила «научный» подход к действитель-

ности, который просуществовал до вторжения русских войск в Чехословакию. Август 1968 года оказался для социализма самоубийственным. Отныне партия может вести себя едва ли не как угодно, и коммунисты должны каждый раз хотя бы для проформы выражать готовность быть верными исполнителями ее призывов. Сами коммунисты могут находить утешение в том, что, действуя одним образом, они думают совсем иначе. Им кажется, что главное — то, что у них в душе. Но для лидеров партии, стремящейся найти равнодействующую в исключительно сложной и меняющейся ситуации, главным оказываются лишь социальные действия их подчиненных, а не те загадочные процессы, что могут происходить в их смятенных душах.

Многие в современном мире радуются, что коммунизм идеологически опустошен и потому не представляет собой серьезной опасности. Парадокс состоит в том, что идеологический вакуум в зоне коммунизма не делает его менее агрессивным. Ибо коммунизм с самого своего возникновения во всех своих концепциях и претензиях обнаружил глубочайшую паразитарность. По отношению ко всем философским или религиозным системам, из которых коммунизм совершал плагиат, он обнаружил элементарный эдипов комплекс, иными словами, убивал каждый раз существо, из недр которого выходил, будь это иудаизм, христианство или гегельянство. Коммунизм как вера — это своеобразная атрофия души, нарушение ее связей с божественным миром. Коммунизм начинает с необходимости постигать реальный мир и кончает неспособностью понять даже азы того сложного мира, где рациональное переплетено с сердечным, а мир физический неотделим от трансфизического.

До смерти Сталина жизнь в советской стране напоминала пребывание в герметически закупоренной камере. На протяжении нескольких последующих лет в камеру начали впускать строго отмеренные дозы свежего воздуха. Заклеили преступления Сталина, из лагерей освободили подавляющее число политических заключенных, начали возобновляться первые контакты с Западом. За слово перестали хватать так, как это было десять лет назад, хотя страх перед живым словом, перед свободной информацией настолько глубоко вошел в душу советских людей, что люди продолжали бояться всего живого по

привычке. В очаровательном японском мифе об Изанаги и Изанами, первых двух богах, говорится, как Изанами, погибнув, оказалась в долине вечного мрака. Ее супруг, отправившись за ней в подземный мир, услышал от нее, что она не может последовать за ним в долину светлого моря, ибо уже отведала пищу другого мира. Когда же Изанаги, вопреки ее предостережениям, пытался увидеть ее в подземном мире, то вызвал гнев, который мог стоить ему жизни. Что-то подобное случилось и после смерти Сталина. Люди до такой степени привыкли к унижительной жизни, что ее начали рассматривать как норму. Советская власть начала отождествляться со сталинским режимом и выступление против Сталина очень многими людьми в Советской стране воспринималось как антисоветский акт. Сталин сумел создать в народе образ властителя, который больше всего устраивал простой и необразованный народ. И не в этом ли странном факте следует видеть объяснение того, почему Хрущев с его антисталинскими декларациями и невообразимыми маневрами перед критикующими китайцами и недовольством аппарата оказался удивительно непопулярен среди всех слоев народа, за исключением интеллигенции?

Интеллигенция относилась к Никите Хрущеву двойственно. Она видела его страшную ограниченность и вопиющее невежество. Она понимала, что Хрущев, свергая памятники Сталину, воздвигал памятники себе. Она создавала, что все стремления нового лидера догнать и перегнать Америку оказались вздором. Она с неприязнью наблюдала, как Хрущев взял на себя ответственность за гонения на Бориса Пастернака, художников-абстракционистов, на Иосифа Бродского. И все же в глубине души нарождавшаяся интеллигенция была благодарна Хрущеву за развенчание культа Сталина. Она понимала, что именно благодаря Хрущеву оказались на свободе — пусть и весьма относительной — миллионы страдальцев. Интеллигенция чувствовала, что сталинисты затаились и ждут момента, чтобы вновь склеить и возвести на пьедестал гипсовые обрубки деспота, который даже после своей смерти продолжал наводить страх на очень многих. Евгений Евтушенко, к которому настоящая интеллигенция в России не питает особых симпатий за его поверхностность, изначальную эстрадность и глубинный конформизм, в одном из своих лучших стихотворений «Наследники Сталина» предупреждал Никиту

Хрущева, чтобы он удвоил караул у мавзолея, где лежал вместе с Лениным его рябой преемник. Хрущев оказался неспособен провести десталинизацию до логического конца. Уинстон Черчилль метко заметил, что Хрущев хотел перепрыгнуть через пропасть в два приема, но это еще никому не удавалось.

Повороты партийного штурвала, происходившие каждые несколько лет, вызывали в серьезных людях смех. Мыслящий человек — не пирог, который можно начинить чем угодно. Его мироощущение должно быть органическим. При Сталине за проблеск светлой мысли могли отрубить голову. О каком нормальном общении между людьми, неременном условии интеллектуального развития, могла идти речь, если на каждом шагу кишмя кишели провокаторы и доносчики?

После низвержения Сталина, преподнесенного интеллигенции как дар за ее страдания, а не как уступка ее требованиям, появились первые возможности для более или менее безбоязненного общения. Начался медленный и исключительно мучительный процесс оздоровления общества, далекого от понимания того, до какой степени вошла в его плоть и кровь болезнь, которой трудно поставить диагноз. По простоте сердца многие полагали, что словесных деклараций о нелюбви к Сталину и деспотии в узком кругу родных или друзей достаточно для самозачисления в список «порядочных людей», и на первых порах такого негативного подхода к действительности было сверхдостаточно для напуганных на всю жизнь людей.

Зачумленное общество нуждалось в жертвах для оздоровления. Мало-помалу оно должно было освобождаться от страха, который намеренно порождался в душах людей исключительно разветвленным КГБ и мешал делать первые шаги в обретении более или менее нормального мироощущения. Не случайно, все то живое и умное, что создавалось после Бориса Пастернака, принесшего первую мистико-социальную жертву, исходило от людей, сознательно преодолевавших в себе страх. Шестидесятые годы в Советском Союзе прошли под колоссальным влиянием Александра Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» оказался громом из ясного неба или, вернее говоря, первой очистительной грозой после тяжелой зимы и потепления. Произведения Солженицына имели громадный психотерапевтический эффект, ибо они создавали необходимую

предпосылку для реализации в больном обществе социодрам и психодрам. Первая половина шестидесятых годов прошла при нарастающем интересе к таким произведениям, как книга Жореса Медведева о гибели крупнейшего биолога Николая Вавилова, рассказы Варлама Шаламова о колымских лагерях, повесть Евгении Гинзбург о страданиях несчастных узниц сталинского режима и несравнимые ни с чем по силе гнева и мысли воспоминания Надежды Мандельштам. Вопреки всем пессимистическим прогнозам четыре упомянутых автора не попали в лагеря, и неприятности, которые они испытали, не могут идти ни в какое сравнение с тем жребием, который выпал на долю прежних мучеников. Выстоял на суде Иосиф Бродский и не сломался в ссылке. В Москве молодежь обнаруживала все большее волнение, и собрания любителей поэзии у памятника Маяковского представлялось довольно нелегким делом разогнать. Появлялись и переправлялись за границу первые рукописные журналы с такими нейтральными названиями, как «Синтаксис».

Не столь уж многие люди в обществе знали обо всем этом, ибо общество оставалось закрытым, и информация шла по очень узким каналам, преимущественно через проверенные дружеские связи. К середине шестидесятых годов в столичном обществе создалась особая ситуация. Власти после свержения Хрущева решили припугнуть интеллигенцию, наиболее решительные представители которой не на шутку осмелели. Лучшие же представители интеллигенции понимали, что власти решили повернуть штурвал в сторону Сталина, которого Хрущев несколько раз всенародно облил помоями. Трудно было понять, насколько серьезно вознамерились восстанавливать сталинские порядки новые власти, но каждый разумный человек понимал, что если властям удобно жить с именем Сталина, то им может показаться удобным засадить снова сотни тысяч думающих людей в лагеря. Происходило разнонаправленное движение на фоне непрекращающихся контактов с западными странами и бесперебойной работой западных радиостанций. Чем больше давили на интеллигенцию власти, тем более непокорными становились лучшие представители интеллигенции. Не последнюю роль играли и разногласия наверху. Борьба за власть среди наследников Хрущева не давала возможности выработать единую линию репрессий.

Во всяком случае решили попробовать открыто припугнуть интеллигенцию. В сентябре 1965 года органы КГБ арестовали Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Обоих писателей обвиняли в «страшном» преступлении — они писали то, что думали, и переправляли свои рукописи за границу, где произведения выходили в свет анонимно. Мало кто обратил внимание на то, что в непосредственной связи с общественным возбуждением, вызванным судом над Синявским, находились протесты двух священников православной церкви, о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина против раболопной позиции церкви по отношению к властям и КГБ. Смысл выступления двух этих мужественных пастырей следует видеть в том, что они умосердечно чувствовали обращение народившейся интеллигенции к вере и хотели честно ее предупредить, что в церкви дела обстоят отнюдь не благополучно. Честных священников волновало до глубины души положение православной церкви после страшных гонений на нее, продолжавшихся много десятилетий. Своим протестом православные священники, чистейшие люди в движении протеста, словно бы благословили своим подвигом все последующее движение за право быть человеком в тоталитарной стране.

Предстоящий суд над Синявским взволновал всю общественность сверх всякого ожидания. Каждый здравомыслящий интеллигент понимал, что наступило время испытаний его духа. Было понятно, что стоящие у власти люди вознамерились отнять то, что в значительной степени стало уже достоянием мыслящей части общества, — возможность более или менее свободного, пусть и весьма относительного самовыражения. Вся проблема теперь упиралась в готовность постоять открыто за свои убеждения, в способность не на словах, а на деле показать свою приверженность человечности. Выступить с отстаиванием этой своей точки зрения означало прямо выступить против линии властей, и это грозило всем, чем угодно, начиная с убийства из-за угла, многолетней тюрьмой и кончая изгнанием с работы, что было особенно тягостно для людей научного и творческого труда. На карту ставилось человеческое достоинство каждого мыслящего интеллигента, его готовность пострадать вместе с теми своими собратьями по духу и интеллекту, кто осмелился более или менее открыто

выступить против закрепощения человеческого чувства и мысли.

Андрей Синявский и Юлий Даниэль не случайно несли крышку гроба на похоронах Бориса Пастернака. Мученичество Пастернака породило в них заряд громадной силы, который передался всем честным интеллигентам. Колоссальное значение в развитии демократического движения имела демонстрация 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади. Транспаранты, поднятые математиком Александром Вольпиным и художником Юрием Титовым, требовали всего лишь соблюдения советской конституции и гласного суда над Синявским и Даниэлем. На властей демонстрация оказала ошеломляющее впечатление, — они к ней явно не были готовы. К тому же сталинская конституция, составленная проформы ради и, как часто говорили сами кагебисты, для заграницы, гарантировала каждому советскому гражданину право демонстрировать. Кто знает, может, и впрямь Николай Бухарин, которому партийная молва приписывает авторство Конституции 1936 года, в уголке ума полагал, что смелые и умные люди в один прекрасный день воспользуются лазейками в «Основном Законе»? Не были готовы власти, провозгласившие необходимость правопорядка, и к тому, чтобы наказывать читателей и распространителей нелегального самиздата.

Накануне процесса Синявского, происходившего в начале 1966 года, исключительно противоречивая ситуация обострилась. С одной стороны, именно стремление властей восстановить «доброе имя» Сталина и начинающиеся репрессии вызвали столь серьезный протест. С другой — протестанты, одаренные умом и находчивостью, весьма ловко находили «дыры» в законодательстве и понимали, что на самом верху существуют слишком серьезные разногласия, не позволяющие властям вести единую генеральную линию. Движение протеста началось с увещающих и миролюбивых ноток челобитчиков. Элементы игры в социалистическую правозаконность, в которую никто из серьезных людей не верил, сочетались с серьезной надеждой, что власти одумаются и откажутся от своей самоубийственной линии.

Партийные же лидеры исходили из молчаливого требования номенклатуры усмирить заговоривших «болтунов», не учитывавших ни сложной международной обстановки, ни глу-

бочайшей косности и развращенности всего общества. Наряду с этим — и это было главное — они стремились во что бы то ни стало удержать в своих руках начальственные посты, ибо стремление советского бюрократа удержаться на своей должности и пробраться еще выше составляет суть всей его деятельности и заставляет его идти на любую измену вчерашним убеждениям и друзьям.

Советское общество отличается большой стабильностью. Никита Хрущев оказался жертвой своего прожектерства. После того, как он явно обнаружил желание перетряхнуть состав номенклатуры, аппарат безжалостно выбросил его вон. Стабильность нового партийного руководства в прошедшие восемь лет после очередного *coup d'état* превосходит все ожидания. В стране, где общество отличается клановостью и уровень жизни средних тружеников сравнительно с Западом невероятно низок, боязнь утратить привилегированное положение присуща всем без исключения представителям высокооплачиваемой элиты. В эту элиту входит не только партийная бюрократия, но также военная, административная, технократическая, научная и художественная страты на их высоком уровне. Общество это имеет свою собственную культуру, серьезно отличающуюся по своей грамматике от культуры Запада. Менять в этом обществе, в сущности, ничего нельзя, ибо оно напоминает математическую коалицию, где удаление одного члена приводит к серьезнейшей ее реструктуризации.

Элита общества слишком хорошо знала уроки «культурных революций», потрясавших Советскую Россию во все периоды вплоть до падения Никиты Хрущева. Образ человека, сидящего верхом на тигре и не желающего с него соскочить из боязни угодить хищнику в пасть, вовсе не был праздным примером для правящей элиты. Деятельность сапера, которому позволено на минном поле ошибиться только раз в жизни, всегда служила поучительным примером для интеллигентного человека, чья судьба слишком серьезно могла зависеть от боссов, использующих его способности и таланты. Все общество было насквозь пронизано двуязычием поведения, но сами члены общества не сознавали этого, точно так же как обыкновенный человек не отдает себе отчет, что он употребляет в разговоре такие-то существительные женского рода и такие-то мужского. Большинство образованных людей, пострадавших

при Сталине, искренне ненавидели сталинские порядки, в узком кругу не стеснялись на резкие выражения и не сознавали, в какой мере сами они стали уже винтиками стабилизированной общественной системы. Люди, десятилетиями стремившиеся шаг за шагом упрочить свое общественное положение, страшились перемен. Многие верили в трансформацию общества в сторону большей демократизации. В демократизацию верили как в стихийный процесс. И потому процесс Синявского так напугал многих. У очень многих людей, знавших прошлое, начал срабатывать вошедший в плоть и кровь рефлекс: «Началось!» Под этим словом предполагалось начало новой волны уничтожения думающих и сомневающихся людей.

Почти с самого начала в движении протеста против суда над Синявским и жестокого приговора осужденным писателям обозначились две тенденции. С одной стороны, подписывали петиции протеста лучшие ученые и писатели. Выступление против надвигающейся волны сталинизма означало порядочность, мужество, способность учитывать десятки различных факторов внутрисполитической и внешнеполитической жизни. Причины, побуждавшие людей выступать с петициями, были различные, но в большинстве случаев благородные. К началу шестидесят восьмого года петиции протеста против нарушения прав личности, которое, в частности, выразилось в процессе над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым, достигли высшей точки по своему накалу. Число подписавших различные письма протеста, попавшие в зарубежную печать, насчитывало около тысячи человек. Наряду с писателями и учеными, выступавшими, по сути дела, за *status quo*, выступали и носители второй тенденции. То были люди, действительно недовольные существующими порядками и протестовавшие вообще против глумления над человеческой личностью.

Носители первой тенденции были большей частью степенные люди никак не обиженные советской властью. Им хотелось закрепить за собой права на более или менее достойное, хотя и сдержанное самовыражение. Нельзя забывать, что за пятнадцать лет после смерти Сталина общество в своих внешних формах очень сильно изменилось, равно как и содержание наиболее выдающихся легальных произведений литературы, художественной и научной. Эти люди имели действительные основания надеяться, что власти могут прислушаться к их

мнению. Ведь были сведения, что письмо академиков против возрождающейся сталинизации обсуждалось на Политбюро ЦК КПСС и как будто бы было принято решение не действовать слишком напрямик. Вместе с тем едва ли не каждый подписывавший письмо протеста понимал, особенно в период, предшествовавший разгрому подписантской кампании, что действия подписантов носили явно антигосударственный характер, ибо, по установившемуся неписаному закону, в советской стране все действия граждан, не согласованные с партийными инстанциями, могли рассматриваться как действия антигосударственные. Тем более, что письма каким-то таинственным способом попадали за границу. Писатель Левитин-Краснов, чьи произведения уже много лет печатались за границей, на суде над Гинзбургом на вопрос судьи, каким образом попадают его произведения за границу, не без юмора и в то же время серьезно отвечал: «Понятия не имею!». Очевидно, что не ангелы переносили челобитные из Москвы в Лондон. Подписанты, как называли теперь тех, кто подписывал письма протеста, всем своим видом показывали, что они не знают, как попадали документы за границу. Власти принимали эту игру: она им была нужна, чтобы внушить подписантам, что они попались на удочку опасных преступников, которых предстояло еще выловить. Эта игра нужна была КГБ для того, чтобы посеять рознь между подписантами, внушив одним, что они невинные и глупенькие жертвы козней, плетущихся другими по указке империалистов и членов НТС. Теперь уже многие подписанты принимали продолжение этой игры, и принцип КГБ «разделяй и властвуй!» начинал давать свои первые плоды.

Торжество этого старинного маккиавелистского принципа проходило на фоне подавления эпистолярной кампании весной 1968 года и все большего выявления носителей второй тенденции в движении протеста. Большей частью то были молодые люди, которые благодаря своему публицистическому таланту или общественному запалу вступили в конфликт с властями с первых лет юности. Их рано повыгоняли из университетов, по много месяцев держали вместе с действительно сумасшедшими в психушках и с уголовными преступниками в трудовых лагерях. В середине шестидесятых годов в обществе бытовала психология, к которой примешивалось чувство лагерной героики. Интеллигенция в общей массе сочувствовала

невинным жертвам лагерей. Вернувшись из лагерей и психушек, молодые люди скоро, однако, убеждались, что о какой-либо научной или литературной карьере им нечего было думать. Выражаясь словами Генри Фильдинга, при всеобщем сочувствии они ежедневно рисковали умереть с голоду. Вопрос заработка в советской стране стоит всегда очень остро. Принцип «кто не работает, тот не ест» на всех тех людей, кто осмелился хоть раз выразить свое несогласие с властями, распространяется с особым усердием. На «приличную работу» их при централизованной системе трудоустройства не допускали. Позиция рабочего, разнорабочего и чернорабочего в глазах снобистски настроенных интеллигентов казалась унижительной. Естественно, такие молодые люди часто меняли места работы, тем более что при своей врожденной честности они не могли войти и сжиться с той чудовищной атмосферой воровства и коррупции, которая процветает на большинстве мелких предприятий.

Познакомившись с дном общества, молодые люди утратили все иллюзии и в то же время прошли суровую закалку. Советское общество лучше всего проглядывается со стороны и снизу, ибо человек, более или менее устроенный при советском режиме, неизменно должен быть приверженцем того или иного культа. Это может быть культ обожествленной партии или «богохранимой страны — России», культ семьи или женщины, культ науки или искусства. В крайнем случае, человек чтит «ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». У молодых людей, посидевших за здорово живешь в психушках и лагерях, не было никаких иллюзий, кроме разве одной. Они оставались патриотами советской России, хотя глупость режима представлялась им очевидной. Никчемность научных поисков с претензией на порядочность и ничтожность писательских упражнений, заполнявших страницы солидных журналов, не нужно было доказывать, настолько все это очевидно было им, выдавшим в психиатрических лечебницах умных людей и говорившим в лагерях с образованнейшими философами и поэтами.

Молодые люди всегда выступали против несправедливости властей, но теперь, когда лучшие представители официальной интеллигенции открыто выступили с протестом против суда над их же товарищами, они почувствовали, что момент, нако-

нец, наступил. Они также влились в эпистолярное движение, но к тому же они продолжали участвовать в демонстрациях на той же Пушкинской площади, где пятиминутное пребывание с непокрытой головой у подножия одухотворенного опекушинского изваяния могло стоить нескольких лет тюрьмы. Это были люди особой психологии. Дух дружбы и товарищества затмевал все другое. Потребность выразить себя хотя бы в скромном, но вызывающем протесте отодвигала на второй план корыстные и семейные заботы. Молодые люди становились исповедниками новой формы подвижничества. Угрозы властей на них не действовали. Политика пряника, сменявшая порой политику кнута, также не приводила ни к чему. Отбросив шоры, молодые люди оказались поблизости от эпицентра социального возбуждения в тоталитарном обществе, — голыми руками прикасались они к «земной оси», воспетой мученически погибшим Осипом Мандельштамом. Правда, коэффициент полезного действия от того или иного социального выступления часто определялся не только тем, что человек говорил, но также и тем, с какой высоты своего общественного положения он выступал. Для интеллигентов, привыкших к своему узкому клану, валентность выступлений людей, которым нечего было терять, казалось небольшой. Интеллигенция, в той или иной мере служившая властям, отказывала этим молодым людям в интеллигентности, которую она понимала узкокланово, хотя сами эти молодые люди на фоне уродливой и бездуховной псевдоинтеллигенции могут выглядеть большими интеллигентами, ибо они служат подлинной правде и выступают против лжи. И все-таки беда некоторых этих молодых людей в том, что они не имели возможности пройти хоть какую-то школу, литературную или академическую. Власти их поставили в невероятно тяжелые условия, когда человек должен добывать себе кусок хлеба правдами и неправдами, тем более что именно в работе — *в работе вообще* — отказывают власти наиболее активным протестантам. В условиях советского режима у образованного человека фактор работы необыкновенно значим. Попытка молодых людей, давно уже выбитых из жизни, обратиться к служилой интеллигенции за поддержкой часто последней казалась несостоятельной, поскольку одни и те же ассигнации обеспечивались различной золотой ценностью. Стремление молодых людей найти поддержку в интел-

лигенции и побудить ее на социальное выступление могло казаться интеллигентничеством по аналогии с тем народничеством прошлого века, когда другие молодые люди шли в народ с тем, чтобы подбить его на выступление против царя. В конечном счете, народничество и «интеллигентничество» потерпели поражение по одной и той же причине. Те, к кому обращались за поддержкой, по всему образу жизни были преданы существующему режиму.

Две эти тенденции, которые можно обозначить как тенденции либерального движения и подлинно демократического, обнаружились не сразу, ибо все движение протеста прошло сложный путь со слиянием различных потоков, с их смешением и последующим рассеянием. Оно зарождалось где-то в середине пятидесятих годов с устройства выставок свободных художников. Оно наиболее ярко проявилось впервые в траурной процессии, шедшей за гробом Бориса Пастернака. Оно выступило в защиту Иосифа Бродского и Андрея Синявского. Оно получило свое наиболее яркое выражение в последнем слове Владимира Буковского на его суде в январе 1967 года. Оно выявилось в поведении Павла Литвинова, поведшего себя при защите Александра Гинзбурга совершенно беспрецедентным образом: в своем поведении он игнорировал КГБ, привыкший ко всеобщему страху. Именно Павел Литвинов своей личностью, своим обаянием и умом породил ту волну возмущения, которая достигла апогея в начале 1968 года. Движение шло по нарастающей линии при количественном его расширении вплоть до самого его разгрома за несколько месяцев до вторжения советских войск в Чехословакию. Демонстрация Павла Литвинова и Ларисы Богораз на Красной площади 25 августа 1968 года против вторжения в Прагу была высшей точкой в движении и в то же время означала крутой перелом в нем.

До августовской трагедии имелись серьезные основания полагать, что кремлевские правители изберут в конечном счете умеренный путь. Правда, уже разгром эпистолярной кампании в марте-апреле того же года показывал, что власти решили действовать суровым и достаточно безжалостным образом. И все-таки следует учитывать, что эпистолярников власти наказывали сравнительно со сталинскими временами легко. Их выбрасывали с работы, а не сажали. И хотя преступление в Чехословакии, приведшее к гибели «пражской весны», рано или

поздно еще будет вспомнано советскому народу и его правителям, все-таки опять же не следует забывать, что сравнительно с венгерскими событиями 1956 года подавление чешского возмущения было проведено более «деликатно». Помимо того, вторжение в Прагу и подавление подписантской кампании были связаны причинными отношениями. Подавление эпистолярников напоминало гашение летящих искр на соломенных крышах в деревне, после того, как пожар охватил одну из хат. Вместе с тем и сам пожар нужно было загасить, чтобы огонь не перекинулся на избы, где удалось ликвидировать очаги пожара.

До августовской трагедии надежды движения на социализм с человеческим лицом опирались на какие-то основания. Разгром эпистолярников и вторжение в Прагу показали, что Кремль готов пойти на любой шаг, чтобы сохранить существующее положение. Отныне обращаться к властям с прежними призывами было столь же бесполезно, как увещевать истязателя, обрушившегося в минуту высшего гнева на свою невинную жертву. Обращаться с петициями за прежними подписями, с неизменным содержанием и к тем же самым руководителям было бесполезно. Нужно было апеллировать к мировому общественному мнению, которое весьма сдержанно себя вело после Чехословакии. Обращение в ООН, которое было подписано пятидесятью пятью героями духа весной 1969 года, серьезного эффекта не возымело. Мировое общественное мнение не реагировало на него. Носители тенденции, позволявшей отождествлять ее с либеральной, все более отходили на задний план. На первый план выступали носители чисто демократической тенденции, и к ним к этому времени уже примкнули лица, которых за какое-то время до этого разжаловали в простые смертные. Движение после ареста Петра Григоренко количественно не расширялось и даже суживалось, зато явно происходили качественные сдвиги. Имело место наглядное опровержение гегелевского закона о перерастании количества в качество. Вместе с тем знаменитая диалектика свидетельствовала о неполадках и в развитии социального феномена. Была создана инициативная группа защиты прав человека в СССР, куда вошли такие люди, как Петр Якир и Анатолий Якобсон. Спустя год с лишним был организован под руководством Валерия Чалидзе и Андрея Сахарова «Ко-

митет прав человека». В стране под самым носом у Кремля создавались «организации». Партия коммунистов сталкивалась с новым феноменом — ей противостояли организованные «мы», открыто осуждавшие беззакония властей. Власти арестовывали отдельных членов Инициативной группы и увольняли с работы членов Комитета, но сами «организации» продолжают существовать по сей день. Несмотря на все процессы, несколько десятков людей в Москве продолжали активно протестовать против беззаконий властей. Кроме того, с каждым годом ширилось число авторов, чьи произведения печатались за границей: Егения Гинзбург, Варлам Шаламов, Владимир Войнович, Александр Солженицын, Надежда Мандельштам, Жорес Медведев, Рой Медведев, Владимир Максимов, Александр Галич, Анатолий Левитин-Краснов, Андрей Амальрик. Видимо, общий список авторов, произведения которых печатаются за границей, перевалил в настоящее время за сотню. Иными словами, создается целая новая литература.

Разумеется, встает вопрос, почему же Кремль не сразу удавил подписантов? Почему не сразу прихлопнули этих авторов еще прежде, чем они послали за границу свои произведения? Ведь Сталин уничтожал своих противников еще прежде, чем мысль о написании книги приходила им в голову. Как это правители страны позволили у себя под носом существовать «организациям»? Правы ли те, кто говорят, что у дракона выпали зубы и советская власть одряхлела?

Ответ на этот вопрос связан с комплексом факторов, точно так же, как и с психологией партийных лидеров. Следует очень четко ответить сразу: стоящая у власти партийная бюрократия безусловно настроена враждебно ко всем людям, выступающим на попрание демократического движения. Будь ее воля и не усматривай она никаких опасностей в немедленном подавлении всех вспышек возмущения и протеста, она бы подавила все немедленно, а всех зачинщиков смут отправила бы на костер или в Сибирь. И вместе с тем те же партийные лидеры могут в частных разговорах выражать симпатии к отдельным деятелям демократического движения. Суть дела в том, что воспитанники Сталина никогда не поддаются своим чувствам, — они всегда и всюду исходят из правильности политической установки.

Сколько существует советская власть, столько существует

вокруг советского государства напряженнейшее положение. «Враг не дремлет», — на этой истине воспитываются коммунисты. В довершение к бесчисленным врагам в Европе и Америке прибавился враг в лице Китая. Чтобы выстоять против Китая, необходимо нейтрализовать Европу и Америку или вообще привлечь их на свою сторону. Сегодня сосуществование, а завтра красный флаг будет развеиваться над Парижем и Римом, точно так же, как сегодня он развеивается над Прагой и Будапештом. Запад, который пребывает в состоянии летаргии, не нужно озлоблять против Москвы излишними репрессиями. Если сажать в год по три-четыре видных смутьяна в стране, Запад этому не будет удивляться: пропорция нормальная соотносительно с посадками в западных же странах. Если же пересадить сотню академиков и писателей, то это заставит негодовать и совершенно безразличного к политике обывателя. Помимо того, этих протестантов голыми руками не возьмешь, — они знают все законы лучше любого судьи и прокурора, тем более что последние никогда им всерьез не учились. Протестующие демократы не только ученый народ, но и обладающий духовной правотой. Ну, что ты докажешь тому же Владимиру Буковскому или Александру Гинзбургу, если они не хотят жить по-мирски, а ищут правду-матку? Если к тому же забросить сеть на несколько десятков смутьянов сразу, то даже советское общество может возмутиться, как в случае с Жоресом Медведевым, которого все-таки пришлось выпустить из психиатрической лечебницы в Калуге. Может, возмущение будет и небольшое, а все-таки ни к чему лишний шум поднимать. Система же такая, что никогда не знаешь, к чему может привести одна лишняя посадка. КГБ каждый год предлагает посадить несколько сот бузотеров для наведения порядка в стране, а вот один из крупных ученых-математиков сформулировал закон самопожирания гадов: начни сажать в тюрьмы инакомыслящих, а угодишь в конце концов под нож сам. Нет, создавшуюся устойчивость в стране нарушать нельзя. Поскольку высшая бюрократия состоит из созвездий отдельных мафий, борющихся между собой, нельзя проследить заранее, с кем может оказаться связан тот или иной выдающийся протестант, тем более что сами эти протестанты — дети вчерашних советских лидеров. Взять, к примеру, того же Петра Якира или Павла Литвинова. Что сделаешь с академиком Андреем

Сахаровым, если за него стоят ученые всего мира и все его друзья по Академии? Что можно сделать с лауреатом Нобелевской премии Александром Солженицыным, — попробуй тронь, стыда не оберешься! Эти диссиденты, действительно, очень ловко используют разногласия в партийном руководстве и все слабости самой же системы.

И вместе с тем, рассуждают в партийном руководстве, нет худа без добра. Всегда лучше иметь дело с человеком, который открыто говорит, что думает, нежели с лицемером и вероломным противником. У этих, по крайней мере, что на уме, то и на языке. К тому же почти все диссиденты исходят из необходимости правопорядка и в какой-то мере льют воду на мельницу все той же социалистической системы в отличие, например, от иеговистов, не признающих вообще советской власти. С какой бы позиции эти демократы ни выступали — будь то неокommунистическая, правовая, христианско-социалистическая или просто либеральная, — они не зовут к вооруженному восстанию против режима, и в настоящее время от них не исходит инфекция возмущения. Все люди в стране настолько опутаны профессиональными, семейными или партийными обязанностями, что цепной реакции выступления диссидентов теперь не дают. А ведь даже интересно, что может сказать такой независимый академик, как Андрей Сахаров, — трижды Герой Социалистического труда. На эти выступления можно смотреть как на эксперимент ограниченного влияния, зато на Западе можно пустить пыль в глаза, что в Советском Союзе нет тоталитаризма, а существует относительная свобода для инакомыслящих.

И все-таки подавление инакомыслящих, которые, по сути дела, представляют собой единственно мыслящих людей, происходит непрерывно. За всеми идет постоянная слежка, подслушиваются разговоры, перлюстрируется переписка, ущемляют по работе или вообще гонят с нее, сажают в сумасшедшие дома, отправляют как тунеядцев в ссылку, дают невероятные сроки тюремного заключения, фактически выпроваживают из страны. Среди писателей и поэтов, представляющих в основном либеральную линию, не оказалось ни одного, кто не был бы подвергнут тем или иным гонениям. Борис Пастернак умер отверженным. Иосиф Бродский пробыл много месяцев в ссылке и теперь изгнан из страны. Андрей Синявский, Юлий Да-

ниэль, Александр Солженицын, Жорес Медведев, Владимир Максимов, — все они в той или иной мере ощутили на себе прикосновение холодных щупальцев бездушной партийной системы. А в группе «демократов» и не сосчитать всех жертв: Юрий Галансков, Александр Гинзбург, Владимир Буковский, Илья Габай, Петр Григоренко, Надежда Емелькина, Виктор Красин, и теперь к этому списку прибавился Петр Якир. Каждый человек, выступающий с более или менее открытой позицией, знает, что его ожидают репрессии. Таким образом, власти не изменили своего отношения к инакомыслящим, но модифицировали слегка методы.

Один из лучших способов наказать человека — лишить его работы. Это особенно действенно, если речь идет об ученом или писателе. Выбросив его из научного института или творческой организации, власти обрекают его на прозябание и голодную смерть. Этот метод тем более действен, что на Западе не понимают, что значит изгнать человека при централизованном руководстве, когда перед ним оказываются закрыты все двери до единой. Ибо западный образованный человек привык к тому, что если ученый уходит в отставку в Калифорнийском университете, то ему найдется место в Чикагском, Колумбийском или же он просто может уехать на некоторое время в другую страну. В Кремле постоянно паразитируют на слабостях Запада, на неспособности понять тонкие ходы его подчас осторожной политики. Но и при таком методе подавления инакомыслящих в Кремле могут чувствовать удовлетворение. С каждым месяцем демократическое движение затухает. Арест Петра Якира не вызвал глубокого возмущения общественности в стране. Правда, невероятно растет национальное движение, — особенно на Украине и в Литве. Невозможно удержать в узде евреев, желающих покинуть Союз. Немыслимо заткнуть все щели, сквозь которые уходят на Запад рукописи, печатающиеся в западных издательствах и бьющие по той же партии разящим бумерангом.

Перед своим арестом Петр Якир сказал: «Мы знаем, нас всех упрячут. Но наше место займут другие». Демократическое и либеральное движение прошедших лет принесло многие плоды. Появились люди, ведущие себя с чувством человеческого достоинства. Возникли различные течения в движении. Людей перестали хватать, как зайцев и как в тридцатых годах.

Каждый случай ареста становится достоянием гласности. Несломленные люди России в той или иной мере примкнули к этому движению, ибо участникам его присущи лучшие качества ума и сердца. Узы товарищества, готовность положить жизнь за други своя в современном эгоистическом мире многим придают бодрости. Лучшие люди на Западе откликнулись на события в России. Проницательные умы увидели особую связь между происходящим в России и западным миром. В самой же России, в том мире, где многие десятилетия было уже невозможно дышать, люди могли набрать в свои легкие живительного кислорода. Но жить по-прежнему трудно. В каких-то отношениях стало еще труднее, когда видишь, что вокруг царит не фанатичная вера в нового человекобога, а просто обыденный импотентный цинизм. И все-таки на душе теплеет от сознания, что хотя бы две лепты внесены в развитие подлинного человеческого общежития на том пятачке земли, где черти неистовствовали столько лет. И что власть, питаемая связями с демоническим миром, обнаружила свои слабости, хотя и не уменьшила коварства. И что пытливый человеческий дух, идущий на осмысленную жертву, сильнее тупой силы Левиафана.

Юрий Глазов

ПИСАТЕЛЬ И ЦЕНЗУРА В СССР

Многоярусная цензурная машина, действующая в СССР, создавалась не сразу. Именно поэтому первые годы после октябрьского переворота (годы военного коммунизма, не говоря уже о годах нэпа) были в смысле подавления мысли и слова куда более легкими по сравнению с позднейшими временами.

Думая о современной советской цензуре мне вспоминается факт из ее все-таки недавнего и в то же время далекого прошлого. Это было в начале нэпа, в 1921 году. Цензура тогда была уже введена, но все еще было в порядке становления и делом цензуры ведали «отделы печати» при местных Советах. И вот тогда представитель отдела печати Московского Совета, получив для цензуры какое-то литературное произведение, остановился на выражении «советский жиденский чай». В сочетании этих двух прилагательных «жиденский» и «советский» цензор усмотрел некое порицание власти и предложил автору выбросить либо первое, либо второе. Рассказывают, что цензор мотивировал свой приговор так:

— Пусть будет «жиденский», — говорил он, — или пусть будет «советский», но нельзя создавать в читателе уверенность, что «советский» чай должен непременно быть «жиденским». Это — попытка дискредитации советского хозяйства.

Этот факт вызвал тогда разговоры, толки, возмущения и наконец некоторые литераторы отправились к тогдашнему председателю Московского Совета Л. Б. Каменеву, любившему принимать позу либерального защитника литературы.

Говорят, что пришедшие напомнили Каменеву о временах императора Николая Павловича и о классическом случае тех времен, когда цензор из поваренной книги будто бы выкинул «вольный дух», на который хозяйкам рекомендовалось ставить пироги, чтобы они лучше доходили. Пришедшие к Каменеву

Первый вариант этой статьи был опубликован в «Современных Записках», кн. 66, Париж. 1938. Р. Г.

литераторы утверждали, что в истории российской цензуры «жиденский советский чай» имеет полное право занять место рядом с знаменитым николаевским «вольным духом». Говорят, что Каменев не защищал своего подчиненного, был даже смущен и только сказал, что ответственность за «головотяпство» маленького советского работника нельзя возлагать на советскую власть.

С тех пор прошло много лет. Коммунисты владеют государственным аппаратом как никакая другая власть. Но какими райскими должны казаться советским писателям те времена, когда дело цензуры творилось кустарно и внимание цензоров сосредоточивалось главным образом на «советском жиденском чае», да еще в детских хрестоматиях вместо «птичка Божия не знает ни заботы ни труда» коммунистические цензоры предлагали изменить «птичку Божию» на «птичку милую», а переиздав запрещенные в царское время книги старого революционера Степняка-Кравчинского советские цензоры везде вычеркивали в них восклицания «Господи!» и «Боже мой!»

Но кустарные времена — в прошлом. За многие десятилетия коммунистическая партия создала грандиозную машину для подавления слова и мысли, какая и не снилась никогда ни советским писателям, ни, может быть, даже самим коммунистам.

Слово «цензура» в советском обиходе отсутствует. Строя «новую» жизнь в СССР, власть вообще не любит пользоваться старыми терминами, а будящими неприятные ассоциации в особенности. Но в данном случае отказ от «старорежимного» термина «цензура» вполне логичен, ибо он и в отдаленной степени не передает того содержания, какое в СССР вкладывается в понятие «организации литературы».

Сложная система этой «организации литературы» — явление совсем особого порядка. Такой системы нет нигде в мире.

І. ГЛАВЛИТ

Официальный надзор за всем печатным словом в СССР выполняется Главлитом, то-есть Главным Управлением по делам литературы, центр которого находится в Москве, а сеть этого громаднейшего учреждения раскинута по всему Союзу и чиновники его сидят во всех областях, во всех городах и даже во всех захолустных местечках СССР.

Главлит — первое, но не самое важное звено в общей системе надзора за литературой, хотя и это учреждение обладает такой компетенцией, которая и не снилась, конечно, до революционному Главному Цензурному Управлению.

Известно, что история цензуры в царской России шла по линии постепенного сужения круга изданий, подлежащих *предварительной* цензуре. Медленно, но все же верно цензура превращалась из органа *предварительного* просмотра всего предполагаемого к печатанию материала в карающий орган надзора за уже вышедшими изданиями.

Так, при императоре Николае I, когда цензурные строгости достигали своего апогея, от предварительной цензуры все-же освобождались издания некоторых ученых учреждений: Академии Наук, Университетов и др. Бывали случаи, что такие издания уничтожались цензурой (как это было с известными записками Флетчера «О государстве русском», изданными московским университетом и затем сожженными цензурой), но представлять их на предварительный просмотр ученые учреждения обязаны не были. Пометка «печатано по распоряжению ученого секретаря Академии Наук» была равносильна пометке цензора.

В 1865 г. от предварительной цензуры были освобождены книги, превышающие двадцать печатных листов. В 1906 г. предварительная цензура вообще была упразднена. В феврале же 1917 г. революция уничтожила *всякую цензуру*, но, к сожалению,... ненадолго, ибо октябрьский переворот цензуру восстановил, а с годами довел ее до небывалых размеров.

Сейчас в СССР *предварительная* цензура требуется для *всех без исключения* печатных изданий, какого бы характера и объема они ни были (хоть в сто печатных листов!) и кем бы они ни издавались (хотя бы Академией Наук!). Но не только Академия Наук, даже сама Коммунистическая Академия, даже Институт Ленина при ЦК партии и Партиздат — все равно — обязаны представлять в Главлит на *предварительную* цензуру все свои издания, будь то книга, брошюра, научный журнал, политическая газета или даже будь то простое объявление или циркулярное письмо. Ни одна типография в СССР под страхом самой тяжкой кары (во времена Сталина вплоть до «высшей меры наказания») не выпустит ни одной напечатан-

ной строчки без разрешающей пометки чиновника-цензора из Главлита.

Основателем и долголетним руководителем Главлита был старый большевик П. И. Лебедев-Полянский, еще до революции писавший по вопросам «пролетарской культуры», а после октябрьского переворота ставший одним из столпов «пролет-культурного движения», глупость которого, кстати сказать, прекрасно понимали и Ленин и Троцкий, но эта «глупость» была им тактически нужна для подавления подлинного искусства. Во главе Главлита Лебедев-Полянский стоял десять лет (с 1921 по 1931) и только в 1931 году он оказался непригоден Сталину, который заменил его Волиным.

Б. М. Волин (настоящие имя и фамилия — Иосиф Ефимович Фрадкин) тоже большевик дореволюционного времени, бывший подпольщик, эмигрант. Этот господин был пригоден ко всяким условиям и отличался крайней беззастенчивостью в делании большой карьеры. Во время гражданской войны он действовал в тыловых чека, а в годы нэпа пошел по литературной линии, сменив наган на стило. В частности, именно он был организатором и теоретиком журнала «На посту», выполнявшего в эпоху нэпа функции добровольной литературной чека. Здесь Волин играл на «левизну», но при всей этой «левизне» удержался на своем посту даже тогда, когда мода на нее прошла и когда его ближайшие сотрудники Авербах, Киришон, Чумандрин и др. оказались «псами международного фашизма» и были кто расстрелян, а кто посажен в тюрьму. Волин же «повернул руль» Главлита, сделав таким образом свое учреждение совершенно послушным Сталину, а большего от него и не требовалось.

Формально Главлит является учреждением, компетенция которого распространена на РСФСР, но фактически он руководит цензурой во всем Союзе. Известная автономия на Украине или в Закавказье, конечно, существует. Там есть собственные учреждения — Укроголовліт, Закглавлит и пр. Но фактически в отношении цензуры директивы московского Главлита всегда были так же обязательны в Харькове и Тифлисе, как и московские директивы по линии ОГПУ-НКВД-КГБ. Назначения руководящих чиновников в Главлитах советских республик производятся только по соглашению с Главлитом московским.

Став наследником Главного Цензурного Управления, Глав-

лит однако совершенно перестроил всю организацию и работу этого учреждения. В Главное Цензурное Управление в дореволюционные времена, когда существовала еще предварительная цензура, редактора и издатели были обязаны представлять рукописи на просмотр и получали соответствующий ответ цензора. Особенностью же современной организации главлитовской сети является, так сказать, «производственный» принцип: — коммунисты-чиновники Главлита уже сидят во всех редакционных коллективах, во всех издательских коллегиях. «У нас ведь не цензура выколачивает книгу, а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку», пишет Надежда Мандельштам в ее только что вышедшей книге («Вторая книга», 1972 г.).

Про Госиздат нечего говорить, к нему приписан ряд уполномоченных Главлита, но «своих» цензоров имеют и все остальные издательства, начиная с Партиздата до издательства «Советский Писатель». Тут также, как в редакциях всех газет и всех журналов сидят свои цензоры и все эти цензоры, в частности, оплачиваются предприятиями, в которых они ведут свою работу. В советских издательских сметах наряду с редактором, секретарем, бухгалтером и машинистками фигурирует всегда и цензор. Без кого другого, а без цензора советское издательство не существует.

Как велика сеть чиновников Главлита можно себе представить хотя бы по тому, что нет такого местечка в СССР, где бы была типография, чтобы там не было и чиновника Главлита.

Власть чиновника Главлита велика и безапелляционна везде за редким исключением столичных крупных партийных органов, как например «Правда». Здесь, в «Правде» эта роль только роль «добавочного корректора», ибо помимо редакторов, назначенных Оргбюро, в «Правде» при Сталине, например, было еще специальное «око Сталина», им был в свое время бывший его личный секретарь Мехлис, который фактически и цензуровал газету; потом его заменил Никитин.

Во всех же других изданиях, а особенно в провинциальных, чиновник Главлита — царь и Бог! Правда, официально ответственен редактор-коммунист, назначенный центром, но если в газете обнаруживается какой-нибудь «уклон» или «загиб», то вместе с редактором отвечает за это и представитель

Главлита, ибо он обязан следить за правильностью выполнения директив центра.

В книгоиздательствах каждая намеченная к печати рукопись представляется цензору Главлита в трех переписанных на пишущей машинке экземплярах. Он может наложить на рукопись «вето», может потребовать изменений, сокращений, добавлений, а может и разрешить к печати. В случае разрешения один экземпляр рукописи с пометками и резолюцией цензора поступает в издательство и только по нему может производиться набор. Второй экземпляр рукописи с копией всех пометок и поправок остается у чиновника Главлита, он сверяет по нему сделанный набор и только после сверки ставит разрешительную пометку, получив какую-то типографию уже может книгу верстать и выпустить в свет. Третий же экземпляр рукописи отсылается в Литконтроль ОГПУ-НКВД-КГБ.

Вот в общих чертах первое «прокрустово ложе» российской литературы и журналистики — Главлит. Как я уже сказал, это советское учреждение выросло из Главного Цензурного Управления царского времени, но получило несравнимую с ним, расширенную компетенцию, несравнимо больший штат чиновников и работает с несравнимо меньшим либерализмом.

2. ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ

Вторая линия коммунистической цензуры — Отдел Пропаганды при ЦК партии. В былые времена это учреждение называлось Культпроп, то-есть, культурно-пропагандистский отдел при Центральном Комитете коммунистической партии.

Одним из давних и ярких актов деятельности Культпропа было еще в 1924 году проведенное изъятие из всех библиотек СССР «сочинений и биографий» Платона, Декарта, Канта, Маха, Спенсера, Шопенгауера, Ницше, Рескина и других философов идеалистического направления. Из сочинений русских философов Культпроп изъяс из всех библиотек сочинения Вл. Соловьева, Льва Толстого, Лопатина, Лосского, Григория Сковороды, кн. Сергея Трубецкого и многих других. Интересно, что этим готтентотским «изъятием» занималась небезызвестная Надежда Крупская, по указанию своего мужа, — В. И. Ленина.

Культпроп, а теперь Отдел Пропаганды при ЦК партии,

руководил и руководит всей культурной жизнью в СССР. Вернее, всем бескультурьем и мракобесием в СССР под флагом «передовой науки марксизма-ленинизма». Но у этого учреждения есть существенная разница с Главлитом. Если Главлит имеет дело с произведениями уже написанными и ставит своей задачей только недопустить появления в свет вещей, видам диктатуры коммунистической партии не соответствующих, то Отдел Пропаганды при ЦК ставит себе цель вполне позитивную: поставить всю литературу на служение делу диктатуры коммунистической партии.

Первое, что для этой цели делается, это подбирается надёжный состав редакторов всех газет, журналов, книгоиздательств. На территории всего СССР лица, редактирующие журналы, газеты, политические брошюры, переводные романы, технические справочники или ведомственные издания, не могут занять своего поста без утверждения их Отделом Пропаганды при ЦК партии.

Формально власть Отдела Пропаганды распространяется только на членов партии, но не член партии занять место редактора и не может. Если иногда для специальных изданий в редакционные коллегии и входят «спецы», то рядом с ними тут же назначаются их соредактора — коммунисты, как политические контролеры. Так, например, делается в издательствах художественной литературы: берут писателей-беллетристов с известными именами и рядом с ними сажают коммунистов с хорошей партийной биографией.

Таким образом все редакторские функции во всех без исключения газетах, журналах и книгоиздательствах на территории всего СССР находятся в руках коммунистов, подчиненных Отделу Пропаганды и обязанных выполнять его директивы.

В дореволюционные времена, как правило, редактор и писатель вместе боролись с цензором, теперь же картина изменилась: редактор-коммунист и цензор-коммунист вместе борются с писателем, они сотрудники-чиновники в общем деле использования творчества в интересах диктатуры.

Если Главлит располагает армией чиновников-цензоров, то Отдел Пропаганды располагает параллельно-действующей армией чиновников-редакторов. Но на этих в достаточной мере пассивных позициях Отдел Пропаганды не останавливается. Уже давно это учреждение с большой энергией перешло в

наступление на писателя, стремясь превратить и его в «литературного чиновника» диктатуры, пусть если не за совесть, то за страх.

В 1934 году этот план Культпропа и Литконтроля ОГПУ был окончательно осуществлен. В мае того года с широкой рекламой был созван Всесоюзный Съезд Писателей, увенчавшийся созданием, так называемого «Союза Советских Писателей», основное положение устава которого гласит: — «Писатели Союза Советских Социалистических Республик, стоящие на позициях советской власти, желающие активно участвовать своим творчеством в классовой борьбе пролетариата и в социалистическом строительстве, решили объединиться в единый союз советских писателей».

В Союз Советских писателей принято было около 2500 человек.

Что это значит? Это значит, что созданием «Союза Писателей» последние остатки какой-то «свободы», какой-то возможности писателя как-то пытаться увертываться от лап партии были уничтожены. Диктатура «социализировала» формально еще свободного советского писателя, превратив его в свободно гуляющего чиновника ведомства государственной пропаганды. Ибо при коммунистическом строе будучи *вне* Союза Писателей писатель не может ни работать, ни жить. Такой «свободный» писатель фактически выброшен из жизни и, как писатель, он не существует, у него не будет ни средств к жизни, ни даже м.б. «орудий производства», чтоб писать, ибо бывали ведь времена «бумажного голода» в СССР, когда бумагу писатели получали по ордерам из казенных учреждений и «неорганизованный» писатель получить бы ее не мог.

Отдел Пропаганды следит за писателем не только беспартийным, но, конечно, и партийным. В этом учреждении ведутся «дела» всех редакторов и сотрудников газет и журналов. За коммунистами Отдел Пропаганды зорко следит, дабы выявлять «уклоны», «загибы», «перегибы», вообще возможность зарождения каких-нибудь оппозиционных взглядов. В этих случаях из Отдела Пропаганды идут предупреждения, выговоры, смещения, наконец устранения и опалы. Кары Отдела Пропаганды безапелляционны и беспощадны, тут царит *«то-талитарная»* дисциплина.

Кто же стоял и стоит во главе Отдела Пропаганды? Всё

больше какие-то малоизвестные неандерталы — мелькали имена Кружкова, Пospelова, Румянцева, Поликарпова, Степакова. Вот во главе Культпропа в свое время стояла довольно-таки колоритная личность — А. И. Стецкий. На этой фигуре стоит задержаться. Стецкий — партиец, интеллигент, ученик школы Бухарина, одно время связанный с группой его учеников, в которой возникла оппозиционность по отношению к политике Сталина. Но в то время как многие из этих молодых экономистов (Марецкий, Айхенвальд, Слепков и др.) поплатились за свою оппозиционность кто ссылкой, кто тюрьмой, а кто и смертью, Стецкий как раз сделал карьеру на том, что первый донес Сталину на своего бывшего учителя Бухарина, когда тот написал известные «Записки экономиста». Благодаря этому Стецкий, не будучи одарен никакими другими талантами, выдвинулся в первую линию советских сановников.

Центральный аппарат Отдела Пропаганды в Москве не менее громаден, чем аппарат Главлита. Здесь получается вся советская и мировая печать; всё прорабатывается партийными чиновниками по директивам свыше.

Насколько велик аппарат Отдела Пропаганды можно, хотя бы приблизительно, судить по таким цифрам. Только в Москве на фабриках и заводах выходят более 500 газет, так называемых, «стенных» и все они делаются чиновниками Отдела Пропаганды. У одной только московской газеты «Известия» — 600 провинциальных корреспондентов, зорко следящих за настроениями провинции. Мы знаем, что к 1 января 1934 года на Северном Кавказе политотделами моторно-тракторных станций издавалось, примерно, 240 газет и 32 газеты издавались политотделами совхозов. В 1935 году в торжественном собрании в Доме Советов сам Стецкий определил в СССР количество бригадных газет на предприятиях, в колхозах и частях Красной Армии в полмиллиона названий. И весь этот «опиум для народа» изготавливается чиновниками Отдела Пропаганды, не пропускающими, разумеется, ни одной строки, которая расходилась бы с директивами свыше. Армию партийных чиновников Отдела Пропаганды надо считать многими тысячами.

3. ЛИТКОНТРОЛЬ

При этих двух линиях партийной цензуры (Главлит и Отдел Пропаганды), казалось бы, что всякое движение свободной мысли партией уничтожено и беспокоиться ей нечего. Однако существует еще и «третья линия» наблюдения за писателями и удушения их. Это — Литконтроль ОГПУ-НКВД-КГБ.

В былые времена во главе Литконтроля ОГПУ долгое время стоял известный, кровавый чекист Яков Савлович Агранов, правая рука Ягоды, в свое время участвовавший в вынесении смертного приговора поэту Н. С. Гумилеву и расстрелявший множество выдающихся представителей русской интеллигенции.

Задача этой организации не контролировать то, что написано (это дело Главлита), не давать директивы пишущим (это дело Отдела Пропаганды), а — следить за тем, что *могло бы быть написано*: то-есть — *персонально освещать всех советских писателей, поэтов, журналистов, пусть даже самых преданных режиму*. И Литконтроль КГБ освещает всех писателей не только беспартийных, но и партийных, он следит даже и за всеми чиновниками Главлита и Отдела Пропаганды вне зависимости от их высокого или низкого положения. Это, так сказать, особая «цензура» даже над цензорами и особая слежка даже за сыщиками.

Из всех трех упомянутых организаций эта организация быть может самая страшная, хотя бы потому, что работает она тайно. Помимо немногих явных чиновников КГБ сотрудниками Литконтроля является совершенно бесчисленная армия тайных «кооптированных сотрудников», вербуемая из среды тех же писателей, журналистов, их семей, и лиц близких к литераторам и литературе.

Писатели Запада не в состоянии даже приблизительно представить себе атмосферу провокации, слежки, шантажа, шпионажа, угроз, в которой живут советские писатели. Если когда-нибудь откроются архивы Литконтроля ОГПУ-НКВД-КГБ — картина порабощения литературы этими мерами превзойдет несомненно самое невероятное воображение.

Приведу хотя бы один пример. Казалось бы Максим Горький был близкий режиму и крупный человек. Когда он «пошел

в Каноссу» и вернулся из Сорренто в СССР, он разумеется и не предполагал, что эта его «Каносса» превратится в такую его страшную трагедию. В Москве Горький жил всецело опутанный сплошной паутиной ОГПУ. С одной стороны для него же создавались «потемкинские деревни» на месте концентрационных лагерей, а с другой — Горький в жизни не мог ступить шагу без приставленных к нему агентов ОГПУ — Крючкова и Авербаха, которые по своему усмотрению например одних людей к Горькому пускали, а других не допускали, и эти люди увидеть Горького никогда не могли. При чем Петр Петрович Крючков жил в одной квартире с Горьким, на положении его «секретаря».

Немилость и недоверие Сталина к Горькому диктовались многими в былом неугодными Сталину чертами «буревестника», но вероятно более всего тем, что Горький отказался написать книгу о Сталине. Под старость впавший в слабование Горький, как говорят, хотел уехать за границу, но Сталин его не пускал. А статьи Горького с панегириками коммунистическому террору писались теми же бессменно дежурившими при нем чекистами Крючковым и Авербахом.

«Устал я очень... Словно забором окружили — не перешагнуть!... Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие», — такие слова Горького во время «десталинизации» приводил некий, бывший сотрудник изданий Горького И. Шкапа («Семь лет с Горьким», М. 1964). Сведения, что Горький был отравлен чекистами по приказу Сталина представляются вполне вероятными. Чекисты на тот свет отправили не только «отца социалистического реализма», но и его сына Максима. Кстати, и Авербах, и Крючков, и Ягода были впоследствии Сталиным расстреляны. Так что — все концы в воду.

В тяжелой атмосфере полусыска, полушпионажа задохнулся и застрелился еще более близкий режиму поэт В. Маяковский. Положение же писателей более удаленных от Олимпа даже трудно себе представить. Тут щупальцы ОГПУ так глубоки, количество литературных сексотов столь невероятно и ими настолько насыщена жизнь советских писателей, что состояние их лучше всего, пожалуй, характеризует распространенная в свое время в Москве мрачная шутка: стоит советский писатель перед зеркалом и грустно подмигивая своему изображению говорит: — «одно из двух, либо ты агент ГПУ, либо я».

Другой анекдот таков: у писателя должны собраться товарищи на вечеринку, но так как в самом свободном государстве — в СССР — частные собрания запрещены, то писатель пошел в НКВД спросить разрешение. Там, просмотрев список приглашенных, энкаведист, улыбаясь, говорит: — «в таком составе можете устраивать вечеринки хоть ежедневно». Кроме хозяина квартиры остальные, оказывается, все были сексотами Литконтроля.

Бежавший же из СССР в 1963 году писатель Юрий Кротков привез еще более мрачный литературный анекдот: — «Советский ад. Писатели и деятели искусства, стоя по горло в навозной жиже, курят. Пробегает чорт и начальническим голосом кричит: 'Перекур кончился! Становись на голову!'».

Положение советских писателей это положение — крепостных компартии. Характерно, что Литконтроль ОГПУ-НКВД-КГБ вербует своих «кооптированных сотрудников» с необычайным цинизмом. Так например, известные советские писатели получали просто-напросто повестку через милицию явиться в таком-то часу, в такой-то день по делу в ОГПУ-НКВД-КГБ. И там за «стаканом чая» и за традиционной хорошей папиросой начинался разговор по душам о преданности писателя имя рек советской власти и о том, что эту преданность нужно бы засвидетельствовать постоянным контактом с Литконтролем. Через эти «душевные» разговоры в Литконтроле прошли буквально все видные писатели. Покойный Е. Замятин рассказывал мне, как в ОГПУ именно так, через милицию, был вызван известный сатирик и юморист М. Зощенко, проведенный там «за стаканом чая и папиросой» около шести часов и приехавший оттуда душевно совершенно разбитый. Разговор с Зощенко свидетельствует о том, что в этом случае у ОГПУ отсутствовало даже чувство юмора.

На Западе трудно — думаю, даже невозможно — понять психологическое состояние советского писателя, живущего десятилетиями под тотальным давлением Главлита, Отдела Пропаганды и Литконтроля, с сознанием всегдашнего окруженья сексотами из своих же собратьев.

При Сталине сопротивлявшихся требованиям власти компартии среди писателей почти не было. Оставались только писатели блюдушие меру своих славословий режиму и ее не блюдушие, вот и вся разница. Пытавшихся же еще мечтать о

какой-то «свободе творчества» партия давно выбросила из литературной жизни и они замолчали. Известна страшная судьба Осипа Мандельштама. В Ленинградскую тюрьму сел в свое время критик Иванов-Разумник, преданный литературными сексотами, состряпавшими о нем какое-то «фашистское» дело. Пошел в сибирскую ссылку поэт Н. Клюев, где он и погиб. Убили на допросе поэта Сергея Клычкова. Сел в концлагерь поэт Н. Заболоцкий. Покончили самоубийством поэт В. Пяст и прозаик А. Соболев. Пошел в ссылку драматург Н. Эрджман. Расстреляли Т. Табидзе, И. Бабеля, П. Васильева, Б. Корнилова. Расстреляли писателей-евреев, писавших на идиш — Бергельсона, Маркиша, Фефера, Квитко и других. Немыслимо перечислить всех писателей уничтоженных диктатурой. Об этом надо писать *книгу*, но только тогда, когда вскроются все архивы КГБ, Отдела Пропаганды, Главлита. И это будет одна из самых *страшных* книг.

Но к чести русской литературы надо сказать, что все-таки, даже в самые зверские времена сталинизма, при всем тотальном духовном удушении, она (пусть очень редко) находила в себе все же силы и иронии и хоть эзоповского, но все-таки протеста. Общеизвестно стихотворение Осипа Мандельштама о Сталине. Известна повесть Бориса Пильняка «Повесть о непогашенной луне», за которую он заплатил расстрелом. При Сталине поэт-журналист Эмиль Кроткий, в свое время работавший у Горького в «Новой Жизни», написал весьма вольнодумную басню «У лукоморья дуб зеленый» за что — как только басня пошла по рукам в списках — был арестован и пошел в Сибирь. То же произошло с талантливым драматургом Николаем Эрджманом (автором пьесы «Мандат», шедшей у Мейерхольда, но очень скоро снятой с репертуара). В этой пьесе есть такая крылатая фраза одного из персонажей, обошедшая чуть ли не весь Советский Союз: — «Анечка, Анечка, выгляни в окошечко, не кончилась ли советская власть». Эрджман написал еще сатирическую пьесу «Самоубийцы», где персонажи — коммунист и писатель — ведут такой диалог: — «Выпьем за идею», — говорит коммунист писателю. — «Отчего же за нее не выпить, если она хорошо кормит», — отвечает писатель. Света ramпы эта пьеса, конечно, не увидела и Эрджман получил из Культпропа предупреждение.

Но когда Культпроп пустил в оборот литературную ди-

рективу о том, что в голодной и задушенной террором стране писатели должны же все-таки давать советские произведения звонкого смеха и веселого юмора, Эрдман написал сатирическую пьесу «Заседание о смехе». Тут уж несмотря на заступничество Горького Эрдман был сослан на несколько лет в концлагерь. Грех был поистине велик: — главным персонажем в «Заседании о смехе» под именем «веселящейся единицы» Эрдман вывел никого другого, как самого великого инквизитора русской литературы, руководителя Культпропа Стецкого. К тому же Эрдману приписывалось и авторство, ходившей по рукам, «Баллады о Сталине».

Трагически кончали и кончают в СССР все писатели, когда-нибудь пробовавшие или пробуящие сейчас писать на неудобные Культпропу, теперь — Отделу Пропаганды, темы. Общеизвестна судьба писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, пошедших из Москвы в концлагерь на несколько лет. Общеизвестны судьбы совсем молодых поэтов и прозаиков — Владимира Буковского, Н. Горбаневской, Ю. Галанскова, А. Гинзбурга и многих других. И наконец всему миру известно каким невыносимым гонениям и инквизиторским притеснениям подвергается самый большой современный русский писатель, нобелевский лауреат Александр Солженицын. Он даже исключен из Союза Писателей СССР, то-есть, — не признан «писателем», ибо в этом Союзе комфортабельно расположились угодники режима, давным давно «творчески разоружившиеся» писатели. И вот этих «вполне разоружившихся» и «сдавшихся» партии «инженеров человеческих душ» партия всегда вознаграждала и вознаграждает как только может, ибо они «честно» выполняют ее директивы.

Чрезвычайно удачно, например, выполнял заказы Сталина граф Алексей Николаевич Толстой, которому в Москве поставлен даже мраморный памятник. Под конец жизни годовые гонорары этого талантливого писателя-жманфишиста исчислялись чуть ли не миллионами рублей. Толстой любил, как он сам говорил, «легкую и изящную жизнь», и у него был и особняк «в собственность» и роскошный автомобиль, доступный только самым высшим коммунистическим сановникам, и «шелковые рубашки», и зернистая икра и многое другое, нужное для «легкой и изящной жизни». За Толстым поспевали менее крупные, но тоже удачно выполнявшие задания Культ-

пропа и Отдела Пропagанды: М. Шолохов, К. Федин, Вал. Катаев, И. Эренбург, Всеv. Иванов, Л. Леонов, С. Михалков (о котором в Москве ходит колкая эпиграмма: «Что ему не доставало — То он мигом доставал — Самый ловкий доставала — из московских доставал»), А. Сурков, В. Шкловский, Е. Евтушенко и многие другие более мелкие, имена же их Господи веcи!

Хорошо понимая значение литературы в жизни страны компартия работoй своих чиновников из Главлита, Отдела Пропagанды и Литконтроля давно захватила *всю литературу* в свои руки. Прирученные писатели давно оторваны партией от полуголодной жизни советских обывателей и связанной с этим психологии. Все видные писатели, так же как коммунистическая знать, прикреплены к самым сытным, самым лучшим «распределителям», откуда и получают недоступную советскому рядовому подданному еду, обзаводятся дачами, автомобилями, холодильниками, телевизорами, мусоросжигателями и прочей «роскошью». Общаются же они с охамевшим, чванливым, разевшимся на государственных харчах коммунистическим чиновничеством. И рублем и дубьем партия завоевала литературу, загнав ее в свой хлев.

Страшный итог пятидесятилетнего подавления русской литературы и уничтожения в концлагерях неугодных партии писателей подвел Александр Солженицын в своей «Нобелевской речи». Он сказал: «Из писателей лишь некоторых встречал я сам в архипелаге Гулага, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канули в пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узнанных, ни разу публично не названных? И почти — почти никому не удалось вернуться. *Целая национальная литература осталась там, погребенной...* Ни на миг не прерывалась русская литература, а со стороны казалась пустыней. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева...»

4 ЧЕТВЕРТАЯ ИНСТАНЦИЯ

Но в литературной жизни СССР есть и еще одна, четвертая, инстанция цензуры и всяческих окончательных литературных решений. Она, собственно, неизбежна при всякой диктатуре. Раньше это был — Сталин. В случаях особо важных, когда между Главлитом, Отделом Пропаганды и Литконтролем возникала неувязка, разнобой, дело достигало «самого́», то есть, — Сталина. И здесь всё решалось его словом.

Так, Сталин «снял вето» с автора «Дней Турбиных» М. Булгакова, дав ему работу в театре и разрешив постановку некоторых его вещей. Этому предшествовало непосредственное обращение Булгакова к Сталину. До Сталина доходили рукописи многих книг, вызывавших сомнения и разногласия в цензурных ведомствах партии. И он — самодержавно — решал: быть или не быть такому-то писателю. Иногда это кончалось трагедией писателя, иногда — успехом и славой! Самым анекдотическим и характерным для нравов партийной цензуры был, пожалуй, случай с изданием трудов знаменитого покойного академика И. П. Павлова.

Известно, что академик, бережное отношение к которому завещал сам «Великий Ильич» — «сохранить пролетариату Павлова» — был в СССР единственным человеком, открыто — с кафедры — высказывавшим свои антикоммунистические взгляды. Так, например, на одной своей вступительной к курсу лекции он сказал, что книга Бухарина «Азбука коммунизма» самая глупая книга, которую он когда-либо читал. Но Павлову — по завещанию Ильича — все сходило с рук. Долгое время, несмотря на все уговоры, Павлов, например, не соглашался, чтоб его труды были выпущены Госиздатом. Но под конец ближайшие сотрудники все-таки уломали строптивого старика. Однако говорят, совершенно умышленно академик пожелал, чтобы в первом томе его сочинений была напечатана фотография, изображающая Павлова ребенком с своим отцом-священником; а другой том своих сочинений академик Павлов посвятил памяти своего сына (сын же академика Павлова погиб в белой армии).

Разумеется, ни главлитчики, ни культпропщики, ни гепеушники взять на себя какое бы то ни было решение по такому щекотливому делу не могли. Говорят, что цензоры были просто

в панике. И всё дело пошло на личное усмотрение товарища Сталина, который осведомившись о совершенно категорическом условии академика Павлова — «или печатать так, как я хочу, или совсем не печатать» — разрешил напечатать и посвящение и фотографию.

Но иногда эта «четвертая инстанция цензуры» приходила в действие совершенно внезапно и угрожающе. Иногда Сталин по прочтении какого-нибудь уже напечатанного произведения впадал в ярость и обрушивался сразу на все три цензурные инстанции. Так было, например, с повестью талантливого писателя Платонова, изображающей коллективизацию, напечатанной в журнале «Красная Новь». Сталин нашел повесть возмутительной и контр-революционной и Платонов, разумеется, сразу же после этого замолчал, впал в немилость и опалу.

При Хрущеве — четвертая цензурная инстанция — по наследству перешла от Сталина к нему. Кругозор Сталина был кругозором недоучившегося семинариста, кругозор же Хрущева был кругозором безграмотного рабфаковца. Тем не менее эти господа были четвертой цензурной инстанцией великой России в течение долгих лет. Общеизвестно, что именно он, Хрущев — самодержавно — разрешил напечатание «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына, имевшего ошеломительный успех, как в СССР так и во всем мире. Но потом, спохватившись, эту книгу А. Солженицына быстро изъяли с книжного рынка СССР. Он же, Хрущев, разрешил напечатать поэму А. Твардовского «За далью даль», которая много лет не могла пройти сквозь цензурные рогатки. Но он же, Хрущев, наложил запрет на печатание в СССР романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и угрозами заставил поэта отказаться от присужденной Пастернаку Нобелевской премии.

Уж не знаю как теперь, стал ли Брежнев — четвертой цензурной инстанцией?

О положении литературы в СССР один советский писатель сказал мне так: «мы порабощены партией и прекрасно знаем, что ничего крупного создать не можем. Писать по-настоящему мы не можем потому, что партия умело и сознательно оторвала нас от страны, мы не живем ее жизнью, мы насильно взяты партией на ее «коммунистический корабль» и плывем вместе с ней в неизвестном направлении. Куда мы доплывем? Сказать

не берусь. Но если эта власть партии потерпит когда-нибудь крах, это будет и нашим крахом. Тогда ведь не будут спрашивать, что ты думал и даже, что ты писал, а спросят только, что ты ел и как ты жил в то время как мы холодали и полуголодали? А едим мы, увы, из хорошего «распределителя» и живем дай Бог всякому, ну, и пишем... то, что от нас хотят».

Роман Гуль

МНИМАЯ ТЕМА

О СПЕКУЛЯЦИЯХ Э. КИНАНА*

Публикация с предположениями гарвардского слависта о том, что переписка КУРБСКОГО и ГРОЗНОГО не относится к шестидесятым и семидесятым годам XVI столетия, но является подделкой XVII века, производит не только странное впечатление своей претенциозностью (так сказать, аннулирование культуры Третьего Рима), но и крайне тягостное, ибо в подходе Кинана к материалу нет того, что зовется «чувством критической пропорции» и «реалистического ощущения эпохи», которой он занялся. Более того, его спекуляции отмечены явной *антиисторичностью*, ибо стилизуют материал согласно предвзятой идее и даже выдают чаемое за существующее. При этом Кинан наивно высокомерен, ибо, по-видимому, всерьез полагает, что он, на самом деле, ниспровергает, по его выражению, «благочестиво принятую» всеми историками «веру» в подлинность сочинений Курбского и Грозного. Он пытается даже найти оправдания «лично морального» порядка для своей «иконоборческой» деятельности: «Я не имею намерения развенчивать Ивана IV, Андрея Курбского или Московию XVI века или лишать их достижений, принадлежащих им по праву. Но я не могу молчать о сведениях, которые я считаю насущно важными, просто потому, что мои наблюдения спорны». Оказывается, спекуляции Кинана приводят к заключению, которое «более напоминает группу теорем геометрии, чем исторические гипотезы. Если какая-либо из них будет принята, то следует принять и главное заключение, а именно, что традиционное приписывание переписки Ивану и Курбскому должно быть отброшено». Таким образом, Кинан ставит перед нами

* The Kurbskii-Groznyi Apocrypha. The Seventeenth-Century Genesis of "Correspondence" Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV, Edward L. Keenan, with an appendix by Daniel C. Waugh, Harvard University Press, Cambridge, 1971, 244 pages.

вопрос свехупрошенно: или — или... Трудно решить, что же это — предельная наивность, пугающее непонимание существа исторического исследования или некоторая доза лицемерия, маскирующая предчувствие собственного поражения? Во всяком случае, ставить «условия» критикам — просто смехотворно.

Пожалуй, здесь уместно подчеркнуть, что пишущий эти строки не знает Кинана лично, что немногие его исторические статьи скорее казались интересными и что критика этой публикации вовсе не диктуется «уязвленными чувствами», — все мое «академическое образование» и вся моя исследовательская работа, продолжающаяся, увы, уже не одно десятилетие, всегда руководились старым принципом, важнейшим для историков, — «как ни прекрасна любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное — любовь к истине».

Разбираемая публикация представляется бесполезной в той части, где производится разбор и какая-то систематизация рукописного наследства Курбского и Грозного в списках XVII века, но проверка этой части Кинановских спекуляций является, безусловно, задачей советских историков, имеющих возможность пересмотреть весь материал, упоминаемый Кинаном и его сотрудником Д. Во, которому в этом томике принадлежат конкретные и деловые *Приложения*. Понятие литературного «конвой», введенное в научный обиход Д. С. Лихачевым с его знаменитой «формулой» — «Анализ разночтений может контролироваться анализом содержания сборников и наоборот», использовано Кинаном, но в том ли же духе осторожно-го, «вещественного», разбора материала, как у Лихачева? Состав различных «сопровождающих» произведений в различных сборниках может помогать при установлении времени или места создания той или иной рукописи, но этот «конвой» сам по себе ничего не решает. Получается впечатление, что Кинан упростил это понятие. Но это, как мы увидим ниже, несущественно для решения основного вопроса этой публикации. Равным образом совершенно несущественны многочисленные заявления Кинана по вопросу языка произведений Курбского и Грозного, поскольку он ничего не доказывает, но только «декларирует». Основной факт, что в позднейших произведениях Курбского появилось немало полонизмов и влияний западно-русских наречий совершенно естествен, — в *Первом письме*

Курбского отмечается, напротив, «чистота» его русско-славянского стиля (мимоходом следует подчеркнуть, что письмо Грозного *не* написано на церковно-славянском языке, как думает Кинан). Беда славянских языков именно и заключается в их близости друг к другу, — они «проникают» друг в друга совершенно стихийно, образуя подчас странные языковые слитки, — именно этот процесс отчетливо заметен в произведениях Курбского.

Попутно надлежит указать, что представляется также понятным факт, возбудивший пристрастную «бдительность» Кинана, что переписка не сохранилась в списках XVI века. Она не сохранилась по той же причине, почему не остались — до наших дней — документы Царского архива, архива Посольского приказа или бумаги личного царского секретариата, который, можно предположить, как раз и ведал подобной корреспонденцией, в данном случае Грозного. Все эти документы или сгорели в Москве или же были увезены, — в частности, во время Смутного времени в Польшу: упомянутые описи русских архивов попали в собрание Литовской метрики и только в конце XVIII века были возвращены в Россию. Что же, по логике Кинана, были они тоже подделаны? Кроме того, трудно вообразить, чтобы Грозный особенно поощрял размножение писаний князя Андрея, в которых царь столь беспощадно критиковался. Из сочинений самого царя сохранились в копиях того времени только два послания: к опричнику Василию Грязному, попавшему в плен к крымским татарам и просившему царя выкупить его (1574 года), — письмо, к счастью, было переписано в сохранившиеся «посольские столбцы», т.к., очевидно, пересылалось через Посольский приказ, и грамота к польскому гетману Яну Ходкевичу (1577 г.). Но Кинан и здесь «неумолим», — нет, мол, доказательств, что писал сам Грозный. Он даже «намекает», что чрезвычайно подозрительно отсутствие в наших материалах «царского автографа». Не был ли Грозный просто «неграмотным тираном» в своей дикой и страшной Московии? В третьей главе — «Псевдо-Иван и псевдо-Курбский» — (замечу мимоходом, постыдно предвзятой) Кинан доходит до вершин своего отрицания даже *возможности* появления произведений *уровня* авторов переписки.

Согласно Кинану, Иван и Курбский — «люди действия», и у них не было даже и времени получить «полное монашеское

образование», — что понимает под этим определением Кинан неизвестно, но мы знаем, как напряженна была религиозная жизнь Московской Руси в ту эпоху и, как не по параграфам, а по сути дела шли бесконечные споры и «стяжателей» и «нестяжателей», вольнодумцев и консерваторов, как преследовали «еретиков» и как ожесточенны были столкновения на общую тему о «правой» (правильной) вере, как еще в XV веке выражался тверской купец Афанасий Никитин, описавший Индию еще до Васко де Гама. Иван IV известен, как яростный защитник православия, споривший и с латинянами и с представителями реформационных движений: царя его оппоненты упрекали в резкости (когда, например, в пылу полемики Грозный назвал римского папу «волком», дискуссия прервалась, ибо даже для иезуита этот отзыв о главе римско-католической церкви был «чрезмерным»).

Кинан вовсе не разбирает этих диспутов о вере, — значит, или «забыл» о них, или игнорирует их, чтобы «не портили прокурорские спекуляции» автора. Но цитату, которую я сейчас приведу, Кинан *должен* помнить, она принадлежит некоему иноку Исае, который в марте 1582 года вел беседу с царем об «исповедании веры». Царь, в присутствии своего «синклита», говорил с Исаией «из уст в уста крепче и силне и высокопарным и высочайшим богословием и глубочайшим разумом духовным, и давал вопросы и принимал ответы». Как точно определяет здесь этот образованный собеседник Грозного, каменец-подольский уроженец, характер начитанности царя и стиль его речей: «высокопарный», «высочайшее богословие», «духовный разум», а выражает свои мысли «крепко» и «сильно». Невольно приходит на память характеристика Грозного, сделанная его младшим современником, уже в XVII веке: «...мужчюдного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен...» Как будто бы, «человек действия» не был чужд и некоторой образованности, если не подходить к нему предвзято.

Когда появились слухи о «сенсациях» Кинана, предполагалось, что ему удалось «сместить» некоторые из чрезвычайно важных утверждений советского знатока материала, Я. С. Лурье, который в своем превосходном археографическом обзоре в сборнике «Послания Ивана Грозного» сделал ряд важных

наблюдений о рукописном наследстве Грозного и отчасти, попутно, Курбского. В частности, Лурье подчеркнул факт, что сочинения царя находятся в сборниках XVII века рядом с сочинениями «опального князя» и высказал предположение, могущее быть плодотворным, что, по-видимому, существовало какое-то «собрание сочинений» Курбского, созданное или до его смерти в 1582 году или вскоре после его кончины. Но оказалось, что Кинана, по его собственным словам, «не интересует иная интерпретация» переписки (он собирается заняться «истолкованием» ее позднее), а здесь он старается уничтожить мнение, что произведения эти существовали или могли существовать в XVI веке. Поэтому Кинан и предпринял поход не только против «лиц», но и против всего «уровня» русской или московской цивилизации, которая, по его мнению, резко разделялась на «мирскую» и «церковную». Поэтому ему кажется неправдоподобным, чтобы представители одной из этих «половинок» могли бы преуспевать и в другой или быть даже представителями каких-то литературных стилей или литературных новшеств. Все эти (и подобные им) спекуляции Кинана чрезвычайно предвзяты: Владимир Мономах был выдающимся государственным деятелем и превосходным писателем; митрополит Даниил был «князем церкви», а в то же время основоположником «ругательного стиля» в письменности, который столь мастерски развил Грозный; в 1537 году *родственник* князя Курбского написал, по заказу тогда еще новгородского архиепископа Макария, житие преп. Михаила Клопского, а был он «сын боярский», служилый человек Василий Михайлович Тучков (он должен был быть дружкой с невестиней стороны на свадьбе Грозного с Анастасией Романовной, но заболел, упав с коня, — на свадьбе была только его жена); Висковатый был блестящий дипломат, которого чрезвычайно уважали иностранцы, имевшие с ним дело, но его «сумнения» о новых иконных композициях, появившихся в Москве, обнаруживают и эрудицию и глубокое и верное понимание проблем церковного искусства. Можно указать, что все четыре названные персонажа принадлежали к личному «кругу» Грозного, включая и Владимира Мономаха: в 1547 году Грозный венчался на царство, возложил на себя «шапку Мономаха», и было немало иных «Мономаховых мотивов» в интересах Ивана Васильевича. И мы безошибочно можем указать и «духовных

наставников» царя и Курбского: у одного — митрополит Макарий и на некоторое время протопоп Сильвестр; у второго — Максим Грек, Сильвестр и на некоторое время старец Васьян. Вопрос сомнений в их начитанности совершенно искусственен.

И еще одно из заявлений Кинана, которое предвзято (понятно, что здесь невозможно ответить решительно на все спекуляции в этой публикации, да и не нужно, как мы увидим ниже). Кинан полагает, что Курбский ничего не написал в Польше и что ему просто приписывают труды местных западно-русских авторов. Вопрос этот не может решаться столь элементарно: опять «или-или». Историки предполагают, что расцвет церковной учености в югозападной Руси падает на время уже после смерти Курбского, и если ему что-то приписывалось, не в силу ли того, что у него уже была сложившаяся репутация «книжника»? В одной из моих работ я указал также на возможность, что Курбский мог привезти с собой в Польшу уже переведенные с латыни старцем Васьяном в Псково-Печерском монастыре некоторые тексты о блаженном Августине, — сам Курбский замолчал эту деталь или исказил сведения на эту тему, но все это показывает, что он был лично заинтересован в своей репутации «просвещенного аристократа».

Все эти вопросы, однако, в данном случае второстепенны. Их следует нам иметь в виду только как свидетельство шаткости методологии Кинана и его предвзятого отношения к сложным и часто недоработанным проблемам.

Вся суть дела заключается в *Первом письме* Курбского: это — центральное утверждение Кинана, и мы согласны с ним в этом пункте. Что же произошло с *Первым письмом*, когда им занялся Кинан?

То, что «пустил в ход» Кинан, заключается в наблюдении, что ряд фраз, слов и общая манера изложения совпадают в *двух* текстах XVI века: в *Первом письме* князя Андрея Михайловича, относимом к 1564 году и написанном сразу после бегства Курбского в Вольмаре, и в *Плаче* инокса Исаии, написанном, как признает и Кинан, в 1566 году, в Ростове. Исаия, уроженец Каменца подольского, принял постриг в Молдавии, жил в Киево-Печерской обители, а потом в Вильне и приехал в Москву в 1561 году с целью достать здесь из царской библиотеки Библию на славянском языке для напечатания ее в Литве на пользу «нашему народу русскому литовскому да и русско-

му московскому, да повсюду всем православным христианам». Кроме Библии, Исаии нужны были «Беседы» Иоанна Златоуста на евангельские темы и текст «Жития» преп. Антония, не сохранившийся в Киево-Печерском монастыре. (Не правда ли, странно, что Исаия ищет все это в «темной», культурно дикой, по Кинану, Московии?) Исаия оказался, однако, запутанным в политическое дело, связанное с греческим митрополитом евгриппским Иоасафом, тогда же приехавшим в Москву с соборной грамотой от патриархов восточной церкви, утверждавшей царский титул Грозного. Исаия сделал донос русским властям на грека, что он почему-то целовал в Вильне крест польскому королю. Поднялся большой скандал. Защищаясь, Иоасаф обвинил Исаию в нестойкости в вере. Исаия был сослан сначала в монастырь в Вологде, а оттуда в Ростов, где написал свой *Плач* с нападками на Иоасафа, который «яко несмысленный старец и блекотливая баба» наклеветал на него. (Из вышеприведенной мною цитаты видно, что дело это об «исповедании веры» тянулось до 1582 года, до беседы с царем).

Кинан, внимание которого к Исаии привлек один из его советников, востоковед О. Прицак, решил не сделать того, что казалось бы естественным, а именно просто подвергнуть анализу содержание обоих текстов и попытаться выяснить причину совпадения в части текстов, разобрав историческую обстановку и — главное — проверив хронологию событий и появления текстов (нередко неточную, как известно всем, работавшим исследовательски по истории Московской Руси). Но Кинан предпочел строить свои «геометрические теоремы» о том, что *Первое письмо* Курбского было подделано на основе *Плача* Исаии и с принятием во внимание сходных пассажей в произведении князя Ивана Андреевича Хворостинина, а именно в предисловии «К читателю» из его — «Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России», написанных, согласно С. Ф. Платонову, в 1619-20 годах. Некоторое время Кинан прочил в фальсификаторы самого Хворостинина. Биография Хворостинина самая пестрая: он и авантюрист, и начитанный человек, и талантливый писатель; подлинный «декадент» Третьего Рима, обвинявшийся и в «изменных замыслах», и в вероисповедных «шатаниях», и в «содомском грехе», по мнению современников — самоуверенный, надменный, дерз-

кий, циничный в обращении с фактами, но ярко и выразительно их описывавший.

Хотя список *Первого письма* мог бы быть сделан в пределах жизни Хворостинина (он умер в 1625 году, приняв схиму), Кинан отказался от его кандидатуры. Подчеркнем со своей стороны, что едва ли Хворостинин обладал бы возможностью заниматься в последние годы своей жизни такими стилистическими упражнениями, ибо как раз с 1623 года патриарх Филарет, сославший его в монастырь, «под начало», запрещал ему иметь книги, кроме церковных, и предписывал наблюдать за его перепиской.

Кинан, как бы демонстрируя свою академичность, подумал также о возможности *общего* источника для текстов Курбского и Исаии и обратился за помощью к трем специалистам, которые, однако, «протограф» текстов указать не смогли. Тогда Кинан нашел другого кандидата в мистификаторы — князя Семена Ивановича Шаховского, по прозвищу Харя.

Шаховской начал свою тоже бурную жизнь как придворный, а затем продолжал как служилый человек на разных постах во время Смуты и при первых Романовых. Он оказался талантливым писателем и благочестивым человеком, — С. Ф. Платонов, тоже и о нем писавший, эти его достоинства даже подчеркивает. Между тем, в период, интересующий Кинана, он дважды попал под удары верховной власти: один раз началось преследование его патриархом Филаретом за вступление в четвертый брак, а затем он подвергся опале от царя Михаила Феодоровича за «великие вины» политического характера, хотя он был совершенно непричем; возможно, что у него было конфисковано его имущество, и одно время он, по-видимому, был в тюрьме. Как-будто бы он, однако, уже в том же самом году, когда был разлучен с женой и сослан в Тобольск, т.е. в 1622 г., «был пожалован, взят к Москве», где в 1625 году он уже явно «в фаворе» у патриарха и пишет для него весьма ответственные послания к персидскому шаху, убеждая последнего принять православие. Дальнейшая жизнь Шаховского (он умер в 1653 году) нас здесь интересовать не может.

Кинан, зная все эти подробности жизни Шаховского, сделал фантастическое предположение, что князь Семен Иванович написал (где — в Тобольске, в ссылке? каким образом у него были бы там тексты?) под указанными выше «влияниями» ли-

тературных источников некое письмо к царю Михаилу Федоровичу... Но предоставим слово самому Кинану: в этом письме «он жаловался на гонение, воздвигнутое против него самого и его рода царем и отцом царя, патриархом Филаретом. Среди его источников был *Плач*, написанный в 1566 году малоизвестным украинским монахом Исаией и предисловие «К читателю», написанное около 1620 года князем Иваном Андреевичем Хворостининым. Шаховской, по-видимому, не отослал своего письма и после того, как неожиданно был восстановлен в (царской) милости, нашел целесообразным добавить послесловие и снабдить заголовком, в котором это письмо косвенно приписывалось его отдаленному родственнику, Курбскому. В какой-то момент, в конце двадцатых годов или в начале тридцатых семнадцатого века (вероятно, до смерти Филарета в 1633 году) Шаховской, или *кто-то* из его близких друзей, составил первую версию письма Ивана Грозного, т.е. отклик на собственное письмо Шаховского, сейчас приписываемое Курбскому. Этот текст оказывается и как бы частью новых исторических писаний после Смуты и скрытым откликом на политическое положение в течение царствования Михаила Федоровича, в особенности — на роль Филарета. Вскоре после этого вторая версия того же письма, расширенная, благодаря внесению пространных исторических и теоретических отступлений от темы, была создана *кем-то*, чьи взгляды были весьма похожи на точки зрения Шаховского, — может быть, им самим. С этого момента развитие *Переписки* приостанавливается на несколько десятилетий, но в последние годы царствования Алексея Михайловича *кто-то* из представителей высшей бюрократической элиты, приверженец Алексея Михайловича и его представлений о самодержавии, написал краткое изложение *Первого письма* Ивана в стиле несколько более простом, чем витиеватый церковно-славянский стиль этого письма. Еще позднее и в той же самой среде *какой-то* автор с иной точкой зрения на Романовых и их абсолютистское правление составил тексты, которые известны, как *Второе* и *Третье письма* Курбского и «*История Ивана IV*», которая приписывается Курбскому. Эти работы были тоже (как и вышеупомянутые Н. А.) политическими аллегориями, которые комментировали под маской обсуждения военных дел Ивана и его тирании во внутренних делах современное положение русско-польских отношений и

роль старой московской аристократии в возрастающе бюрократизирующейся монархии».

Таким образом, Кинан предлагает нам поверить ему, что *кто-то, когда-то и почему-то* в течение полувека занимался мистификацией *кого-то...* Конечно, каждый вправе ставить тему, как представляется ему целесообразным. Но есть ли какой-либо смысл в искусственно создаваемой теме? Можно ли понять, однако, почему же Кинан привлек в «сотрудники» Шаховского?

Для объяснения этого Кинан придумал *семь* пунктов, выводя их из содержания *Первого письма*, которые, по его мнению, не подходят к Курбскому, но «доказывают» авторство Шаховского. Восстановим истину. Во первых, Кинан сообщает, что автор *Первого письма* был церковно образован, а мы, мол, ничего не знаем о Курбском с этой стороны. Но в этом письме нет ничего специфически церковного: это серия упреков царю за то, что он несправедливо, неблагодарно и жестоко относится к честно служившим ему и что автор письма будет жаловаться Богу на царя за все эти царские поступки. Эти жалобы и эта угроза выражены в той форме, которая считалась тогда признаком наивысшей образованности (а образованность только и была тогда церковной). Курбский не только в *Первом письме*, но и до него и в последующих произведениях показал тот же уровень владения стилем, который можно назвать церковно-славяно-русским. Неслучайно Е. Денисов, историк-католик, столь успешно занимавшийся изучением жизни Максима Грека, выдвинул в 1954 году правдоподобную гипотезу, что именно Курбский был автором короткого биографического очерка Максима Грека. Кинан, во-вторых, думает, что тенденция к ритмической прозе, заметная, по его мнению, в *Первом письме*, еще не могла проявляться в шестидесятые годы XVI века, но зато была распространенной в XVII столетии (Шаховской сам складывал некие вирши). Заявление неосновательное. Ритмическую прозу можно обнаружить во многих произведениях древнерусской литературы, начиная едва ли не со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона (XI век). Важно подчеркнуть, что несомненно ритмична проза «Слова о гибели Русской земли» (XIII век), список которого (список датируется XV веком) Курбский, очевидно, видел и читал во время одного из своих посещений Псково-Пе-

черского монастыря, ибо в одном из его писем к Васьяну Муромцеву есть несомненные стилистические и иные отголоски этого замечательнейшего отрывка из какой-то несохранившейся «исторической поэмы» (в двух из моих английских работ я отметил этот факт влияния «Слова» на писания Курбского, но еще не представилось случая сделать детальное сравнение, ибо хотелось бы написать работу по-русски). Новейшие находки в России как будто бы дают возможность вообще опустить появление стихотворных произведений до XV века.

Кинан, в-третьих, считает, что Курбский не претерпел достаточно от царя, чтобы столь на него жаловаться в *Первом письме*. Но, ведь необязательно принимать буквально приемы риторического изложения, которые столь явны в произведениях Курбского. Кроме того, ясно, что на него произвели сильное впечатление те расправы (включая и казни), которые были совершены царем еще до измены Курбского, в период 1561-64 годов. Опричнины еще не было, но «ярость» царя принимала уже те формы, когда он стремился именно, как правильно сформулировано в *Первом письме*, «всеродно», т.е. по возможности «весь род», «погублять». В письме не говорится о семье Курбского специально. Но можно было бы привести десятки имен, уже потерпевших от «царского гнева» до бегства Курбского. Таким образом, четвертый пункт Кинана столь же неоснователен, как и следующий за ним, удивляющий крайней наивностью в понимании текста. Кинан находит, что слова — «уже не узреши, мню, лица моего до дни Страшного Суда» не могли быть написаны 35-летним человеком, полным сил, женившимся в Польше дважды» и т. д. Но эти слова выражают только общее православное убеждение, что на Страшном Судище Христовом особенно серьезный «счет» будет предъявлен грешникам. Эту серьезность грехов царя подчеркивал этими словами Курбский, а вовсе не свою «занятость мыслью о смерти».

В шестом пункте Кинан выражает странное мнение, что нам ничего не известно о «ранах» Курбского и, стало быть, соответствующие выражения написаны не им, но Шаховским, о котором точно известно, что он был дважды ранен. Опять-таки, нет нужды принимать риторические образы за отражение реальной жизни, но разрядные книги (т.е. списки высших воинских назначений), а теперь и материал, собранный ле-

нинградским историком Р. Г. Скрынниковым, дают основания для подтверждения иного мнения, т.е. о реальности ранений Курбского (в частности, полученных под Невелем). Седьмой (и последний) пункт Кинана заключается в сомнении, что жалоба в *Первом письме* на «разлучение» с женой из-за непрерывных походов могла бы подходить к Курбскому: он, пишет Кинан, «совершенно с легким сердцем оставил жену в 1564 году», дважды женился в Польше. К сожалению, это опять предвзятая точка зрения: самый факт упрека царю из-за разлук с женой многозначителен, а также факт, что вторично женился Курбский только в 1571 году, т.е., очевидно, после смерти своей русской княгини. Традиция XVII века и историк прошлого века Н. Д. Иванишев придавали иное освещение «опальному князю», как семьянину.

Иными словами: семь пунктов Кинана никак не заставляют подвергнуть сомнению авторство Курбского, — это просто неубедительные спекуляции. Но самый значительный их промах, что Кинан забывает, что Курбский, направляя послание царю, как бы рисует его портрет, который никак не может относиться к Михаилу Федоровичу (если бы, по Кинану, письмо сочинялось Шаховским). В самом деле: при первом Романове не были «сокрушаемы прегордые царства» (явно, речь идет о Казани и Астрахани, т. к. «у них же прежде в работе — в рабстве *Н. А.* — были праотцы наши»); «претвердые грады ерманские» брались во время Ливонской войны; кровь в церквах была дважды пролита до бегства Курбского, — убийство кн. М. П. Репнина и кн. Ю. И. Кашина; Михаил Федорович вовсе неповинен «в неслыханных от века» муках и смерти, которым он «своих доброхотных» не предавал и так далее. И еще одно: неужели *такой* тон письма был бы допустим от сосланного в Тобольск Шаховского? Другое дело, если князь Курбский не был больше в пределах досягаемости царя, «умышляющего на христианский род мучительные сосуды», проводящего время на «трапезах бесовских». Мы решительно сомневаемся в предположениях Кинана: в них отсутствует исторический реализм, более того, в них нет здравого смысла. Если бы мы обратились к *ответам* Грозного, полным такой неподдельной страсти, негодования, объяснений, угроз, сокрушительных цитат, грубых словечек, мы, как и многие другие историки, пришли бы к заключению, что такие ответы под-

делать невозможно. К тому же, именно теперь и в значительной доле благодаря детальнейшим исследованиям по эпохе (многие из которых или неизвестны Кинану, или им не понятны, или извращены) мы только начинаем оценивать всю необычайную органичность сочинений обоих оппонентов, их связанность с множеством больших или малых событий XVI века. Попытка Кинана передвинуть их в иной век — только предвзятая идея.

Но вернемся к тексту *Первого письма*. Кинан много над ним потрудился и даже создал сводный текст этого послания по разным спискам, — знакомая установка на «геометрическую теорему», «или — или» и, как венец мечтаний, на новую схему истории Московской Руси, которую будут разрабатывать долгие годы, ибо, как выше показывалось, даже Кинану пока-что неизвестно, кто, когда и почему увлеклись подделыванием текстов. Но доказал ли Кинан *основное* в этой фантастической пирамиде спекуляций, т.е. объективную невозможность считать *Первое письмо* произведением Курбского? Если нет, вся пирамида его спекуляций рухнет. Подчеркиваю, что я не занимаюсь здесь исследованием вопроса, а только стараюсь отдать себе отчет в спекуляциях Кинана. Основное правило удачного исследования, усвоенное во времена моей академической молодости в масариковской Праге, бывшей тогда в научной области «славянской Меккой» (было у кого поучиться там: не даром Масарик сам был крупным историком), сводится к умению *прочитать* и *понять* тексты, подлежащие изучению.

Перечитывая документы данной публикации, т.е. тексты Курбского и Исаии, историк получает, едва ли ошибочное, впечатление, что *Первое письмо* более «органично», т.е. ближе к реальной (тогдашней) жизни, чем «Плач». Приведем здесь только два образца. Первый пример. У воеводы, прославленного полководца, князя Курбского совершенно естественна жалоба на царя: «...и кровь моя, яко вода пролитая за *тя* (тебя) вопиет на *тя* к Богу моему...» Но в устах монаха Исаии такая же жалоба на «митрополита Кизитского Иоасафа» звучит невнятицей: «...и кровь моя, яко вода пролитая *туне* (напрасно — Н. А.) вопиет к Богу моему...» Что же это за «кровь», пролитая напрасно подольским монахом за греческого митрополита? Не свидетельствует ли эта фраза прямо *против*

Кинана? Ведь это же прямое указание, что Исаия писал *Плач* под влиянием какого-то текста. Какого? Или общего «протографа» (для Курбского и Исаии) или же под влиянием *Первого письма*.

Второй пример. Курбский пишет: «...Он есть, Христос мой, сидяй на престоле херувимстем, одесную Силы величества во превысоких — судитель между тобою и мною...» Несколько ниже Курбский говорит: «...призывая в помощь херувимского Владыку...» Все эти образы Христа «на престоле *херувимстем*» и как «херувимского владыки» суть *прямое* отражение одной из тем собора 1553-54 годов, разбиравшего сомнения Висковатого о новых композициях в иконописной практике Москвы, частично находившейся в ведении друга Курбского, протопопа Сильвестра. Эти детали — безусловное подтверждение написания *Первого письма* Курбским тогда, когда у автора были еще живы московские впечатления об этом процессе, произведшем немалый шум в образованных кругах русского общества (сошлюсь на ряд моих собственных работ на эти темы, переизданные в 1970 году). Замечательно, что у Исаии нет ни Христа, ни престола, ни эпитета — «херувимский», — понятно, почему нет: Исаия не пережил этой темы, как Курбский: он был тогда вне Московии. А что Хворостинин? Он, по-видимому, знал текст Курбского, ибо в его тексте появляется «Христос... сидяй на престоле...», но исчезает эпитет «херувимстем». Это исчезновение правомерно, ибо он (как и Исаия) не был вовлечен в споры о «допустимости изображать силы бесплотные», которые со времени «дела дьяка Висковатого» будоражили общественное мнение, но Исаия был «чужак», а Хворостинин принадлежал другим поколениям, гораздо более светским и «озападненным». Итак, *или общий протограф или Исаия знал текст Курбского*. Как и три запрошенных Кинаном историка, я не могу (пока что) назвать «протограф». Однако, может быть, его и искать не нужно.

Дело в том, что есть полная возможность допустить реальность того положения вещей, от поисков которого, по-видимому, заранее отказался Кинан. Ему следовало бы заняться пересмотром и уточнением *хронологии* данных текстов и соответствующих событий. По-видимому (с этим согласен и Кинан), монастырское заключение Исаии не было строгим: он мог писать, иметь книги, может быть, даже посещения друзей

(а друзья, по некоторым конкретным данным, у него были именно в Москве). После перевода его из суровой северной Вологды в живописный, «мягкий» Ростов его литературная деятельность увеличилась и, по-видимому, в 1566 году он и написал там свой *Плач*, приведший к «математическим» спекуляциям Кинана. И как раз в начале того же года (год считался, начиная с первого сентября) Грозный с семьей и с «царской канцелярией» (время было политически горячее и царь имел под рукой не одного дьяка) побывали на богомолье и в Вологде и в Ростове. Не тогда ли мог Исаия ознакомиться с текстом «грамотки» Курбского? Если даже в Вологде ему присылали «листочки» доброжелатели, казалось бы, что в Ростове сделать что-то подобное было бы еще проще. Нет сомнения, что оригинал письма Курбского и копия ответа Грозного хранились именно в «личной канцелярии» царя. Доброжелатели-дьяки могли показать Исаии *Первое письмо*, являвшееся тогда сенсацией не только литературной. Понятно, это только предположение, рабочая гипотеза, но в ней есть все предпосылки правдивого и естественного объяснения совпадений в двух текстах XVI века. Вероятно, если заняться систематическим пересмотром всех произведений Грозного и Курбского в свете наших теперешних знаний об их веке, это будет полной реабилитацией и Московии — Третьего Рима, а, главное, весь вопрос встанет на твердую почву критически проверенных фактов. Как жаль, что Эдвард Кинан бросил свою огромную энергию и неистощимое воображение на создание *мнимой темы*.

Ник. Андреев, Кембридж

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Б. И. ЭЛЬКИН

5 июля с. г. в Лондоне скончался Борис Исаакович Элькин, один из видных русских юристов и тех представителей русской интеллигенции, которые немало сделали для поддержания русской культурной традиции вне России.

Уроженец Киева (р. 1887), он окончил там классическую гимназию и продолжал образование на юридическом факультете СПб-го университета, где работал в семинарах Туган-Барановского по вопросам политической экономии, и Лаппо-Данилевского, интересуясь, кроме юридических дисциплин, русской и европейской историей.

По окончании, в 1910 году, университета Б. И. вступил в сословие присяжных поверенных, номинально работая в продолжении первых пяти лет, для получения стажа, у И. В. Гессена и у Ил. Бибикова. В Петербурге Б. И. был скоро привлечен также к редакторской работе в журнале «Право».

Б. И. был предан идеям *правового строя*. Он верил в возможность политической и социальной *эволюции* в России, отрицая — с одной стороны — опасную неподвижность автократии, а — с другой — категорически отрицая «полезность» революционности, террора и принципа «насилия, как повивальной бабки истории». Б. И. с юмором вспоминал, как на одном из бурных митингов 1917 года, происходивших в университете, один из радикальных противников его умеренных взглядов произнес речь против «отсталости» Б. И.: «...и пусть товарищ Элькин плетется в хвосте революции...» На эту концовку Б. И. подал реплику: — «А я и в хвосте не хочу...»

В январе 1919 года Б. И. с женой, Анной Александровной, и с сыном, тогда девятилетним, уехали — через Брест — в Германию. Здесь, в Берлине, зная с детства немецкий язык, Б. И. быстро установил ряд деловых контактов. Именно он подал мысль мощному немецкому издательству Ульштейна ор-

ганизовать издание книг на русском языке, — так возникло в Берлине издательство «Слово», — его первыми директорами были Б. И. Элькин, И. В. Гессен и зять Ульштейна — фон Фосс. Издательство напечатало ряд книг русских классиков и современных авторов и издавало ценную серию — «Архив русской революции».

В Берлине у Б. И. установилось много литературных связей. Сердечная дружба связывала его с М. А. Алдановым, воспитанником той-же киевской гимназии. Однако, лично Б. И. оставался «литературным старовером»: Пушкин, Тютчев, Толстой и — из политических писателей — Герцен (сочинения его и литературу о нем Б. И. знал более, чем основательно). Года три тому назад он как-то сказал мне: — «Прутков, конечно, прав — нельзя объять необъятное, — и прилагая его афоризм к литературе, я добавил бы, да и стоит ли стремиться ее «объять»? Я не устаю перечитывать «Войну и мир», но я не хочу тратить оставшееся у меня время на разочарование, знакомясь с чем то ненастоящим, второсортным, ложным...»

Он близко знал лидера октябристов А. И. Гучкова, и стал его душеприказчиком. Был в дружбе с В. А. Маклаковым, быть может самым замечательным оратором России нашего века. Б. И. очень ценил В. Д. Набокова. Но, конечно, наиболее глубокая и преданная дружба связывала его с П. Н. Милюковым и с его первой женой Анной Сергеевной. По смерти Милюкова Элькин стал его душеприказчиком и пронес до собственной кончины величайшее уважение к памяти Павла Николаевича, и как ученого, и как политика, и как человека. Вместе с М. М. Карповичем он отредактировал двухтомные «Воспоминания» Милюкова, изданные в 1955 году Чеховским издательством. В течение многих лет Б. И. искал издателя для последней законченной работы Милюкова — второй части первого тома его «Очерков по истории русской культуры», где совершенно по новому и с большой глубиной анализа поставлен вопрос о восточных славянах и древнейших этапах истории России, — книгу удалось издать в 1964 году. Как раз в период подготовки рукописи для еще неизвестного издателя и состоялось мое знакомство с Борисом Исааковичем.

Два наших общих друга, мои увлекательные, в течение нескольких лет, собеседники в Англии по вопросам истории России, барон А. Ф. Мейендорф, бывший товарищ председателя

III-ей Государственной Думы и Лев Сергеевич Лёвенсон, когда-то ученик С. Ф. Платонова, специалист по истории эпохи Петра Великого и выдающийся книговед, создавший первоклассные русские книжные собрания сначала в Берлинском, а затем в Лондонском университетах, выставили перед Б. И. мою кандидатуру, как возможного редактора этого последнего милюковского «опуса», поскольку — благодаря моей работе в пражском институте имени Н. П. Кондакова и некоторым циклам моих лекций в Кембриджском университете — я был в курсе проблем, изученных Милюковым (между прочим, именно я подбирал для Милюкова необходимые археологические отчеты в кондаковской библиотеке, когда в половине 30-х годов он начал собирать материал для этой книги, поразив даже кондаковцев систематичностью и неутомимостью в работе). С Б. И. Элькиным у меня оказался общий язык не только искателей исторической истины, но и той строгой методологической выучки, которая характерна для русских историков. Мы благополучно издали книгу Милюкова (при этом Б. И. провел всю хлопотливую, чисто техническую сторону подготовки текста к печати) и — скажу не без гордости — при этом мы подружались, несмотря на разницу возраста и несмотря на то, что мы не всегда совпадали в точках зрения. Оказалось, что выдающийся юрист был знатоком русской и европейской истории и, в частности, «живой энциклопедией» по истории конституционного периода российской монархии: немудрено, что многие западные историки старались «черпать» из точнейшей памяти Б. И. факты о событиях и лицах 1905-1917 годов. К сожалению, Б. И. не оставил записанных воспоминаний, но все, что он напечатал (как будто-бы, главным образом, по-английски), полно первостепенного значения, — будь то очерки по истории предреволюционной интеллигенции, оценки политических вождей того времени, материалы о попытках возродить русское масонство в нашем веке или критические, подчас беспощадные, заметки и статьи в связи с публикациями по истории России.

В моей памяти навсегда запечатлелся не только внешний облик Б. И. — его сухошавая, чуть сутуловатая фигура, пронизательные и часто насмешливые глаза, поблескивающие стекла очков, «чеховское обличье лица», сдержанный жест, подчеркивающий какой-то оттенок мысли, но и внутренние

образы его, как остроумного собеседника, строгого докладчика, великолепного и опасного полемиста, как внимательного и верного друга, по старинному учтивого хозяина, как русского патриота, всегда жадно следившего за событиями в России, культуре которой он продолжал всячески служить, сохраняя живыми традиции русской дореволюционной интеллигенции в гостеприимнейшем доме Элькиных.

Ник. Андреев, Кембридж, 1972.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЛЕНИН И 1917 ГОД

(Письмо в редакцию)

Настоящая статья — ответ на отзыв А. Авторханова о моей книге «Революция 1917 года глазами ее руководителей» (Новый Журнал № 107). После общих похвал, которыми А. Авторханов меня награждает, он говорит, что в моем толковании некоторых фундаментальных вопросов я «механически повторяю некоторые предрассудки, укоренившиеся в западной литературе о революции, о большевицкой партии и о Ленине». Авторханов останавливается подробно на трех таких «предрассудках», хотя дает понять, что я неблагополучен и в других случаях. Эти «предрассудки», которые якобы «легко опровергаются документами эпохи», следующие: 1) Вопрос о неожиданности февральской революции для Ленина. 2) Позволительно ли Ленина назвать «бланкистом» и «бакунином». 3) Мое толкование роли Ленина, Троцкого и Цека большевицкой партии в октябрьском перевороте. Не скрою: «предрассудки», о которых тут идет речь, действительно можно найти у некоторых, на мой взгляд, лучших западных и эмигрантских авторов; однако, они не «опровергаются», а, наоборот, подтверждаются «документами эпохи».

Была ли февральская революция для Ленина неожиданной? Разумеется, в статьях, книгах и резолюциях Ленин и его «агенты» в России (как Шляпников) говорили и писали, что Россия и Европа «чреваты» революцией. Но что означало слово «чреваты» в ленинском понимании? Ведь нельзя забывать, что Ленин *прежде всего* был главным агитатором и вождем своей партии. Он *всегда* (даже тогда, когда он в это мало верил) считал своей *первейшей* обязанностью «вдохновлять» своих соратников, указывая им путь даже

тогда, когда очертания его маячили весьма смутно. Нет поэзму ничего удивительного в том, что в своих статьях и книгах тех лет, Ленин твердил о неизбежности революции.

А что другое мог говорить Ленин своим сообщникам? И тем не менее, даже у этого прирожденного пропагандиста, который обычно говорил только то, что в его понимании было полезно для «дела», для «партии» — даже у Ленина вырывается за *два месяца* до революции фраза, свидетельствующая, что при всей их «чреватости» Россия и Европа не находятся в состоянии кануна революции. «Мы старики до революции не доживем»; а ведь Ленин тогда вовсе не был стариком; ему было всего 46 лет.

Каюсь, я действительно взял эту цитату о «стариках» не у самого Ильича, а у Мельгунова, т. е. из вторых рук. Но вопреки утверждению Авторханова, Мельгунов не исказил мысль Ильича, даже, когда он взял эту цитату «из контекста»; продолжение цитаты, которую приводит Авторханов, не меняет ее политического смысла.

Для Ленина и тем более для Шляпникова (свидетельство которого Авторханов приводит) революция *была неожиданной*. Я привожу свидетельства Покровского, Каюрова (видного члена Петроградского Комитета), которые все признают, что партийных большевиков революция застала врасплох; я рассказываю о поведении большевика Юренева на квартире Керенского; там Юренев пытался убедить всех присутствовавших представителей других партий в том, что вспыхнувшие «беспорядки» вызваны «провокацией» и уже идут на убыль. Аналогичное положение было в Москве. Местные большевики — Скворцов-Степанов, Ольминский, Землячка, Ярославский, Ногин — были событиями застигнуты врасплох; это подтверждается их воспоминаниями.

Второе. Был ли Ленин бакунином и бланкистом, как я утверждаю в моей книге? Я полагал, что не должен был объяснять читателям, тем более такому знатоку большевизма как А. Авторханов, в каком смысле я это думал. Разумеется, теоретически или мировоззренчески, Ленин, конечно был антиподом Бакунина. В то время как первый был якобинцем, централистом и по своему мышлению тоталитарен, и ко всему прочему «марксист», второй мировоззренчески был федералистом, народником, анархистом, требуя той «абсолютной свободы», которая, как мы знаем, привела к «абсолютному рабству». Однако, в практической политике Ленин в 1917 году и до окончания гражданской войны развязывал стихию по бакунински, одновременно, разумеется, укрепляя диктатуру и свою собственную и верхушки своей партии. Такие лозунги как «превращение империалистической войны в войну гражданскую», «грабь награбленное» или «мир хижинам — война дворцам», были типично анар-

хистски-бакунинскими; именно они, особенно в деревнях и в армии, сыграли решающую роль в победе Ленина. Этот «анархизм» Ленина, кстати, ввел в заблуждение и левых эсеров и махновцев. Первые очень действенно помогли ему захватить власть и удержать ее в самый критический (для большевиков) момент; вторые тоже, как мы знаем, воевали не только *против* Ленина, но и *рядом* с ним. Ленин был, в этом отношении, очень сложной политической фигурой; его главная сила, как тактика, состояла в том, что он в нужный для него момент мог менять тактику и политику и этими новыми тактическими приемами дезориентировать и обмануть своих противников. Ленин, как политический тактик, не был догматиком и этой своей стороной он отличался от других лидеров русской интеллигенции, которые были всегда привязаны к принципам и догмам.

О том, что Ленин был *также* (но не только) бланкистом, едва ли следует доказывать. Это утверждение в литературе, посвященной ленинизму и большевизму, стало общим местом. Ленин строил свою партию, захватил и удержал власть по бланкистски и нечаевски. Между бакунински-нечаевским «Катехизмом» и ленинским «Что делать?» по существу очень маленькая разница. Согласно Бланки и его русскому последователю и ученику Ткачеву, сознательное и сплоченное меньшинство революционеров может захватить и удержать власть — при условии, если после захвата ее оно проведет определенные меры в пользу народных масс. Ленин именно это и сделал. Свою партию он фактически создавал по бланкистско-ткачевскому образцу (спаянные профессиональные революционеры); власть он захватил, по бланкистскому рецепту, ибо октябрьская «революция» была по существу не революцией, а заговором, в котором рабочие массы и даже солдаты петроградского гарнизона принимали самое небольшое участие. Суть не в том, что Ленин руководил заговором больших, а Бланки малых размеров. Суть в принципе; кстати, не все большевики с партбилетами были активными заговорщиками. Активное ядро, вероятно, не превышало нескольких тысяч.

Теперь мы подходим к главному вопросу, с которым А. Авторханов со мной не соглашается. Кто руководил большевизмским заговором и выступлением — центральный комитет партии большевиков, как утверждает Авторханов, или как утверждают другие — в том числе и я, что этим заговором руководили Ленин, Троцкий и группы активистов, объединившихся вокруг Ленина и Троцкого — и в партии и в руководстве Петроградского Совета и его ВРК (Военно-революционного Комитета). В моей книге разобрано поведение главных членов ЦК в отдельности; из этого разбора явствует, что за исключением Ленина, который в те дни был в подполье, Троцкого, который руководил Петроградским Советом и его ВРК, Свердлова, который обычно председательствовал и редко высказывал свое личное

мнение (если у него такое было), молчаливого Бубнова — многие другие члены ЦЕКА колебались, пытались откладывать решение, увиливали. Ведь это же факт: Зиновьев и Каменев были против восстания; Сталин, занимавший уклончивую позицию в эти дни, совершенно пропал в ночь на 25 октября. Даже будущие чекисты, как Дзержинский и Урицкий, приступают «к руководству» только после 25-го октября, когда положение более определилось. Аналогичное положение было и в Москве. Члены ЦК — Рыков, Ногин, Ломов, Милютин там действовали неохотно и только после того как в Петрограде выявилась «победа». С другой стороны, кто в эти дни у большевиков выдвигается на первый план? Кто действительно руководит «восстанием», т.е. занятием учреждений и арестом их противников? В основном это были не члены ЦК. Руководители военной организации и красной гвардии Подвойский, Невский, Антонов-Овсеенко, Благонравов; глава фабзавкомов Скрипник; вожаки Кронштадта и Балтийского Флота, Раскольников, Рошаль, Дыбенко, Смилга; один из главных «вождей» дезертиров разлагающейся армии Крыленко; твердокаменные партийцы Петроградского Комитета типа Бокия, Шотмана, Рахиа, Залезского, Свешникова, Каюрова; латыши Берзинь (кажется был членом ЦК) и Петерс; Володарский, активисты ВРК Лашевич, Мехоношин.

Ленина трудно было обмануть словами и голосованиями. На «историческом» заседании ЦК от 10-го октября он «констатирует (я цитирую протокол ЦК), что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании... Время (говорит он с упреком по адресу ЦК) значительно упущено». Бичуя халатность своих товарищей по ЦК, напоминая, что все его предложения остаются без ответа, скрывающийся в подполье Ленин, наконец рассматривает отношение к нему своих товарищей из ЦК как «предложение удалиться» и «заявляет о своем выходе из ЦК», предупреждая, что он оставляет «за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии».

Что означало в ленинском понимании «в низах»? Этот вопрос еще никем (насколько мне известно) не расшифровывался. Нельзя же эту фразу и этот акт (выход из ЦК) понимать буквально. Ведь не мог же живший в подполье Ленин выступать на митингах перед «низами», т.е. рабочими, или участвовать в каком-то съезде, который никто тогда не организовывал. Мне думается — и это вполне подтверждается и документами и общей обстановкой тех недель и дней, что «низы», в его понимании, были, преимущественно, те упомянутые мною (и многие другие) активисты — ленинцы и межрайонцы-троцкисты, которые готовы были за захват власти не только голосовать, но и его действительно осуществить. Эти большевики с якобинско-террористической психологией действительно в те дни от-

тесняют цекистов и становятся во главе всех военно-политических и заговорщических выступлений. Ленин начинает игнорировать ЦК и входит в прямую связь с Подвойскими («подвойщина» была для Ленина символом крайней, немного даже слишком левацкой революционности), Невскими, Антоновыми, Смильгами и т.п.

Мне трудно понять почему А. Авторханов придает, вопреки документам и создавшейся в те дни обстановке, такое значение Цека. Ведь начиная с 1912 года, когда большевицкая партия полностью и формально отделилась от меньшевиков, Цека — как впоследствии советы и профсоюзы — стал, за некоторыми исключениями (накануне Октября, Брестский мир, профсоюзная дискуссия, а потом съезды где ликвидировали оппозиции) не чем иным как «приводным ремнем». Даже до революции, большевик не мог стать членом Цека без одобрения Ленина. Ленин был почти абсолютным диктатором в своей партии уже *до* революции. Повторяю, только в критические предоктябрьские недели, и в дни Брестского мира, Цека играл (очень короткое время) самостоятельную роль. Что касается после-ленинского периода, то никто лучше не описывает бессилие, ложное положение и страшную обреченность не только членов Цека, но и членов Политбюро, как сам А. Авторханов в своей «Технологии Власти». Именно там так выпукло и ярко показан весь трагизм тогда еще «равных» членов Политбюро — Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова и других, которые уже тогда — в двадцатых годах — фактически были орудием в руках «личного кабинета» или «личного секретариата» Сталина, где тогда еще молодые Маленковы и Поскребышевы *фактически* выполняли волю Сталина вопреки не только Цека, но и Политбюро.

По-моему трактовка данная А. Авторхановым, вопреки его воле, перекликается с официально-советской. Именно в советских трудах «доказывается», что мудрейший и проницательный Ленин точно предвидел возникновение революции и все ее этапы; в этих же трудах, особенно в сталинские годы, внедрялось всем, что октябрьский переворот инспирируемый Лениным, провел анонимный Цека. Такая трактовка была выгодна Сталину и его сообщникам, ибо они могли прикрыть свою колеблющуюся позицию авторитетом Цека. Наконец, в официальных биографиях Бакунина, Ткачева и Нечаева есть немало критических замечаний по их адресу. Тем не менее, в Ленине крепко совмещались своеобразные Маркс и Бакунин с доморощенными Ткачевым и Нечаевым. Кстати, известно, что Ленин с уважением и любовью говорил о Нечаеве. Разве это могло быть иначе? Ленин построил свою партию по бакунински-нечаевски-ткачевскому и бланкистскому принципу.

В заключение, не могу не согласиться с А. Авторхановым, что не все «глаза» показаны в моей книге. К сожалению я был ограничен

местом. Надеюсь, этот недостаток будет исправлен в иностранных изданиях.

Д. Анин

ОТВЕТ Д. АНИНУ

1. Единственный аргумент Д. Анина против моей критики «предрассудков» — это его замечание, что критикуемые мною «предрассудки» есть мнение «лучших западных и эмигрантских авторов», которое якобы подтверждается «документами эпохи». Оставим в стороне «лучших западных авторов», а обратимся к существу дела. Где и какие документы подтверждают названные «предрассудки»? Таких документов нет. Может быть, Д. Анин считает документами мемуары и запоздалые самооправдания, хоть и весьма честных людей, но политических банкротов «революционной демократии»?¹

2. Д. Анин пишет: «Ленин строил свою партию по-бланкистски и по-нечаевски... Суть не в том, что Ленин руководил заговором больших, а Бланки малых размеров. Суть в принципе». Извините, бывают ситуации, когда суть как раз не в принципе, а в «размере»: стреляли ли в вас из пистолета или из пушки, — разница все-таки есть, хотя в обоих случаях «принцип» — стрельба — один и тот же.

3. Д. Анин пишет, что Ленин «захватил власть заговором». Если тут речь идет о «заговоре» в классическом смысле этого термина, то такое утверждение я отношу тоже к числу предрассудков. Что значит «заговор»? Вот его определение: «Заговор — соглашение между *несколькими лицами* о плане действий для достижения преступной цели» («Энцикл. словарь», Брокгауз-Ефрон, С-П., 1894, стр. 116). В этом смысле Д. Анин и пишет о «заговоре».

Слов нет, что цель — преступная (свергнуть существующую власть), но в ее осуществлении участвуют не «несколько лиц» (по Анину Ленин, Троцкий и «группа активистов» вне ЦК), а 350 тысяч зарегистрированных большевиков-«заговорщиков». Но даже сам «заговор» происходит не тайно, а явно, на глазах Временного правительства и лидеров «революционной демократии» без всякого сопротивления с их стороны. Все «документы эпохи» в один голос подтверждают свидетельство Н. Суханова: «21 октября Петроградский гарнизон признал единственной властью Совет... Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны...» (Н. Суханов, «Записки о революции»,

¹ Нам неясно, почему исторические труды Троцкого, Суханова и др. «банкротов октября», которые он цитирует, А. Г. Авторханов признает документами, исторические же труды Милюкова, Церетели и др. «банкротов февраля» документами не считает. РЕД.

кн. 7, стр. 46-37, 101). Это значит, за четыре дня до октябрьской революции Военно-революционный комитет открыто, а не заговором объявлен властью в столице (Троцкий был прав, когда утверждал, что октябрьская революция собственно произошла уже 21, а не 25 октября 1917 года).

Троцкий писал, что Военно-революционный Комитет вел подготовку восстания не только через его комиссаров, но и по телефону: «Все переговоры (начать восстание, А. А.) ведутся по телефону и полностью доступны агентам правительства. Способны ли они, однако, еще контролировать наши переговоры?» (Троцкий, Моя жизнь, ч. II, стр. 45). Что же это за «заговор», который готовится открыто и по правительственным проводам и о котором знают газеты?

4. Анин пишет, что в «заговоре» Ленина-Троцкого и «группы активистов», «рабочие массы и петроградский гарнизон приняли небольшое участие». Совершенно правильно. В июльском восстании участвовало около 500 тысяч солдат и рабочих Петрограда и оно было тем не менее подавлено, но теперь нужды в такой большой массе не было. Почему? Вот свидетельство Суханова: «Сопротивление не было оказано. Начиная с двух часов ночи, небольшими силами, выведенными из казарм, были *постепенно* заняты вокзалы, мосты, осветительные учреждения, телеграф... В общем военные операции были похожи скорее на смену караулов в политически важнейших центрах города... Не было зарегистрировано ни одной жертвы... Город был совершенно спокоен» (Суханов, там же, стр. 160). Когда и в какой стране Д. Анин видел столь странный «заговор», который происходит «постепенно» и на протяжении четырех дней? А что делала «революционная демократия» в ответ на «заговор»?

Керенский уехал 25 октября за «верными войсками» на фронт (которых он не нашел), Чхеидзе и Церетели еще раньше уехали к себе на Кавказ отдыхать (нашли время!), а оставшиеся в Петрограде министры Керенского затеяли перманентное заседание, пока матросы его не закрыли. Ленин это называл «триумфальным шествием советской власти». Д. Анин все это тоже называет «заговором»? Легенду о «заговоре» сочинили задним числом банкроты Февраля, чтобы создать себе алиби за свое преступное бездействие, а «лучшие западные авторы» ее только повторяют.²

² А. Г. Авторханов опровергает понятие «заговора» в приложении к октябрьскому перевороту только в смысле «техническом», что, мы думаем, не так существенно. Гораздо существенней, что «октябрь» был идейным заговором против исторической России, против февральской (национальной) революции, против февральских гражданских и политических свобод, против крестьянской «земли и воли», против русской демократии, против Учредительного собрания. При

5. Д. Анин теперь согласен, что «Ленин твердил о неизбежности революции», но Ленин «обычно говорил, что в его понимании было полезно для 'дела', для партии», то есть Ленин говорил о предстоящей революции, но сам не верил в ее неизбежность. Если это действительно так, то тогда ленинизм не учение о партии, революции и диктатуре.

6. Мое недоумение вызывает следующее заявление Д. Анина: «Мне трудно понять, почему Авторханов придает, *вопреки документам*, такое значение ЦК». Д. Анин написал о ЦК в своей книге менее четверти страницы. Я на тему «Ленин и ЦК» написал монографию более сорока печатных листов на основе самого внимательного изучения и критического анализа буквально всех официальных документов партии, ее съездов, высказываний ее лидеров (она выйдет по-русски под названием «Триумф и гибель ленинского ЦК»). Я считаю, что Д. Анин допускает в споре со мною большие ошибки. Вот только некоторые из них: 1) «Ленин был почти абсолютным диктатором в своей партии уже до революции». Это неверно. Документов против этого очень много. Когда почти то же самое написал в 1921 году А. Иоффе, то Ленин ответил: «Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «ЦК, это я»... Старый ЦК (1919-1920) побил меня по одному из гигантски важных вопросов, что Вы знаете из дискуссии. По вопросам организационным и персональным несть числа случаям, когда я бывал в меньшинстве. Вы сами видели примеры тому много раз, когда были членом ЦК» («Ленинский сборник», XXXVI, стр. 208, 1959). Может быть, Ленин «скромничает»? Тогда возьмем свидетельство Троцкого: «Фактический авторитет Ленина в партии несомненно был большой, но ни в коем случае он не был неограниченным. Он не был и позже, после Октября, неограниченным» (Л. Троцкий, «История русской революции», немецкое издание, стр. 257);³ 2) «Сталин, занимавший уклончивую позицию в

чем для этого Ленин оперировал обманными лозунгами — «вся власть советам», «земля крестьянам», «фабрики рабочим», «война войне», «мир хижинам — война дворцам» и т. п. Это был, конечно, заговор для обмана народа «хрустальным дворцом» (по Достоевскому) и для установления над ним большевической диктатуры, при которой Россия рассматривалась Лениным только как трамплин для прыжка в «мировую революцию». С этим, думаем, А. Г. Авторханов согласен. РЕД.

³ Цитаты из ответа Ленина Иоффе и из «Истории» Троцкого нам не кажутся убедительными. Во-первых, если Иоффе говорил о диктатуре Ленина в партии, то, стало-быть, дыма без огня не было, ибо Иоффе был видным большевиком, хорошо знавшим кухню своей партии. О том же «самодержавии» Ленина в партии после октября

эти дни, совершенно пропал в ночь на 25 октября», пишет Анин. Неверно, во-первых, Сталин по вопросу о восстании «в эти дни» никакой уклончивой позиции не занимал, он был за восстание, во-вторых, он, согласно тому же Троцкому, не «пропал», а находился в редакции Центрального органа партии («Рабочий путь»), которым он руководил (Троцкий там же, стр. 653). Передовая статья газеты от 24 октября о необходимости свергнуть власть Временного правительства написана Сталиным (Сталин, соч. т. 3, стр. 387); 3) «Даже будущие чекисты, как Дзержинский и Урицкий, приступают «к руководству» только после 25 октября». Неверно. Как раз Дзержинский и Урицкий беспрерывно участвуют на всех заседаниях ЦК с сентября, они же вместе со Свердловым, Бубновым и Сталиным назначаются членами того «Военно-революционного центра», созданного ЦК 16 октября для руководства от имени ЦК действиями Военно-революционного комитета по перевороту (см. «Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 104, 1958). Они участвуют вместе с Каменевым и на решающем заседании ЦК от 24 октября и из Смольного руководят теми «активистами», всеми этими Подвойскими, которых Д. Анин считает «руководителями» восстания, тогда как они были лишь исполнителями. Над каждым из них, в том числе и над Троцким, стоял и руководил ЦК.

Будь в России сто лениных и тысяча троцких, но без ЦК октябрьской революции не было бы.⁴ У Ленина бывало много конфликтов и даже много поражений в борьбе за гегемонию в ЦК. Но из всех этих конфликтов, как я пишу в предисловии к уже упомянутой монографии, Ленин выходил в каждом случае, в конечном счете, победителем, ибо Ленин был не просто большевиком, а необыкновенным

писал, например, быз. торгпред в Италии, старый большевик А. Д. Нагловский. Троцкий писал свою «Историю», будучи уже выброшен Сталиным на Запад и естественно, что о диктатуре Ленина в партии после октября — писать не мог. Но *до революции* Троцкий писал очень резко и именно о диктатуре Ленина в партии. На эту тему писали и Плеханов, и Мартов и др. РЕД.

⁴ Мы держимся как раз обратного мнения: будь в России ЦК и тысяча Троцких, но не будь в ней *одного Ленина*, октябрьского переворота бы не было. Тут вряд ли могут быть даже споры. Роль Ленина, как идеолога и вождя большевиков достаточно известна. Недаром управдел совнаркома Бонч-Бруевич после покушения Фани Каплан на Ленина писал о том, что если бы случилось «непоправимое» партия без Ленина вряд ли смогла бы удержать власть над страной. Да и сам А. Г. Авторханов несколькими строками ниже пишет и о «гегемонии» в ЦК и о «необыкновенности» этой фигуры. РЕД.

большевиком, который в одной руке держал Маркса, а в другой — Макиавелли.⁵ Если я воздаю такому Ленину должное и как политического стратега ставлю его выше всех лидеров февральского режима, то за это Д. Анин переселяет меня по соседству к советским историкам. Мне ничего не остается делать, как жить в этом не очень приятном соседстве.

А. Авторханов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНИЙ КН. ВАСИЛЬЧИКОВА О СОБОРЕ 1917/18 ГОДА

В номере 102 «Нового Журнала» напечатаны воспоминания кн. И. Васильчикова о Соборе 1917/18 года. Кн. Иллариона Сергеевича я хорошо знал и по России, он был коллегой моего отца по Государственной Думе, и бывал у нас в Петрограде, и по югу Франции, где он был нашим соседом в первые годы эмиграции в Болье.

Многое, что касается деятельности Собора теперь забывается и участников его кажется нет ни одного в живых, тем важнее, чтобы воспоминания членов, написанные по памяти через много лет, восполнялись документальными данными. Как историк и, в частности, историк Собора 1917/18 года, посвятивший ему несколько статей и собравший значительный материал о его работе, должен сделать в статье кн. Васильчикова ряд исправлений и необходимых уточнений.

Вопрос о созыве Собора был поднят не после кончины Победоносцева, а в 1903 году, когда был издан закон о веротерпимости и распечатаны храмы старообрядцев. Тогда же имп. Николай II высказал пожелание о созыве Собора Русской Православной Церкви, но К. П. Победоносцеву удалось добиться отсрочки его на неопределенное время. «Предсоборное присутствие» было создано не под председательством арх. Платона (Рождественского), который тогда был в Америке, а арх. Сергия Финляндского (Старгородского). Оно не выясняло порядка представительства на Соборе и его программу,

⁵ Верно. Нам думается, что правильнее всего определил Ленина бив. член Гос. Думы, ныне проживающий в СССР, В. В. Шульгин. Он назвал Ленина — «гениальной гориллой». Общеизвестно (после опубликования документов германского министерства иностранных дел), что, как политический стратег, «гениальная горилла» для успеха «октября» пользовалась десятками миллионов золотых немецких марок, полученных Лениным от германского генерального штаба. Никто из лидеров февральского режима ничего подобного сделать, конечно, никогда бы не мог. РЕД.

как пишет кн. Васильчиков, а произвело опрос всех епархиальных архиереев и собрало богатый материал о нуждах епархий и приходов. После окончания работ «Присутствия» было учреждено в 1912 году «Предсоборное Совещание», по инициативе Оберпрокурора В. К. Саблера и моего отца, выступавшего несколько раз по этому вопросу в Государственной Думе. После Революции не было возобновлено «Предсоборное Присутствие», а учреждено совершенно новое установление «Предсоборный Совет», который поручил дело подготовки Собора экзарху Грузии архиепископу Платону. Совет выделил 10 комиссий, которые и разработали всю программу Собора.

На стр. 142 сказано, что выборы на Собор были назначены на конец августа, тогда как Собор был торжественно открыт и начал свою работу 15 августа, в день Успения Б. М.

В статье сказано, что летом 1917 г. скончался митрополит Макарий и на его место был избран архиепископ Литовский Тихон. Митр. Макарий был уволен на покой Оберпрокурором Временного Правительства В. Н. Львовым в начале революции и прожил еще много лет. Патр. Тихон дал ему титул митрополита Алтайского.

Собор открылся не в середине сентября и не в зале Синодального Ведомства, а в Храме Христа Спасителя. А заседания происходили в здании Московской Семинарии в Лиховом переулке. Делегации к революционным властям по поводу нейтральности Собора не было и тем более не было согласия на признание за Собором нейтральности. В Военно-Революционный Комитет, который управлял Москвой, ходила делегация Собора во главе с митрополитом Платоном, чтобы добиться освобождения взятых в плен защитников Кремля, которым угрожал расстрел.

Представители Собора не были допущены в Кремль при его занятии революционными отрядами и поэтому они и не могли принять на себе охрану кремлевских святынь. Кн. И. Васильчиков пишет, что все святыни Кремля были ограждены от расхищения, тогда как, наоборот, при двукратной бомбардировке очень многое было разрушено, а святыни и разграблены и осквернены. Через несколько дней после бомбардировки Собор послал в Кремль Комиссию во главе с епископом Нестором Камчатским, который обнаружил полное разграбление святынь и осквернение храмов. Было составлено подробное описание всех разрушений и издано в декабре 1917 года в Москве. Из 10 тысяч экземпляров сохранилось очень мало, так как власти сожгли их в типографии. Еп. Нестор переиздал целиком отчет с многочисленными иллюстрациями по экземпляру, который он вывез в Японию. У меня имеется один экз. этого издания 1921 года.

Настолование (интронизация) патриарха Тихона была совершена в Успенском Соборе, так как к этому времени удалось привести его в порядок и затянуть пробоины в куполе брезентом. Вы-

боры не могли быть устроены там, так как тогда Кремль был еще полон разрушений. К тому же арх. Анастасий настаивал, чтобы выборы были публичными и на них могло бы собраться наибольшее количество народа. Поэтому они и были назначены в храме Христа Спасителя.

При интронизации патриарх надел в конце литургии не мантию патр. Никона, а зеленую мантию патр. Филарета и куколь, а не клобук патр. Адриана. Первая сессия Собора закончилась 9 декабря, а вторая началась 21 января 1918 г., а не после Пасхи, как пишет кн. Васильчиков. Она закончилась перед Пасхой, 7 Апреля и на ней были приняты самые главные решения об устройстве Церкви. 20 января патриарх обратился со своим посланием к русскому народу и к властям, а 21 такое-же послание выпустил Собор. 3-я сессия, летом 1918 года, была краткой и на ней было принято только несколько менее важных решений.

П. Ковалевский

Милостивый Государь, господин Редактор.

Разрешите мне обратиться к вашим читателям со следующей просьбой. Я готовлю к печати био-библиографию русской богословской зарубежной литературы и был бы очень признателен за сведения о ниже перечисленных лицах, о годах их рождения или смерти и о месте их теперешнего пребывания.

Протопресвитер Василий Виноградов, Германия. Князь Жевахов, бывший товарищ обер-прокурора Синода, Бари. Италия. А. А. Ивановский, Мюнхен. Прот. Леонид Кольчев, Дания. Д-р А. Крылов, Висбаден. Д-р Лозино-Лозинский, Рим. К. Н. Николаев, Америка. Быв. юрисконсульт Прав. церкви в Польше. Н. А. Реймерс, Париж. Борис Ширяев, Италия. Прот. А. Рождественский, София. Прот. Василий Шустин, Югославия. Граф А. А. Салтыков, Германия. Н. Сергиевский. Н. А. Сетницкий, Харбин. Проф. Иринарх Стратонов, Германия. И. К. Сурский, Югославия. Прот. Георгий Чельцов. Прот. Иоанн Чернавин, Франция и Америка.

Уважающий вас Николай Михайлович Зернов, 1 авг. 1972.
I, Canterbury Road. Oxford. OX2-6LU. England.

БИБЛИОГРАФИЯ

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ. ВТОРАЯ КНИГА. ИМКА ПРЕСС, ПАРИЖ, 1972 (712 стр.).

«Вторая книга» Надежды Мандельштам многотемна и многогранна. Разнообразие продуманного материала, глубина осмысления долгой, очень трудной и сложной жизни — таковы общие черты книги. Книга представляет собой как бы второй том биографии О. Э. Мандельштама, выдающегося поэта двадцатого века. Одновременно, книгу можно рассматривать, как «двойную автобиографию». Жизнь и творчество Мандельштама до такой степени переплетены с жизнью автора книги, что между ними невозможно провести границу. Условно, содержание книги можно разделить на ряд основных пластов. 1) Мандельштам и его эпоха. 2) Работа Мандельштама в поэзии, его художественное кредо, его концепция культуры и истории. 3) Судьба автора книги после гибели Мандельштама, судьба литературного наследия поэта. 4) Обобщённый портрет эпохи, осмысление судьбы России за годы советской власти, острый анализ политического и культурного положения, личный опыт автора, накопившего массу непосредственных наблюдений. 5) На протяжении книги автор даёт уничтожающую характеристику советского режима, планомерной расправы с русской интеллигенцией.

Россия в книге Н. Мандельштам показана в процессе уничтожения людей, нравственных и культурных ценностей, самой мысли, как проявления основного человеческого свойства. Книга Н. Мандельштам является страшным ударом по всей системе, она подрывает самые основы коммунистической идеологии. Все эти пласты представляют неразрывное и чрезвычайно логичное целое. Работа Мандельштама в поэзии показана не только на фоне страшной эпохи, но в живых реакциях на неё, в постоянном стремлении поэта сохранить свою самостоятельность, индивидуальную независимость лица и голоса и одновременно выразить свое время художественными средствами. В период террора, издевательства над человеческой личностью, над личностью поэта, Мандельштам сохраняет верность художественному слову, волевою целеустремлённости художественного поиска, строгость к себе и высоту нравственных критериев.

Осип Мандельштам — поэт огромного диапазона, напряжённости, образного богатства и философской глубины. Его становле-

ние в поэзии неотделимо от школы акмеизма. Внутреннее родство, больше того, своего рода орденское братство с Гумилёвым и Ахматовой он пронёс через всю жизнь. Верность акмеизму он понимал глубже простой принадлежности к школе — оно было для него символом верности искусству, истории, культуре и нравственному императиву. В то же время, акмеизм Мандельштама отличается специфическими, очень яркими чертами. Образная мысль Мандельштама идёт обычно по линии звукословесной ассоциации, он обладает особо глубоким чувством культуры, истории и вечности; эти понятия составляют для Мандельштама характерное единство. Несмотря на то, что основной формой художественного выражения для Мандельштама было лирическое стихотворение, по природе своего дарования он несомненно близок эпосу, в широком смысле, и при том, с трагедийным уклоном.

В главе «Культуропоклонство» Н. Мандельштам пишет: «Сила, которую христианство даёт искусству, заключается в уверенности в личном спасении». Там же приводятся слова Мандельштама, определяющие одно из его центральных убеждений, и одновременно, его место в мире явлений и ценностей «С улыбкой говорит христианский мир Дионису — что ж, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я весь — цельность, весь — личность, весь — спаянное единство». В концепциях Мандельштама, в его оценках явлений культуры, христианство занимает таким образом, одно из центральных мест. Полемизируя с В. Ивановым, Мандельштам как бы предвосхищает позднейший путь Иванова, который к концу жизни оказался в лоне католицизма. «Рим потому место человека во вселенной, что это — центр исторического христианства». Но согласно Н. Мандельштам, путь самого Мандельштама был иным. К христианству он шел в направлении обратном В. Иванову. Первоначально пройдя через увлечение католицизмом, он затем воспринял христианство в его православной русской, а не византийской форме. Отталкивание от византизма у Мандельштама общее с В. Ивановым. Н. Мандельштам как бы продолжает полемику с В. Ивановым, высказывая ряд интересных критических замечаний о характере ивановского мирозерцания.

Художественная концепция О. Мандельштама возникала из переживания явлений культуры, как победы над временем, как «застывшего мгновения» истории, как процесса создания ценностей, имеющих непреходящее значение, и современной ему эпохи — как жесточайшей проверки человека на стойкость, независимость и нравственную силу. Религиозно-философские взгляды Мандельштама неотделимы от его художественного мирозерцания. Апогеем и смыслом мировой истории для Мандельштама является христианство. Автор книги особенно подчёркивает эту мысль и развивает её. «И Евхаристия,

как вечный полдень длится». Эти слова являются как бы квинтэссенцией мирозерцания поэта. История по Мандельштаму оформлена христианством. Христианство же как бы отменило время за ненужностью, так как на смену ему с момента явления Христа приходит иная, вневременная форма бытия. Христианство есть одновременно последний смысл жизни человека и мироздания.

Надежда Мандельштам не только мастерски излагает мирозерцание поэта, она творчески развивает, как бы додумывает его, тем самым завершая творческую жизнь, безвременно оборванную в концлагре.

Книга Н. Мандельштам — ярчайший документ страшной эпохи. Сохранение литературного наследия поэта в период непрерывных обысков, уничтожения людей, фальсификации ценностей потребовало от автора колоссального напряжения сил и подвижнической преданности делу. Сохранение, спасение наследия Н. Мандельштам считает главной задачей своей жизни. Она выражает глубокое удовлетворение тем, что благодаря деятельности иноземных друзей Мандельштама его стихи и проза увидели свет и что ей самой удалось не только сохранить его наследие, но и написать о нём.

Во втором разделе книги помещён ряд «отступлений» по ряду вопросов теории и истории современной русской поэзии, а также текстологии произведений Мандельштама. Одновременно эти «отступления» можно считать развёрнутым комментарием к Мандельштаму. Комментарий остро интересен и представляет большую ценность не только для текстолога и литературоведа, но для всех, интересующихся русской поэзией. Мандельштам часто пользовался приёмом шифра. Это особенно увеличивает ценность комментария. Раскрывая контекст, а иногда и самый процесс возникновения стихов, Н. Мандельштам выполняет задачу, которую в таком объёме могла выполнить только она.

«Вторая книга» — свидетельство, больше того, она своего рода религиозное исповедание. Можно даже сказать — двойное исповедание верности нравственным ценностям, культуре, акмеизму, так как голос погибшего поэта все время слышится со страниц книги, он неотделим от голоса автора. О. Мандельштам показал себя человеком исключительной моральной твёрдости. Именно по этому его гибель была предопределена.

В лице автора книги поэт получил соратника исключительного по уму, художественной одарённости и верности долгу. Н. Мандельштам была свидетельницей жестокости, низости, подлости на службе диктатуры. Судьба её, как жены гонимого, уничтоженного властью поэта, была особенно трагична. Но чрезвычайно характерно для её облика, что в ней не чувствуется ожесточение. Наоборот. Она сохранила доверие к людям — конечно к тем, которые не потеряли чело-

веческого облика. Она внимательна ко всякому проявлению нравственной красоты и чуткости. В обеих её книгах наряду с примерами бесчеловечия и подлости мы встречаемся с проявлением большой нравственной силы, готовности помочь в беде (сапожник, буквально из ничего сооружающий ей туфли, безымянные рабочие, по дороге на работу кладущие деньги на подоконник, они случайно узнали, что она остро нуждается и другие). Вероятно именно эти люди, а кроме того — религиозное осмысление своего пути помогли Н. Мандельштам до конца исполнить свой долг. На своём пути Н. Мандельштам была не одна. Тесная дружба с Анной Ахматовой на протяжении многих лет создавала возможность крепкого «мы» в чуждом и жестоком мире. Чрезвычайно интересные страницы, посвящённые Ахматовой, читаются как дневник.

Религиозное осмысление эпохи и своей собственной судьбы заставляет Н. Мандельштам обратиться к «Бесам» Достоевского. Ключ к теории и практике советской эпохи она видит в проявлении безудержного «своеволия» обесценивающего все ценности, в первую очередь — человеческую личность и человеческую жизнь. А из этого логически вытекает всё остальное.

Эта рецензия — всего лишь перечень тем, затронутых в книге Н. Мандельштам. Ее книга не допускает изложения, как не допускает изложения, скажем, высокая поэзия. Всякий, кому дорого наследие О. Э. Мандельштама, кто хочет понять и осмыслить судьбы русской культуры за последние шестьдесят лет прочтёт эту книгу с огромным интересом. А для литературоведа, историка литературы и текстолога эта книга — единственное в своём роде незаменимое пособие. Имя Надежды Мандельштам навсегда останется в истории русской культуры.

Олег Ильинский

Ж. А. Медведев и Р. А. Медведев. Кто сумасшедший? Изд-во Мэк-миллэн. Лондон, 1971 (163 стр.)

Книга братьев Жореса и Роя Медведевых «Кто сумасшедший?» разбивает еще одну иллюзию. Это своего рода отчет о том, как советское правительство решило наказать одного из братьев — Жореса — за его попытку осуществить гражданские права, провозглашенные конституцией СССР. За это власть захотела упрятать его в специальную псих-больницу и подвергнуть принудительному лечению.

Оставшемуся на свободе брату — Рою — удалось поднять на ноги интеллигенцию, взбудоражить ученый мир, даже за границей, опереться на партийную аристократию — старых большевиков. Правительство по каким-то соображениям отступило.

Из рассказа братьев можно заключить, что в Советском Союзе возрождается атомизированное и уничтоженное при Сталине общество, и мнение этого общества начинает как будто оказывать какое-то влияние. Можно также предположить, что в этом обществе возникает некое классовое сознание общей судьбы и круговой поруки. Но каков состав этого общества и каковы его побуждения, пока неясно.

Дело Жореса Медведева — первое, хотя и не четкое, отступление диктатуры. Следовало бы торжествовать: лед тронулся. Но, увы, для торжества нет никаких оснований. Некоторые почему-то, вопреки очевидности, хотят верить, что коммунизм, как идея, как учение, как система человеческого общежития, после бесчисленных и бессмысленных жертв, после полного духовного и материального краха, себя изжил и больше никого не вдохновляет, и в Советском Союзе идейных коммунистов нет и быть не может.

На этом строится т.н. теория «эволюции» или, вернее, пере-рождения режима, то есть постепенного ослабления партии, эрозия коммунистических идей и переход к какому-то нормальному строю.

Но книга братьев Медведевых, по-моему, разбивает эту иллюзию. Она свидетельствует о том, что стоящее сейчас у власти поколение сталинских выдвиженцев, которое мы считали обанкротившимся и последним, имеет смену умную, убежденную, напористую, готовую не только защищать коммунизм и советский строй в России, но и длить его бесконечно.

На стр. 149 Рой Медведев пишет: «Во избежание кривотолков сразу же скажем, что, говоря о нынешней политической структуре, мы имеем в виду не социалистическую систему вообще или советский общественный или государственный строй. Речь идет о той конкретной форме управления обществом, которая сложилась у нас в период 30-40-х годов и которая во многих отношениях противоречит принципам социализма и советской власти». И дальше: «Мы должны также отметить, что недостатки нашей нынешней политической структуры не являются какими-то имманентными и внутренне присущими советскому социалистическому государству. Эти недостатки могут и должны быть исправлены в рамках советского социалистического общества, что позволит сделать политическую и экономическую систему в нашей стране не только более гибкой, но и более прочной и устойчивой».

В мире братьев Медведевых все ясно и понятно. «Социалистическая система вообще» и «советский общественный строй» безукоризненны. Возражения вызывает только «конкретная форма управления, которая сложилась у нас в период 30-40-х годов...» «Сложилась...» Как остороженько сказано. Какой стерилизованный язык. А за этим выхолощенным, не имеющим ни запаха, ни вкуса словом

десятки миллионов убитых, десятки миллионов загубленных жизней, десятки миллионов расчеловеченных...

В своей книге братья Медведевы совсем не упоминают о «кошмаре искуснейшей лжи», о которой рассказывал генерал Жиленков, сам бывший высокий партиец. Во всей их книге нет и намека на «колдовскую силу мертвой буквы», на «в систему возведенное криводушие», о которых в «Докторе Живаго» писал Пастернак. Ни одного слова нет и о «нескончаемом притворстве и двуличии, входящем в плоть и кровь советского человека уже с школьной скамьи», о «страшном мире косыгиных и сусловых», столь убедительно описанных Светланой Аллилуевой и многими другими. Страшно и странно, что братья Медведевы как будто не замечают той лжи, в которой живут, в которой захлебывается Россия.

Для них «социалистическая система вообще» безгрешна, та система, которая, едва появившись на свет, уже в 1918 году ввела концентрационные лагеря и за все 54 года существования так и не осмелилась отказаться от насилия и террора. Какой же «эволюции» ждать от этих людей?

Ю. Сречинский

Лидия Чуковская. *«Спуск под воду»*. Изд-тво имени Чехова. Нью Йорк, 1972 (стр. 131).

В 1965 году на западе была опубликована книга Л. Чуковской «София Петровна», вышедшая под заглавием «Опустелый дом». Я упоминаю эту книгу, так как тематически она связана с книгой «Спуск под воду». В первой, Чуковская рисует трагедию матери во время террора конца 1930-ых годов, когда мать теряет своего единственного сына и все ее мысли сосредотачиваются на надежде возвращения Коли, который однако гибнет где-то в лагере. Во второй, написанной в 1949-1957 гг. в форме дневника за март-февраль 1949 г., Чуковская от «я», смотрит на трагедию глазами жены, у которой в тех же 30-ых гг. арестовали мужа, Алешу, и «осудили» на 10 лет лагерей без права переписки. Алеша гибнет где-то в чекистских застенках или в лагере.

Автор дневника, Нина Сергеевна Пименова, писательница-переводчица, приезжает на 26 дней в творческий отпуск в дом отдыха для писателей возле сел Быкова и Кузьминского. Красота зимнего подмосковного пейзажа, комфорт, тишина, предупредительность администрации, идеальные условия для работы, порой культурное общество собратьев литераторов... И тут через несколько дней и происходит первый «спуск под воду». Нина Сергеевна в воображаемом разговоре с читателем сама говорит об этом «спуске» так:

— Вы еще не читали «Спуска под воду»?

— Нет. А про что там: про работу водолазов?

— И не читайте: скучища.

— Неправда, непременно прочитайте! В этой книге что-то есть.

В этой книге действительно «что-то есть». Это мучительное психическое состояние женщины, ее почти до безумия доходящая навязчивая идея узнать о смерти Алеши: «Каков был его Алеши последний миг? Как из живого они сделали его мертвым? Я не спрашиваю *за что?* Я спрашиваю только: как? где? когда? И где сама я была в эту минуту? С ним ли? Думала ли о нем?

И где его могила. И что он видел, последнее, когда жизнь покидала его?»

Дневник Нины Сергеевны отчетливо отражает эпоху ждановщины, ее удушливую духовную атмосферу, тяжелые материальные условия широких масс советских граждан, волну нового террора («повторники»), антисемитизм и другие неизменные атрибуты быта Советской России. Чуковская с большим мастерством сплетает внутренний монолог Нины Сергеевны с внешним окружением. Нина Сергеевна, не желающая «дудеть в одну дуду с негодяями» не в состоянии примириться с ложью, фальшью и лицемерием власть имущих и всяких ее поборников помельче из причастных к литературным кругам.

Одним из трудных вопросов, на котором останавливается Чуковская, это, с одной стороны, вопрос ответственности советского писателя за свои писания и, с другой — вопрос морального права безоговорочной критики их произведений. Нина Сергеевна сближается с писателем Билибиным, отсидевшим большой срок в лагерях, нажившим там болезнь сердца, но все же вышедшим живым из последнего круга. Он кончил писать роман в духе соцреализма и прочитал его Нине Сергеевне. Выслушав до конца, Нина Сергеевна говорит себе: «До сих пор мне случалось испытывать в жизни горе, но стыд я испытала впервые». Она в глаза называет Билибина трусом, лжецом, лжесвидетелем. Билибин уходит, а на другой день за завтраком Нина Сергеевна узнает, что у него серьезная болезнь сердца.

«Я не имела права судить вас; я, на которую никогда не кидались собаки, я, которая никогда не видела деревянной бирки на ноге мертвеца... Простите меня! Вы не желаете обратно: туда, на лесоповал, в шахты. Второй раз! Ваша повесть — ваш бессильный щит, ваша ненадежная ограда... Простите меня! Один инфаркт у вас уже был — болезнь дорогого стоит, вам нужен заработок. А чем еще, вы, инвалид, можете зарабатывать? Только писанием! Я не имела права требовать от вас правды, я-то здоровая — и то молчу. Меня по ночам не избивали в кабинете следователя. А когда вас били, я молчала. Какое же право я имею судить вас теперь? Простите мне мою окаянную жестокость, простите меня!»

«Спуск под воду» отнюдь не журналистическое разоблачение советской системы. Чуковская проделала большую работу, чтобы придать книге литературную ценность и, несомненно, в основном, она этого достигла.

Язык Чуковской разнообразен: жаргон прессы, лексикон «лощенного хама», крестьянская речь девочки Лельки, «нормальный язык» писателя-интеллигента Билибина. При желании придираок, можно, конечно, найти некоторые не совсем удачные слова и выражения. Например: «Выйдя из своей комнаты, я нос к носу столкнулась с Векслером». Не лучше ли было бы: «лицом к лицу»? Или: — «В каком районе вы живете в Москве? — осведомилась я...» Зачем это книжное, неразговорное «осведомилась», не проще ли «спросила»? Можно привести и многое другое.

Но это, понятно, мелочи. В целом «Спуск под воду» правдивая и хорошая книга. В ней не только воспроизведение личного горя одной русской женщины, Нины Сергеевны, но как бы синтез горя всей России. Чуковская, не веря, что ее рукопись когда-нибудь выйдет книгой (к счастью она ошиблась!), ищет братьев, которые поймут ее и разделят с ней ее мысли, сомнения, надежды: — «Я хочу найти братьев — не теперь, так в будущем. Все живое ищет братства и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев — хотя бы там, в неизвестной дали».

Думаю, что множество ее братьев-единомышленников на родине и за рубежом с чувством благодарности и глубокого признания прочтут ее книгу.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

Зинаида Шаховская. Перед сном. Париж, 1970, (62 стр.)

Стихи Зинаиды Шаховской — негромкие. Слышится в них приглушенная «парижская нота» Георгия Адамовича, который в 30-х г.г. советовал молодым поэтам писать просто, незаметно, без замысловатых метафор, вообще безо всяких внешних эффектов, и, при этом, преимущественно о самом главном, о последних вещах человека, о любви, о смерти, о Боге. Именно в этом ключе и написано посвященное Георгию Адамовичу короткое стихотворение Зинаиды Шаховской:

Нету скучных ни тяжелых дней,
Стало проще всё и всё бедней,
Стало так свободно и тепло,

И вся жизнь, как тонкое стекло...
Разобьется звонко, и войдет
То, что смертью кто-то назовет.

Есть в этой книге единство темы. Доминанта — *сон*, что уже отметил Г. В. Адамович в предисловии к сборнику Зинаиды Шаховской: «Стихи написаны как будто бы на грани между забытием и деятельностью с заметным расположением к ночным или предрасветным полу-чувствам, полу-догадкам, полу-надеждам за счет отчетливых дневных мыслей. Это придает сборнику цельность», — и с этим нельзя не согласиться. Мне же в этой короткой рецензии хотелось бы указать на те счастливые строчки, на те «легчайшие слова», которые Зинаида Шаховская ищет и иногда находит. Выделяю эту строфу:

Отвечу я без страха и смущенья:
Успеха нет. Есть мужество одно
И есть дары — терпения и пеня,
А мне еще веселие дано.

Терпение, пеня и веселие едва ли были кем-нибудь так смело, и вместе с тем, так убедительно сопоставлены, как в этих стихах. Терпенье обычно невеселое, а пеня не всегда в ладах с терпением. Но здесь эти слова, впряженные в одну тройку, волшебным образом понеслись, запели и не случайно, что все они «несут» то же ударное «е», а пеня входит в терпенье (и почти что в «терпение»!). Есть в сборнике и другие запоминающиеся стихи: «Одинокая птица кричит, / Из старинного вырвась поверья». «Проснулись у статуй дерева и птицы». «Благославляю тех, кто дал, / Благославляю тех, кто не дал, / Кто слово доброе сказал, / Кто позабыл меня и предал». Именно на таких счастливых стихах поэзия «держится», — говорила Боратынскому «идеальная» читательница пушкинской эпохи — черноокая Смирнова-Россет.

В 30-х г.г. Зинаида Шаховская выпустила два сборника стихов *Уход* и *Дороги*. Позднее она писала преимущественно по-французски (прозу и стихи). Из ее французских 10-12 книг отмечу замечательные воспоминания о Москве, где З. А. была в годы хрущевской «оттепели». В сборник включены одно французское стихотворение и перевод из поэмы Сэн Джона Перса *Хроника*.

Возвращение Зинаиды Шаховской к русской поэзии приветствовал Г. В. Адамович. В предисловии к сборнику *Перед сном* он писал: «...как будто в постепенно и неуклонно умолкающий наш здешний лирический оркестр неожиданно вступила одна из скрипок с новой, еще незнакомой мелодией, той, которая поручена ей одной, никому другому».

Юрий Иваск

Александр Варди. «Подконвойный мир». Изд. Посев, 1971 (стр. 291).

В книге «Подконвойный мир» Варди показал жуткий мир «исправительно-трудовых лагерей» — мир, порожденный советско-коммунистической властью.

А. Варди час за часом, день за днем, год за годом показывает жизнь миллионов рабов, подвергаемых повседневному унижению, надругательству и уничтожению. Мы смотрим на подконвойный мир глазами разных заключенных, преимущественно, однако, глазами «новичка», студента Юрия Пивоварова, попавшего в этот «предпоследний круг» (так называется одна из глав книги) за антимарксистскую точку зрения, высказанную во время дискуссии после лекции в университете. В группу заключенных советских интеллигентов включены, для полноты картины, и иностранцы — американец Джойс, эстонец Калью Ярви, японец Того, поляк Домбровский и др. Все они смотрят на советский коммунизм с отличных от русских позиций. Их мнения заостряют полемику, наводят на размышления о национальном русском характере в противопоставлении западному или восточному.

Широко затронут сталинский антисемитизм на верхах государственной машины, а также среди кагэбистов и других мелких сошек.

Много внимания Варди уделяет заключенным уголовникам. Постоянное их присутствие бок о бок с политзаключенными делает жизнь последних вдвойне кошмарной. Но для этих подонков общества, которых Солженицын отказывается признавать «русскими», Варди иногда находит долю снисхождения и даже оправдания.

Интересную мысль высказывает зека Журин о полнейшей неосведомленности западного мира о сути большевизма: «— Ведь не сознают эти взрослые дети, что с нас начали — ими кончат. Обреченный мир! Господи! Гремучую змею к себе в кровать кладут, вампирам подставляют холёную задницу. Взрослые дети! Недотёпы! Наивняки!»

Варди один из тех, кто «обо всем этом поведал миру». В книге восемь глав, содержание статей уголовного кодекса РСФСР и указов, упомянутых в тексте, а также толкование некоторых слов и выражений концлагерного и уголовного языка.

Язык книги нарочито грубый и вульгарный — обычный язык совлагеря. Отчаявшиеся зека проклинают самыми отборными словами советскую власть, партию, вождей, коммунизм. Судьба женщин, их отношение к мужчинам, их половая извращенность не могут иногда не вызвать содрогания в читателе и негодования на строй, доведший людей до такого озверения. Жестокость начальства воплощена в лицах чекистов Хоружего и Стариченко. Книга все время заставляет читателя задумываться над советской действительностью. Она пессимистична, безрадостна, пропитана сознанием обреченности.

Заканчивается «Подконвойный мир» описанием мятежа, поднятого политическими зека и его кровавым подавлением. Площадь перед колючей проволокой усеяна трупами восставших. «— Будьте вы, звери, прокляты! — скорее ощутил, чем расслышал Пивоваров натушный страшный выкрик Журина. — Будьте навек прокляты!»

Книга «Подконвойный мир» это страшная документальная книга наших дней.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

Лидия Алексеева. «Время разлук». Четвертая книга стихов. Нью Йорк, 1971.

Лидия Алексеева — поэт сдержанный, негромкий. Она не излагает свое кредо, не вызывает читателя на неслышимую полемику, не дразнит его парадоксами. Больше, чем кому-либо, дарована ей «золотая тишина»: собственный мир, своя философия жизни, свое мироощущение.

«Определять» ее творчество и наклеивать на него тот или иной ярлык просто не хочется. Скажу лишь, что Лидия Алексеева — неоклассик по темпераменту и по своей поэтической выучке. Она пишет традиционными размерами, любит полногласную, сочную рифму, не увлекается «дикарскими приманками» шатких созвучий и диссонансов.

Плохих стихов у Лидии Алексеевой нет. Вкус ей никогда не изменяет, и ее стихи — не просто стихи, а законченные, тщательно отделанные стихотворения, превосходно отшлифованные драгоценные камни.

Скажу, однако, сначала о том, что мне не очень понравилось. В первом же стихотворении сказано: «Что было розой радости когда-то / В листах альбома — ломкая труха». Не было бы вернее — «на листах»? В стихотворении «Цветет акация» во второй строфе стоит местоимение «он», хотя оно не может относиться ни к слову «балкон», ни к слову «сор», ибо «в *нем* круглый мир и ветра колыханье / Мое лицо, акация, балкон». По смыслу, «он» — это мыльный пузырь, но по-моему, это нужно было бы сказать яснее.

В строке о родстве («кровное со зверем, травное с землей») лучше было бы, по-моему, сказать «травнОе» («былие травнОе»). «В Роудоне» — «держит... упрямо жизни... тлен... прямоугольник стен». Кто кого «держит»? Воробы, конечно, градом падают не «в крошки», а «на крошки». Строка «У меня просто нету стола», по-моему, слаба: слово «просто» лишается ударения, а слову «нет» (очень хорошему слову) дана простонародная форма «нету». И тем не менее, стихотворение «Я стихов не пишу за столом» запоминается — оно умное и скорбное.

Но обратимся скорее к лицу поэта, к миру его мыслей и чувств. Замечательна у Лидии Алексеевой вневременность ее творчества (а вневременность сопредельна вечности). О беженской судьбе — своей и своего поколения — она говорит только один раз («Холодно, ветер... А у нас в Крыму-то»). Упоминает Стамбул, Белград, Тироль и Нью Йорк. По этим вехам читается целая судьба: итоги сделанного когда-то выбора между любовью к первому «дому» и добровольно возложенным на себя бременем бездомности, ибо «может нищий с отчаянья петь, / А рабу — даже петь не дают».

Мягкими, почти робкими чертами намечена философия Лидии Алексеевой. Жизнь полна страдания и боли, но без них душа человеческая не умела бы ценить красоту мира: «жизнь не только боль, — она и этот лес / ...не только ложь и стыд / Она — и этот день, благословенно синий».

Лидия Алексеева — не наивный оптимист, который на-зло очевидности провозглашает зло и страдание иллюзорными. Они реальны, они необходимы, но Лидия Алексеева принимает их по-христиански, что не мешает ей, впрочем, в отдельных точках своей веры-уверенности приближаться к буддизму. Прежде всего Лидия Алексеева знает, что окончательной смерти нет:

«И горестно только время разлук,
И страха священного не побороть,
Когда вдохновенным касанием рук
Нам новую Мастер готовит плоть».

В согласии с этой мыслью — о неизбежности новых воплощений на земле — строится у Лидии Алексеевой ее философия времени: иллюзорно не бытие, даже не бывание, а время, ибо «То, что было, и то, что будет. В настоящее вплетено». — «Хорошо, что памяти нет / О печали грядущих лет».

Поэзия вырастает из страдания, которое, по своеобразному закону, превращается в земные лучшие слова: «Ты напрасно бродила тут / У семи берез / Без дождя грибы не растут / Как стихи без слез». Слезы — одно из условий становления поэта. Другое условие — внутреннее одиночество:

«И щепкой кружусь одна я
В пустыне водной;
Плыву — а куда, не знаю —
Совсем свободно».

Четвертая книга стихотворений Лидии Алексеевой — о времени последних разлук. И не случайно завершает она этот сборник «ключевым» четверостишием — жемчужиной поэзии того высокого уров-

ня, на котором (как в лучших вещах Зинаиды Гиппиус) не нужны даже художественные образы:

«Не спрашивай, что будет там, — потом, —
Когда настанет миг прощанья и свободы, —
Ведь если что-то ждет — какое чудо в том!
А если ничего... Какой великий отдых!

Валерий Перелешин

Владимир Варшавский. Ожидание. ИМКА-ПРЕСС. Париж, 1972. (303 стр.)

Повествование в книге Варшавского ведется от первого лица и, несомненно, в него включены автобиографические материалы. Некоторые читатели без труда узнают в героях многих эмигрантских писателей, поэтов, политиков. Но незачем раскрывать эти легко угадываемые псевдонимы. «Ожидание», прежде всего, художественное произведение, в котором на самом деле бывшее смешано с небывшим, с вымыслом. Кое-что совпадает с повестью Варшавского «Семь лет» (1950), но многое сокращено или дополнено и всё переработано в цельном единстве этой предельно сжатой книги.

Счастливое детство на московском Арбате — утерянный рай рассказчика, Владимира Гуськова. Володя в те годы верил, что любимый им отец всегда *был и будет*, как и он сам. Но еще в ранней юности эта его непоколебимая уверенность сменяется полной неуверенностью в себе самом, в людях, в жизни. Неуверен он и в Боге, может быть и несуществующем. А если Бог и существует, то еще неизвестно какой Он, добрый, мудрый, и любящий ли, думает Гуськов. Эмиграция: Константинополь, Чехословакия, где он учился в русской гимназии и потерял любимого брата. Годы одиночества в Париже. Правда, на парижском Монпарнасе было у него немало друзей-сверстников, но и они тоже были непоправимо одиноки. Это та эмигрантская молодежь 30-х г.г., о которой Варшавский вспоминает в своей книге очерков «Незамеченное поколение» (1956 г.).

Гуськов — беспомощный ищущий *лишний человек* русской эмиграции. Начинается война и вот, неожиданно для самого себя, он находит свое место в жизни. К нему возвращается, казалось бы навсегда утраченная им уверенность в своих силах, но эта уверенность уже не детская, а взрослая. Гуськов героически отстреливается во французской крепости, атакуемой германскими танками. Он редко сближается с солдатами-французами, пришельцами из другого, чуждого ему и малопонятного мира. Всё же Гуськов иногда понимает их изнутри, и не только интеллигентов, но и малограмотных бретонцев. После капитуляции Франции пять лет германского плена.

Голод, холод, грубость, но Гуськов и навесивший его отец, известный анти-коммунистический деятель, надеются на перемены в России, пусть и называющейся СССР, но защищающей мир от Гитлера.

Пленных освобождает Красная армия. Он сблизается с пожилым уже и ко всем доброжелательным лейтенантом Даниловым, которого, однако, вскоре отстраняют. Понемногу Гуськов начинает понимать, что почти все советские командиры, как и нацистские офицеры, безусловно верят в «державное могущество» своего строя, которому они беспрекословно подчиняются. В кошмарах, которые ему снятся уже в Америке, куда он переселился, ему мерещится не то ГЕСТАПО, не то НКВД, и разница между ними не осознается, да ее на самом деле и не было.

Есть в этой книге кропотливый самоанализ, но Гуськов не «нарцисс». Он стремится в себе самом разобраться по возможности объективно, по-прустовски. Вместе с тем, этот анализ и моральный. Он — свой собственный беспощадный «совестный судья», но к другим скорее благожелателен и снисходителен. При всех своих сомнениях, при крайней недоверчивости, Гуськов упорно надеется: — Я буду идти по улице и вдруг... Вдруг ему откроется тайна жизни и вдруг восторжествуют правда, добро, красота, Бог и любовь в вечности. Эта тема — тема ожидания и, поэтому, так и называется книга.

Гуськов — художник и ожидаемую им вечность он иногда угадывает в самой обыкновенной и даже неприглядной обстановке, в красках, линиях смутно напоминающих видения «старого Брегеля» (Брейгеля), Ренуара или фра Беато Анджелико.

В книге немало фактического материала. По этой повести можно иметь представление о предреволюционном быте в Москве, об эмигрантском Монпарнасе, о «парижской ноте» Адамовича, о французской армии в 1939-40 г.г., о германском плене, о Красной армии, освобождающей от Гитлера и порабащившей Сталину. А одушевляет, одухотворяет повесть почти мистическое ожидание, а также немногие живописные откровения, напоминающие прустовские в «Поисках утерянного времени». Так, Пруста озарило-осенило при виде «кусочка желтой стены» на картине Вермеера, изобразившего уличку в Дельфте. А блуждающего по окрестностям Гуськова вдохновляет видение красочного праздника на опустевшем острове Ла Гренуйер, где когда-то писал Ренуар. Другое озарение восхитило его в холодное предвечернее утро, еще в Германии: «Райское фразанджеликовское сияние, разливаясь переходило в вышине в такую лазоревую синеву, что если долго смотреть, — глаза начинала резать сладкая боль. Грудь, жадно вдыхая блаженный воздух, расширялась предчувствием невозможного счастья, любви ко всему миру и готовности умереть». Но тут же, на снегу торчал русский танк, кото-

рый казался «особенно черным и железным». Это озарение, как и «душераздирающе сгоравшее» закатное небо над Нью-Йорком, почти вознаграждают Гуськова за долгое упорное беспросветное ожидание в сумерках жизни. В лирический или даже мистический план повести приходят и сны (в последних главах повести). Гуськову снятся умершие отец, мать, брат, друзья, все те, кого он любил. Но поэзия озарений и снов не рассеивает уныния, иногда даже нудного уныния Гуськова. Его можно назвать скептиком, меланхоликом, но чувствуется, что он до самого конца не изменит своему упорному ожиданию и, может быть, в другой книге оно ему еще больше откроется.

Юрий Иваск

ИСПРАВЛЕНИЕ

В кн. 108 «Н. Ж.» в статью И. Мацкевича «Капитуляция Римской Церкви» вкралась досадная опечатка. На стр. 264-й, в строках 10-й и 22-й сверху вместо 1963 год напечатано 1968. *РЕД.*

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Ф. И. Уделов. *Об о. Павле Флоренском*. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (142 стр.).
- С. Л. Франк. *По ту сторону правого и левого*. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (241 стр.).
- Е. Я. Хазин. *Все позволено*. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (70 стр.).
- Н. Бердяев. *О рабстве и свободе человека*. ИМКА-пресс. Париж. 1972 (222 стр.).
- Северные цветы. Т. 1-4*. Перепечатка с издания 1901 г. Изд-во Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972.
- Н. Н. К. Маркс о России. Статьи. Изд-во «Заря». Канада. 1972 (88 с.).
- Л. Ржевский. *Творец и подвиг*. Очерки по творчеству А. Солженицына. Изд. «Посев». Франкфурт. 1972 (165 стр.).
- Б. Нарциссов. *Подъем*. 4-я книга стихов. 1969 (46 стр.).
- Г. Глинка. *Было завтра*. Стихи. Нью Йорк. 1972 (67 стр.).
- Архиеп. Иоанн С. Ф. (Шаховской). *Московский разговор о бессмертии*. Нью Йорк. 1972 (245 стр.).
- В. Скорняков. *Остров безмятежных*. Политический гротеск-фантазия. Ам-издат. Нью Йорк. 1972 (95 стр.).
- Н. Берберова. *Курсив мой*. Автобиография. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1972.
- Борис Пастернак. *Мoj пут у легенду*. Аутобиографски есеј. Перевео Милан Чолич. Београд. 1971 (42 стр.).
- Вл. Буковский. *Я успел сделать слишком мало...* Документы по делу Вл. Буковского. (105 стр.)
- Жизнь и значение преподобного Сергия Радонежского*. Изд. Св. Сергиевской Православной Церкви. Толстовский Фонд. Нью Йорк. 1972. (48 стр.).
- Антон Крайний (З. Гиппиус). *Литературный дневник 1899-1907*. Петербург. 1908 (453 стр.) Перепечатано изд-вом Вильгельм Финк. Мюнхен. 1970.
- А. Позов. *Основы христианской философии*. Ч. 3. Метафизика. Мадрид. 1972. (422 стр.).

- Б. Пылин. Первые четырнадцать лет (1906-1920).* Калифорния. 1972 (211 стр.).
- Надежда Мандельштам. Вторая книга.* ИМКА-пресс. Париж. 1972. (711 стр.).
- Уладзімер Глыбінны. На сьвятой Зямлі.* Выдавецтво «Божым Шляхам». Лендан. 1972. (118 стр.).
- Н. Ульянов. Свиток.* Изд-во Киннипиак. Нью Хэвен. 1972. (232 стр.).
- Milan Kudělka, Zdaněk Šimeček a kolektiv. Česko-slovenske práce o jazyce dějinách a kultuře slovanských národu od roku 1760.* Biograficko-bibliografický slovník. Edice Slovanské Knihovny, Praha. 1972. (550).
- A. Solženjicin. Vatra i Mravi.* Pereveo Milan Čolić. Urednik Dr. T. Čolak. Obelisk. Beograd. 1972 (107).
- Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej.* 11. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 1972 (327).
- Karol Wędziagolski. Pamiętniki.* Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej. Londyn. 1972. (442).
- Patricia Carden. The Art of Isaac Babel.* Ithaca & London. 1972. (223 p.).
- Russian Critical Essays XIXth Century.* Edited by S. Konovalov and D. J. Richards. Clarendon Press. Oxford 1972. (224 p.).
- John B. Dunlop. Staretz Amvrosy.* Model for Dostoevsky's Staretz Zossima. Nordland Publishing Co., Belmont, Mass. 1972. (176 p.).
- Szymon Szechter. Czas zatrzymany do wyjaśnienia.* Kontra. Londyn. 1972 (187 p.).
- Oxford Russian-Engilsh Dictionary.* By Marcus Wheeler. General Editor: B. O. Unbegaun. Oxford. Clarendon Press. 1972. (913 p.).
- Chingiz Aitmatov. The White Ship.* Translated by Mirra Ginsburg. Crown Publishers. New York. 1972 (160 p.).
- V. Samarin. The Triumphant Cain.* An Outline of the Calvary of the Russian Church. New York. 1972 (64 p.).
- Fifteen-Year Index to the Slavic and East European Journal 1957-1971.* Aatseel. Urbana 1972. (70 p.).

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Роман Гуль

ОДВУКОНЬ

СОВЕТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание: — От автора. — Читая «Август 14-го» А. Солженицына. — Цветаева и ее проза. — Победа Пастернака. — Георгий Иванов. — О творчестве А. Белого. — Об Илье Эренбурге. — Поэзия нарциссизма (Вл. Ходасевич). — А. Солженицын и соцреализм. — Книга Светланы. — Светлана и неандерталы. — О прозе Л. Ржевского. — Двадцать пять лет «Нового Журнала». — Сотая книга. — «Дунька» и Коряков. — Юлий Марголин. — Об инсинуации и русофобии. — Идея свободы — в русском народе. — Писатель и цензура в СССР.

Заметки о книгах: Ахматовой, Булгакова, Адамовича, Дундinceва, Вейдле, Окуджавы, Мочульского, А. Терц, Одоевцевой, Клюева, свящ. Ельчанинова. Кузнецовой, Чиннова, Цветаевой, Седых, Буниной, Краснова, гр. Зубова, Нарокова, кн. Щербатова, Космана, Бертенсона, Берберовой.

В книге 320 стр. Цена книги — 6 долл.

Книгопродавцам обычная скидка.

Заказы направлять: по адресу «Нового Журнала»
и во все русские книжные магазины.

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1973 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1973 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 9-ти до 12-ти час. дня
